

**ГИБЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОРОДА**

**РАССКАЗ ОБ АКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ**

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ**

**МИХАИЛ КОЗЫРЕВ**

**ЛЕНИНГРАД**

**ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН**

**МИХАИЛ КОЗЫРЕВ**

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ**

**СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ**

**РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ**  
РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ  
РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ  
РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ  
РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ

**ЕВГЕНИЙ**

**МЫ**

**ЗАМЯТИН**

**СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ**

**КЛУБ УБИЦ БУК**

**ЯНТИУТОПИЯ  
РУССКАЯ  
ВСГ-ПРЕСС**





# РУССКАЯ

**23**

**ГИБЕЛЬ  
ГЛАВНОГО ГОРОДА**

**3**

**РАССКАЗ ОБ АКЕ  
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ**

**293**

**ЛЕНИНГРАД**

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ**

**Э**

**МИХАИЛ КОЗЫРЕВ**

**К**

# АНТИУТОПИЯ

Составление  
и вступительная  
статья  
Вадима  
Перельмутера

**53**

**МЫ**

**ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН**



**473**

**КЛУБ УБИЙЦ БУКВ**

**СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ**



**О·Г·И**

Москва  
2014

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
З-11

Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках Федеральной целевой программы  
«Культура России (2012—2018 годы)»

Художественное оформление и макет А. Бондаренко

З-11      ЗК. Русская антиутопия: Антология / Сост. В. Перельмутер. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. — xvi + 636 с.

ISBN 978-5-93381-321-7

В антологию вошли произведения 1910—1920-х годов, являющиеся самыми ранними образцами антиутопии: рассказы «Гибель главного города» (1918) и «Рассказ об Аке и человечестве» (1919) Ефима Зозули (1891—1941), роман «Мы» (1921) Евгения Замятина (1884—1937), повести «Ленинград» (1925) Михаила Козырева (1892—1941) и «Клуб убийц букв» (1927) Сигизмунда Кржижановского (1887—1950).

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-93381-321-7

© В. Перельмутер, составление, 2014  
© Б.С.Г.-Пресс, 2014

## О ТОМ, КАК УТОПИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В АТЛАНТИДУ

### КОНСПЕКТ

...А бойтесь единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

В 1516 году в Лондоне было издано сочинение Томаса Мора с традиционным для той поры длинным заглавием: «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия».

История добавила к этой краткой *аннотации* всего четыре слова: книга вышла *вовремя и к месту*.

Время — самый что ни на есть расцвет Ренессанса, пора, что в истории культуры именуется Высоким Возрождением, воротившим из небытия и утвердившим в центре просвещенного внимания наследие античности, прежде и более всего — эллинской, ее философов, поэтов и ваятелей, ее мечты-представления о Золотом веке (не отсюда ли эпитет, открывающий заглавие «книжечки»?) и переведенную Платоном в слова идею об устройстве (обустройстве) идеального Государства.

Место — Англия, *остров*, окруженный океаном со множеством островов *ведомого и неведомого*, остров, покидая который можешь натолкнуться на Terra Incognita, даже на Утопию, в переводе с греческого — «место, которого нет»; такие обозначения *неведомого* в океане можно увидеть на старинных картах, откуда, всего скорей, и почерпнул его автор книги.

Век спустя Томмазо Кампанелла написал «Город Солнца».

Вовремя и к месту.

Время — Ренессанс на излете, на закате, ассоциация с поздней, римской, *закатной* античностью. И ползучая тень инквизиции.

Место — *солнечная* Италия, из центра которой Слово адресуется «Городу и миру» (то бишь Риму — и остальным населенностям, естественно, католическим), обрывает эхом. И потому вместо *острова* — Город, сияющий совершенством жизни своей.

Еще через век — четыре тома гениальной книги Джонатана Свифта (а чего, как не *четверокнижия*, и ожидать-то было от беспощадного полемиста-священника, декана собора Святого Патрика в Дублине).

Ирландия, опять же — *остров*, отплывая от которого человек узнает, что он — всегда меньше, больше или просто *иначе*, чем его окружение, что варианты мироустройства равно неуютны для него, от непосильной ответственности до полной беззащитности, и что идеальный мир если и возможен, то не у нас, не у людей.

Свифт, разумеется, читал предшественников своих — и потому его утопия столь явственно пародийна.

Его книгой зачитывались восторженно. И вовсе не парадоксально, что именно увлекательность повествования помешала помедлить, вчитаться.

Томас Мор тоже был, мягко говоря, не в восторге от выпавшей ему на долю государственности. Первая часть его книги как раз об этом: о недостатках, пороках даже, коих — в идеале — быть не должно. Язвительностью сих интенций он мог бы посоперничать со Свифтом.

А на острове Утопия ничего подобного и нет.

Как такого добиться — неизвестно.

Но *задача* сформулирована... И за дело взялись сперва мыслители — поборники *справедливого* устройства жизни, — те, кого впоследствии называли «социалистами-утопистами», а за ними — теоретики и практики, убежденные, что истина конкретна. То бишь постижима и достижима. И что чаемая Архимедом *точка опоры*, оперши на которую некий *рычаг*, возможно *перевернуть мир*, существует, надобно только сыскать ее.

Три с лишним столетия длилась это напряженная работа, которую, пользуясь термином из теории литературы, уместно назвать *реализацией метафоры*, превращение *утопического социализма* в *научный коммунизм*.

Впрочем, все это с академической последовательностью, хотя и без лишних подробностей, вроде провальной попытки Роберта Оуэна со-

здать (на собственные, замечу, деньги) коммуны, заселенную вчерашними и, как оказалось, завтрашними люмпенами, было изложено в институтском учебнике шестидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, призванном втолковать нам, неразумным, мысль о неизбежности — *эволюционной!* — прихода коммунизма на смену капитализму. При этом, правда, игнорировалась такая, например, «закавыка», что *революция* никак не может быть этапом *эволюции*, потому как она по сути своей есть *контр-эволюция*.

Ну, да бог с ним, с учебником, с этим, так сказать, побочным продуктом многолетней деятельности...

А деятельность та, верно, чтобы не заглохла, время от времени подпитывалась разнообразными утопическими попытками, действиями, сочинениями.

С некоторым — простибельным — опозданием не осталась от сего в стороне и Россия.

В начале восемнадцатого, самого, пожалуй, многообещающего российского века Петр Первый решительно принялся за создание совершенного (по его мнению) государства. По-плотницки, силой, которая ломит не только солому.

Великий Петр был первый большевик,  
Замысливший Россию перебросить,  
*Склонениям и нравам вопреки,*  
За сотни лет, к ее грядущим далям... —

оценил через двести лет тот *революционный* замысел Волошин (курсив мой — В. П.).

Ближе к концу века: вместо действия — действие, утопия-спектакль, пресловутые Потемкинские деревни, над коими всласть поиронизировали позднейшие историки, то ли сознательно, то ли по незнанию утаившие от читателей своих подлинный смысл проис-



шедшего. Потемкин задумал показать императрице Золотой век России, какой непременно наступит благодаря ее мудрому, просвещенному правлению. И декорации для спектакля изготовлялись в мастерских Императорского театра. И Екатерина, конечно, знала, что присутствует на представлении с афишей «Будущая Россия»...

В девятнадцатом веке этот *жанр* привлекает и литература — «Русскими ночами» Владимира Одоевского и радужными сновидениями героини романа Чернышевского.

Однако подобные мечтания уже выглядят запоздалыми. Так сказать, проспавшими переход от слов к делу.

Прокатившаяся по Европе цепная реакция больших и малых революций расколола мир надвое, изменила строй звука и ритма его. Попытка вновь соединить, склеить осколки воедино — Всемирной Парижской выставкой 1889 года и возведенной к такому случаю инженером Эйфелем новой *Вавилонской башней*, радиомаяка, по которому все народы станут сверять часы, — дала, равно как ее предшественница, эффект едва ли не противоположный ожидаемому.

Первыми, как водится, почувствовали это художники.

Восемь лет спустя Уэллс написал «Войну миров». Предсказание, предостережение ли? — неважно. И то, и другое осознается, как правило, задним числом и умом.

Через тринадцать лет Кандинский создал в Мюнхене «Общество нового искусства».

К той же поре относятся первые опыты атональной музыки Шёнберга...

*Формотворческий* взрыв предшествует реалистическому, материальному.

За три четверти века до этих событий Вяземский писал: «Я думаю, мое дело не действие, а ощущение, меня надобно держать как комнатный

термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но никто скорее и вернее его не почувствует настоящей температуры».

Метафора точна — у художника есть и такая роль. Но в спектакле политическом ей места не отведено...

Европа, умудренная опытом непредсказуемых революционных последствий, взорвалась войной, отличавшейся от множества прежних разве что масштабом и числом участников.

Россия — с безоглядной решительностью *исторического неопфита* — революцией и Октябрьским переворотом.

Четырехсотлетие книги Мора она отметила попыткой сотворить Утопию в отдельно взятом государстве, на своем *острове*. Годичное запоздание «юбилейных торжеств» в подобном пространстве времени — погрешность, которой, как сказал бы математик, можно пренебречь.

Правда, Маяковский попал было в точку, предрекая: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год», — но его поправил тогда же Хлебников, соратник по *будетлянству*, мол, в семнадцатом это случится, и не ошибся.

Однако идея, овладевшая массами, перестает быть собою, превращается в программу действий — во имя замечательной цели, для достижения которой годятся любые средства.

Попытка осуществить, *материализовать* утопию неотвратимо должна была столкнуться с тем, что для реализации замысла, воображенного — и воображаемого — мира, нужен и воображаемый человек, коим тот мир будет заселен. Но мир уже существует. И заселен людьми, неисчерпаемое разнообразие которых мешает умозрительным преобразованиям. И потому приходится не мир приспособлять к человеку, но человека приспособлять к миру: переделывать, обтесывать, сортировать etc. Человек должен, обязан соответствовать миру, а не наоборот.

И террор, в основе коего — всегда — идея совершенствования мира, становится неизбежен.

Художник знает это лучше, чем политик.

И ему страшно...

Ахматова говорила, что бесстрашие — отсутствие воображения.

У страха глаза велики, видят далеко и во все стороны.

То, что других парализует, художника вынуждает защищаться, изживать, используя бессознательно один из непреходящих и сильнейших его даров, воображение, — и умение переводить возникающие образы в слова, живопись, музыку.

Не потому ли тоталитаризм стремится взять культуру под полный, *тотальный* контроль, пронизав ее своими «вертикалями» и опутав сетками «союзов»?..

Похоже на то, что утопия сама выбирает время и место — где и когда ей проявиться.

В России те события пришлось как раз на лучшую пору Серебряного века ее культуры. Так что истории литературы было из кого выбирать создателей нового жанра. Антиутопии.

Первую из них сочинил в 1918 году Ефим Зозуля — «Гибель Главного Города». Рассказ о попытке построить новый мир поверх старого, который, разрушаясь, погребает под собою сей величественный замысел. Рассказ, дважды опубликованный и не затерявшийся среди многочисленной и мимолетно возникавшей-исчезавшей газетно-журнальной периодики, обративший на себя внимание, прочитанный, запомнившийся — судя хотя бы по эху литературному, вроде пьесы Льва Лунца «Город Правды».

Год спустя вторая антиутопия того же автора — «Рассказ об Аке и человечестве» — открывала единственный вышедший номер киевского журнала «Зори». Она тоже не осталась незамеченной.

В частности — Евгением Замятиным, уже работавшим над романом «Мы», завершённом в следующем году (к слову, в том же году он написал предисловие к русскому изданию «Машины времени» Уэллса).

В 1925 году откликом на переименование Петрограда стала антиутопия Михаила Козырева «Ленинград».

Через год Сигизмундом Кржижановским написан «Клуб убийц букв». Повествование, семь вставных новелл коего словно бы образуют *Септамерон*, отсылают читателя ассоциативно к истоку, к Ренессансу. Только на месте, где логично было бы очутиться утопии, — сюжет о создании и крушении «идеального» мира. Помещенная сразу после истории о возникновении музыки новелла эта, кстати, самая большая из всех, режет слух — и сознание — додекафонией...

Новый жанр сформировался за девять лет — от начального установления власти и возвращения ею столицы в древнюю «объединительницу земель русских» Москву и до признания СССР Лигой Наций, которая сняла с него экономическую блокаду, то бишь отказалась от попытки реально воспрепятствовать этому историческому эксперименту.

Ближние и дальние последствия коего были к той поре уже описаны в русской литературе.

В сочинениях четырех авторов, первых *антиутопистов*, уже очерчен, в сущности, весь *фабульный диапазон* жанра, заданы *темы*, способные ветвиться множественными и разнообразными *вариациями*. Тут и необходимость сортировки и переделки человечества (Зозуля); и жесткая *математическая* модель логически — до мелочей — структурированного мира, превращение бытия в существование «простое, как мычание», а «я» — в «мы» (Замятин); и столкновение борца за светлое будущее с будущими результатами этой *победоносной* борьбы (Козырев); и непредсказуемость последствий научно-технического прогресса, на который былые *утописты* возлагали едва ли не самые радужные надежды свои (Кржижановский).

...И множество сюжетных виражей и обыденных для этого мира деталей, каких в окружающей писателя реальности нет еще, но которые должны быть и будут. Подчас кажется, что главные большевики чита-

ли эту прозу, заимствовали, брали из нее горстями. Хотя, понятно, ничего такого они не читали, не они, а в них прочитали художники — несложный образ мыслей и образы, в тех мыслях возникающие, чтобы материализоваться.

Всевластный вождь, мечущийся между военным коммунизмом и энпом в поисках выхода и находящий выход лишь в собственном безумии...

«Чрезвычайные тройки», решающие судьбы сотен, тысяч людей, затрачивая на каждого не более пяти минут...

«Торжественная литургия Единому Государству, ...величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей»... («Единица — вздор! Единица — ноль!» — провозгласит-приурочит поэт к первому десятилетию Октября.)

Жизнь под номерами вместо имен, жизнь по карточкам-талонам, жестко и лаконично регламентирующим все естественные потребности человека...

«Институт Государственных Поэтов и Писателей»...

Etc, etc, etc...

Напомню: все это написано «до», а не «после».

И те, кто это пишут, понимают, что обречены, что *литература* в этом мире не нужна. Помнят, что еще Платон не отвел поэту места в своем «Государстве» (и сделал это, замечу, в лучшую пору эллинской поэзии, от лирики до комедиографии).

На место властителей дум приходят блюстители дум.

Об этом — по следам своего романа — написал Замятин в статье «Я боюсь», предсказав, что «у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».

Об этом говорит поэт у Козырева.

Об этом молчат члены «Клуба убийц букв»...

*Термометр* верно показал перемены в атмосфере, но (продолжал уже цитированный мною Вяземский) «там, где жарят или знобят наудачу,

где никаким признакам не верят, никаких указателей не требуют», он, *термометр*, — «вещь лишняя».

Писатели и температуру измерили, и материала для диагноза собрали предостаточно, и не они виной, что в *целители* выбились те, кто лучшим средством от головной боли считали гильотину. Которая, впрочем, их самих тоже не миновала...

Возникновению и утверждению *жанра* нимало не помешало то, что из перечисленных мною вещей в СССР, при жизни авторов, были опубликованы только две — рассказы Зоули.

«Клуб убийц букв» увидел свет в России через шестьдесят четыре года по написании.

«Ленинград» — через шестьдесят шесть.

«Мы» — самое, вероятно, знаменитое сочинение в этом жанре, изданное в двадцатых годах по-английски (1924), по-чешски (1927), по-французски (1929), давшее импульс появлению антиутопий на Западе, — семьдесят лет спустя.

Однако и в России двадцатых годов они вовсе не были неизвестными.

Замятин не раз читал свой роман — полностью — в Петрограде и в Москве, перед писателями, литературоведами и прочей просвещенной публикой, вынужденной слушать то, что нельзя прочитать. Издание романа готовилось сперва в питерском «Алконосте», потом у З. Гржебина в Берлине, затем в московском «Круге», так что и в издательствах было кому ознакомиться с текстом. На неизданную книгу появились печатные отклики — большевистского критика и публициста Александра Воронского, Виктора Шкловского, Юрия Тынянова.

Козырев, на полвека замолчанный, а тогда знаменитый прозаик, автор шести книг (а всего — с 1923 по 1931 год — боле двух десятков), выступал с чтением «Ленинграда» на «Никитинских субботниках», предлагал журналам-издательствам, неизменно получая отказы. Присутствовавший на чтении критик В. Львов-Рогачевский написал и напечатал большую статью-рецензию об этой повести. Неизданной.

Там же, на «Субботниках», читал свою вещь и Кржижановский. Потом попытался ее издать — книжкой. Однако последовал цензурный запрет, а затем и личное вето создателя и многолетнего шефа большевистской цензуры, советского «лорда-охранителя Государственной печати» П. И. Лебедева-Полянского...

Приметы и черты антиутопии нетрудно сейчас обнаружить в фантазмагориях второй половины двадцатых годов, в этих *реакциях* писателей — и литературы — на фантазмагорическую, *ирреальную* действительность.

А в 1930 году написана повесть Андрея Платонова «Котлован». О *строительстве* Города Солнца.

Два года спустя в Лондоне выходит первая *нерусская* антиутопия — роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир!». Несколькоми годами позже, прочитав эту книгу, Замятин отметил «некоторые случайные совпадения» со своим романом. Думаю, лукавил — или осторожничал, живя в *добровольной ссылке*, в Париже, с советским паспортом, понимал, что Хаксли его книгу читал (ныне это недискуссионно), потому «совпадения» не случайны — и рискованны: полный разрыв с Россией в замятинские планы на будущее не входил.

Так и началось шествие жанра по белу свету.

«1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, «Возвращение со звезд» Станислава Лема, «Камагасаки 2013 года» Сакё Камацу etc, etc, etc...

Не забывал он, впрочем, иногда наведываться и в Россию — то «Обитаемым островом» братьев Стругацких, то проскользнувшим через таможеню «Любимовым» Абрама Терца (Андрея Синявского).

Этот обильно и вольно печатавшийся за границей Абрам Терц едва не погубил своего создателя, обитавшего в метрополии. В начале 1966 го-

да книги Терца, и «Любимов», разумеется, в их числе, стали уликами в суде над Синявским — и «потянули» на семь лет лагерей...

Кольцо замкнулось, история жанра воротилась к своему истоку.

Судьба двух первых авторов утопий трагична. Мора обезглавили, Кампанелла двадцать семь лет провел по тюрьмам. Не за книги — за образ мыслей, которым, в частности, и книги были порождены.

История любит «странные сближенья». *Фамильные* инициалы авторов первых четырех антиутопий образуют словно бы двоящуюся аббревиатуру — ЗК, одну из самых скорбно-знаменитых «знаковых» аббревиатур большевистских времен.

И все четверо стали заложниками, «зеками» осуществленной антиутопии.

Ефима Зозулю с начала тридцатых годов перестали печатать, оставив ему лишь возможность скудно зарабатывать на жизнь «сатирическими» (в советском толковании эпитета) сочинениями для «Крокодила». В сорок первом ушел добровольцем на фронт — и вскоре сгинул в чудовищной мясорубке под Ржевом.

Евгений Замятин после непрерывной двухлетней травли в печати по поводу публикации глав его романа в эмигрантском журнале «Воля России», публикации, к которой он не имел ни малейшего отношения, потому что главы те печатались в переводе с чешского (с коррективкой сложных для перевода фрагментов по переводу французскому), авторского текста редакция сроду не видала, обратился с письмом к Сталину — и получил «высочайшее соизволение» выехать за границу, куда и отбыл в конце 1931 года. Прозы, *сопоставимой* с прежней, больше не было.

Михаила Козырева перестали печатать в середине тридцатых. В июле сорок первого арестовали — за повесть «Ленинград» и прочую «антисоветскую агитацию» — и в январе сорок второго забили насмерть в саратовской тюрьме. Реабилитировали в шестьдесят третьем. Но не печатали еще двадцать восемь лет. Одна только песня его



(а начинал он поэтом, да и позже иногда стихи сочинял) все эти годы оставалась — безымянно, конечно, — популярной: «Называют меня некрасивою»...

Сигизмунда Кржижановского печатать толком и не начинали, в журнальной периодике затерялась едва ли десятая часть им написанного (ничего — из лучшего). В конце тридцатых несколько месяцев прожил, денно и нощно ожидая ареста. Бедствовал, пил (по причине, как сам говорил, «трезвого отношения к действительности»). И умер с сознанием сокрушительного поражения, так и не дожив до первой книги, которая вышла лишь тридцать девять лет спустя...

Но им, четверым, удалось то, что мало кому удастся в истории культуры: подарить мировой литературе нечто, в ней доселе небывалое.

Жанр, который превратил Утопию в Атлантиду.

**ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР**

**МАРТ—МАЙ 2013**

A large, bold, black graphic of the letter 'E' is centered on the page. The letter is composed of thick horizontal bars and a vertical bar on the right side. The top and bottom bars are solid black. The middle bar is also solid black but has a white rectangular cutout in its center, which contains the author's name.

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ**

**РАССКАЗ ОБ АКЕ  
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ 1919**

**ГИБЕЛЬ ГЛАВНОГО  
ГОРОДА 1918**



# РАССКАЗ ОБ АКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

## 1. БЫЛИ РАСКЛЕЕНЫ ПЛАКАТЫ

Дома и улицы имели обыкновенный вид. И небо с вековым своим однообразием буднично голубело над ними. И серые маски камней на мостовых были, как всегда, непроницаемы и равнодушны, когда очумелые люди, с лиц которых стекали слезы в ведерки с клейстером, расклеивали эти плакаты.

Их текст был прост, беспощаден и неотвратим. Вот он:

« Всем без исключения.

Проверка права на жизнь жителей города производится порайонно, специальными комиссиями в составе трех членов Коллегии Высшей Решимости. Медицинское и духовное исследование происходят там же. Жители, признанные ненужными для жизни, обязуются уйти из нее в течение двадцати четырех часов. В течение этого срока разрешается апеллировать. Апелляции в письменной форме передаются Президиуму Коллегии Высшей Решимости. Ответ следует не позже, чем через три часа. Над ненужными людьми, не могущими по слабости воли или вследствие любви к жизни уйти из нее, приговор Коллегии Высшей Решимости приводят в исполнение их друзья, соседи или специальные вооруженные отряды.

Примечания:

1. Жители города обязаны с полной покорностью подчиняться действиям и постановлениям членов Коллегии Высшей Решимости. На все вопросы должны даваться совершенно правдивые ответы. О каждом ненужном человеке составляется протокол-характеристика.
2. Настоящее постановление будет проведено с неуклонной твердостью. Человеческий хлам, мешающий переустройству жизни на началах справедливости и счастья, должен быть безжалостно уничтожен. Настоящее постановление касается всех без исключения граждан — мужчин, женщин, богатых и бедных.

Выезд из города кому бы то ни было на все время работ по проверке права на жизнь безусловно воспрещен. »

## **2. ПЕРВЫЕ ВОЛНЫ ТРЕВОГИ**

— Вы читали?

— Вы читали?!

— Вы читали?!

— Вы читали?! Вы читали?!!

— Вы видели?! Слышали?!!

— Читали?!!

Во многих частях города стали собираться толпы. Городское движение тормозилось и ослабевало. Прохожие от внезапной слабости прислонялись к стенам домов. Многие

плакали. Были обмороки. К вечеру количество их достигло огромной цифры.

— Вы читали?

— Какой ужас! Это неслыханно и страшно!

— Но ведь мы же сами выбрали Коллегию Высшей Решимости. Мы сами дали ей высшие полномочия.

— Да. Это верно.

— Мы сами виноваты в чудовищной оплошности.

— Да. Это верно. Мы сами виноваты. Но ведь мы хотели создать лучшую жизнь. Кто же знал, что Коллегия так просто и страшно подойдет к этому вопросу?!

— Но какие имена вошли в состав Коллегии! Ах, какие имена!

— Откуда вы знаете? Разве уже опубликован список всех членов Коллегии?

— Мне сообщил один знакомый. Председателем выбран Ак.

— О! Что вы говорите! Ак? О, какое счастье!

— Да. Да. Это факт.

— Какое счастье! Ведь это светлая личность.

— О, конечно! Мы можем не беспокоиться: уйдет из жизни действительно только человеческий хлам. Несправедливостям не будет места.

— Скажите, пожалуйста, дорогой гражданин, как вы думаете: я буду оставлен в живых? Я — очень хороший человек. Знаете, однажды во время крушения корабля двадцать пасса-

жиров спасались на лодке. Но лодка не выдержала чрезмерного груза, и гибель грозила всем. Для спасения пятнадцати пятерым пришлось броситься в море. Я был в числе этих пяти. Я бросился добровольно. Не смотрите на меня недоверчиво. Теперь я стар и слаб. Но тогда я был молод и смел. Разве вы не слышали об этом случае? О нем писали все газеты. Четверо моих товарищей погибли. Меня же спасла случайность. Как вы думаете, меня оставят в живых?

— А меня, гражданин? А меня? Я роздал бедным все свое имущество и капиталы. Это было давно. У меня есть документы.

— Не знаю, право. Все зависит от точки зрения и целей Коллегии Высшей Решимости.

— Позвольте нам сообщить, уважаемые граждане, что примитивная полезность ближним еще не оправдывает существования человека на земле. Этак всякая тупая нянька имеет право на существование. Это — старо. Как вы отстали!

— А в чем же ценность человека?

— В чем же ценность человека?

— Не знаю.

— Ах, вы не знаете! Зачем же вы лезете с объяснениями, если вы не знаете?

— Простите, я объясняю, как умею.

— Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите! Люди бегут! Какое смятение! Какая паника!

— О, сердце мое, сердце мое!.. А-а-а... Спасайтесь! Спасайтесь!

— Стойте! Остановитесь!

— Не увеличивайте паники.

— Стойте!

### **3. БЕЖАЛИ**

Бежали по улицам толпы. Бежали краснощекие молодые мужчины с беспредельным ужасом на лицах. Скромные служащие контор и учреждений. Женихи в чистых манжетах. Хоровые певцы из любительских союзов. Франты. Рассказчики анекдотов. Бильярдисты. Вечерние посетители кинематографов. Карьеристы, пакостники, жулики с белыми лбами и курчавыми волосами. Добряки-развратники. Лихие пьяницы. Весельчаки, хулиганы, красавцы, мечтатели, любовники, велосипедисты. Широкоплечие спорщики от нечего делать, говоруны, обманщики, длинноволосые лицемеры, грустящие ничтожества с черными печальными глазами, за печалью которых лежала прикрытая молодостью холодная пустота. Молодые скряги с полными улыбающимися губами, беспричинные авантюристы, пенкосниматели, скандалисты, добрые неудачники, умные злодеи.

Бежали толстые женщины, многоедящие, ленивые. Худые злюки, требовательные и надоедливые, скучающие самки, жены дураков и умниц, сплетницы, изменницы, завист-



ливые и жадные, сейчас обезображенные страхом. Гордые дуры, добрые ничтожества, от скуки красящие волосы, равнодушные развратницы, одинокие, беспомощные, наглые, просящие, умоляющие, потерявшие от ужаса все прикрывающее изящество форм.

Бежали корявые старики, толстяки, низкорослые, высокие, красивые и уродливые.

Управляющие домами, ломбардные оценщики, железоторговцы, плотники, мастера, тюремщики, бакалейщики, любезные содержатели публичных домов, седоволосые осанистые лакеи, почтенные отцы семейств, округляющиеся от обманов и подлости, маститые шулера и тучные мерзавцы.

Бежали густой, стремительной, твердой и жестокой массой. Пуды тряпья окутывали их тела и конечности. Горячий пар бил из ртов. Брань и вопли оглашали притаившееся равнодушие брошенных зданий.

Многие бежали с имуществом. Тащили скрюченными пальцами подушки, коробки, ящики. Хватали драгоценности, детей, деньги, кричали, возвращались, вздымали в ужасе руки и опять бежали.

Но их вернули. Всех. Такие же, как они, стреляли в этих, забегали вперед, били палками, кулаками, камнями, кусались и кричали страшным криком, и толпы бросались назад, оставляя убитых и раненых.

К вечеру город принял обычный вид. Трепещущие тела людей вернулись в квартиры и бросились на кровати. В тесных горячих черепах отчаянно билась короткая и острая надежда.

#### **4. ПРОЦЕДУРА БЫЛА ПРОСТА**

- Ваша фамилия?
- Босс.
- Сколько лет?
- Тридцать девять.
- Чем занимаетесь?
- Набиваю гильзы табаком.
- Говорите правду!
- Я говорю правду. Четырнадцать лет я честно работаю и содержу семью.
- Где ваша семья?
- Вот она. Это моя жена. А вот это сын.
- Доктор, осмотрите семью Босс.
- Слушаюсь.
- Ну, каковы?
- Гражданин Босс малокровен. Общее состояние среднее. Жена страдает головными болями и ревматизмом. Мальчик здоров.
- Хорошо. Вы свободны, доктор! Гражданин Босс, каковы ваши удовольствия? Что вы любите?

— Я люблю людей и вообще жизнь.

— Точнее, гражданин Босс. Нам некогда.

— Я люблю... Ну, что я люблю... Я люблю моего сына... он так хорошо играет на скрипке... Я люблю поесть, хотя, право, я не обжора... Я люблю женщин... Приятно смотреть, как по улице проходят красивые женщины и девушки... Я люблю вечером, когда устаю, отдыхать... Я люблю набивать гильзы... Могу пятьсот штук в час... И еще многое я люблю... Я люблю жизнь.

— Успокойтесь, гражданин Босс! Перестаньте плакать. Ваше слово, психолог!

— Чепуха, коллега! Сор. Самые заурядные существа! Бедное существование. Темперамент полуфлегматический, полусангвинический. Активность слабая. Класс — последний. Надежд на улучшение нет. Пассивность — семьдесят пять процентов. Мадам Босс — еще ниже. Мальчик пошляк, но, может быть... Сколько лет вашему сыну, гражданин Босс? Перестаньте плакать!

— Тринадцать лет.

— Не беспокойтесь. Сын ваш пока остается. Отсрочка на пять лет. А вы... Впрочем, это не мое дело. Решайте, коллега!

— Именем Коллегии Высшей Решимости, в целях очищения жизни от лишнего человеческого хлама, безразличных существ, замедляющих прогресс, приказываю вам, гражданин Босс, и вашей жене оставить жизнь в двадцать четыре часа.

Тише! Не кричите! Санитар, успокойте женщину! Позовите стражу! Они вряд ли обойдутся без ее помощи.

## **5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕНУЖНЫХ СОХРАНИЛИСЬ В СЕРОМ ШКАФУ**

Серый Шкаф стоял в коридоре в главном управлении Коллегии Высшей Решимости. У него был обыкновенный солидный задумчиво-глуповатый вид, как у всех шкафов. Он не имел ни в ширину, ни в высоту трех аршин, но был могилой нескольких десятков тысяч жизней. На нем красовались две коротеньких надписи:

«Каталог ненужных».

И:

«Характеристики-протоколы».

В каталоге было много отделов, и, между прочим, такие:

«Воспринимающие впечатления, но не разбирающиеся».

«Мелкие последователи».

«Пассивные».

«Без центров».

И так далее.

Характеристики были кратки, объективны. Впрочем, иногда попадались и резкие выражения, и тогда на обороте неизменно алел красный карандаш председателя Коллегии Ака, отмечавший, что бранить ненужных не следует.

Вот несколько характеристик:

« Ненужный No 14741

Здоровье среднее. Ходит к знакомым, не будучи нужен или интересен им. Дает советы. В расцвете сил соблазнил какую-то девушку и бросил ее. Самым крупным событием в жизни считает приобретение мебели для своей квартиры после женитьбы. Мозг вялый, рыхлый. Работоспособности нет. На требование рассказать самое интересное, что он знает о жизни, что ему пришлось видеть, — он рассказал о ресторане «Квиссисана» в Париже. Существо простейшее. Разряд низших обывателей. Сердце слабое. В 24 часа. »

« Ненужный No 14623

Работает в бондарной мастерской. Класс — посредственный. Любви к делу нет. Мысль во всех областях идет по пути наименьшего сопротивления. Физически здоров, но душевно болен болезнью простейших: боится жизни. Боится свободы. По праздникам, когда свободен, одурманивается алкоголем. Во время революции проявлял энергию: носил красный бант, закупал картофель и все, что можно было: боялся, что не хватит. Гордился рабочим происхождением. Активного участия в революции не принимал: боялся. Любит сметану. Бьет детей. Темп жизни ровно-унылый. В 24 часа. »

« Ненужный No 15201

Знает восемь языков, но говорит то, что скучно слушать, и на одном. Любит мудреные заповни и зажигаки. Очень самоуверен. Самоуверенность черпает из знания языков. Требует уважения. Сплетничает. К живой настоящей жизни по-воловы равнодушен. Боятся нищих. Сладок в обращении из трусости. Любит убивать мух и других насекомых. Радость испытывает редко. В 24 часа. »

« Ненужная No 4356

Кричит на прислугу от скуки. Тайно съедает пенку от молока и первый жирный слой бульона. Читает бульварные романы. Валяется по целым дням на кушетке. Самая глубокая мечта: шить платье с желтыми рукавами и оттопыренными боками. Двенадцать лет ее любил талантливый изобретатель. Она не знала, чем он занимается, и думала, что он электротехник. Бросила его и вышла замуж за кожевенного торговца. Детей не имеет. Часто беспричинно капризничает и плачет. По ночам просыпается, велит ставить самовар, пьет чай и ест. Ненужное существование. В 24 часа. »

## **6. ЗА РАБОТОЙ**

Вокруг Ака и Коллегии Высшей Решимости образовалась толпа служащих-специалистов. Это были доктора, психологи, наблюдатели и писатели. Все они необычайно быстро ра-

ботали. Бывали случаи, когда в какой-нибудь час несколько специалистов отправляли на тот свет добрую сотню людей. И в Серый Шкаф летела сотня характеристик, в которых четкость выражений соперничала с беспредельной самоуверенностью их авторов.

В главном управлении с утра до вечера кипела работа. Уходили и приходили квартирные комиссии, уходили и приходили отряды исполнителей приговоров, а за столами, как в огромной редакции, десятки людей сидели и писали быстрыми твердыми неразмысляющими руками.

Ак же смотрел на все это узкими крепкими непроницаемыми глазами и думал одному ему понятную думу, от которой горбилось тело и все больше и больше седела его большая буйная упрямая голова.

Что-то нарастало между ним и его служащими, что-то стало как будто между его напряженной бессонной мыслью и слепыми неразмысляющими руками исполнителей.

## **7. СОМНЕНИЯ АКА**

Как-то члены Коллегии Высшей Решимости пришли в управление, намереваясь сделать Аку очередной доклад.

Ака на обычном месте не оказалось. Искали его и не нашли. Посылали, звонили по телефону и тоже не нашли.

Только через два часа случайно обнаружили в Сером Шкафу.

Ак сидел в Шкафу на могильных бумагах убитых людей и с небывалым даже для него напряжением думал.

— Что вы тут делаете? — спросили Ака.

— Вы видите, я думаю, — устало ответил Ак.

— Но почему же в Шкафу?

— Это самое подходящее место. Я думаю о людях, а думать о людях плодотворно можно непосредственно на актах их уничтожения. Только сидя на документах уничтожения человека, можно изучать его чрезвычайно странную жизнь.

Кто-то плоско и пусто засмеялся.

— А вы не смейтесь, — насторожился Ак, взмахнув чьей-то характеристикой, — не смейтесь! Кажется, Коллегия Высшей Решимости переживает кризис. Изучение погибших людей навело меня на искание новых путей к прогрессу. Вы все научились кратко и ядовито доказывать ненужность того или иного существования. Даже самые бездарные из вас в нескольких фразах убедительно доказывают это. И я вот сижу и думаю о том, правилен ли наш путь.

Ак опять задумался, затем горько вздохнул и тихо произнес:

— Что делать? Где выход? Когда изучаешь живых людей, то приходишь к выводу, что три четверти из них надо вырезать, а когда изучаешь зарезанных, то не знаешь: не следовало ли любить их и жалеть? Вот где, по-моему, тупик человеческого вопроса, трагический тупик человеческой истории.



Ак скорбно умолк и зарылся в гору характеристик мертвецов, болезненно вчитываясь в их протокольно жуткую многословность.

Члены Коллегии отошли. Никто не возражал. Во-первых, потому что возражать Аку было бесполезно. Во-вторых, потому что возражать ему не смели. Но все чувствовали, что назревает новое решение, и почти все были недовольны: налаженное дело, ясное и определенное, очевидно, придется менять на другое. Но на какое?

Что еще выдумал этот выживший из ума человек, у которого была такая неслыханная власть над городом?

## **8. КРИЗИС**

Ак исчез.

Он всегда исчезал, когда впадал в раздумье. Его искали всюду и не находили. Кто-то говорил, что Ак сидит за городом на дереве и плачет. Затем говорили, что Ак бегает в своем саду на четвереньках и грызет землю.

Деятельность Коллегии Высшей Решимости ослабела. С исчезновением Ака что-то не клеилось в ее работе. Обыватели надевали на двери своих квартир железные засовы и попросту не пускали к себе проверочные комиссии. В некоторых районах на вопросы членов Коллегии о праве на жизнь отвечали хохотом, а были и такие случаи, когда ненужные люди хватали членов Коллегии Высшей Решимости,

проверяли у них право на жизнь и издевательски писали характеристики-протоколы, мало отличающиеся от тех, которые хранились в Сером Шкафу.

В городе начался хаос. Ненужные ничтожные люди, которых еще не успели умертвить, до того обнаглели, что стали свободно появляться на улицах, начали ходить друг к другу в гости, веселиться, предаваться всяким развлечениям и даже вступать в брак.

На улицах поздравляли друг друга:

— Кончено! Кончено! Ура!

— Проверка права на жизнь прекратилась.

— Не находите ли вы, гражданин, что приятней стало жить? Меньше стало человеческого хлама. Даже дышать стало легче.

— Как вам не стыдно, гражданин! Вы думаете, что ушли из жизни те, кто не имел права на жизнь? О! Я знаю таких, которые не имеют права жить даже один час, а они живут и будут жить годами, а с другой стороны, сколько погибло достойнейших личностей! О, если б вы знали!

— Это ничего не значит. Ошибки неизбежны. Скажите, вы не знаете, где Ак?

— Не знаю.

— Ак сидит за городом на дереве и плачет.

— Ак бегает на четвереньках и грызет землю.

— И пускай плачет!

— Пускай грызет землю!

- Рано радуетесь, граждане! Рано! Ак сегодня вечером возвращается, и Коллегия Высшей Решимости опять начнет работать.
- Откуда вы знаете?
- Я знаю. Хлама человеческого еще слишком много осталось. Надо еще чистить, чистить и чистить!
- Вы очень жестоки, гражданин!
- Наплевать!
- Граждане! Граждане! Смотрите! Смотрите!
- Расклеивают новые плакаты.
- Смотрите!
- Граждане! Какая радость! Какое счастье!
- Граждане, читайте!
- Читайте!
- Читайте! Читайте! Читайте!..

## **9. БЫЛИ РАСКЛЕЕНЫ ПЛАКАТЫ**

По улицам бежали запыхавшиеся люди с ведерками, полными клейстеру. Пачки огромных розовых плакатов с радостным трескучим шелестом разворачивались и прилипали к стенам домов. Их текст был отчетлив, ясен и прост.

Вот он:

« Всем без исключения.

С момента опубликования настоящего объявления всем гражданам города разрешается жить. Живите, плодитесь

и наполняйте землю. Коллегия Высшей Решимости выполнила свои суровые обязанности и переименовывается в Коллегию Высшей Деликатности. Вы все прекрасны, граждане, и права ваши на жизнь неоспоримы.

Коллегия Высшей Деликатности вменяет в обязанность особым комиссиям в составе трех членов обходить ежедневно квартиры, поздравлять их обитателей с фактом существования и записывать в особых «Радостных Протоколах» свои наблюдения.

Члены комиссии имеют право опрашивать граждан, как они поживают, и граждане могут, если желают, отвечать подробно. Последнее даже желательно. Радостные наблюдения будут сохранены в Розовом Шкафу для потомства. »

## **10. ЖИЗНЬ СТАЛА НОРМАЛЬНОЙ**

Открылись двери, окна, балконы. Громкие человеческие голоса, смех, пение и музыка вырвались из них. Толстые неспособные девушки учились играть на пианино. С утра до ночи рычали граммофоны. Играли также на скрипках, кларнетах и гитарах. Мужчины по вечерам снимали пиджаки, сидели на балконах, растопырив ноги, и икали от удовольствия. Городское движение необычайно усилилось. Мчались на извозчиках и автомобилях молодые люди с дамами. Никто не боялся появляться на улице. В кондитерских и лавочках сладостей продавали пирожные и прохладительные на-

питки. В галантерейных магазинах шла усиленная продажа зеркал. Люди покупали зеркала и с удовольствием смотрелись в них. Художники и фотографы получали заказы на портреты. Портреты вставлялись в рамы, и ими украшали стены квартир. Из-за таких портретов даже случилось убийство, о котором много писали в газетах. Какой-то молодой человек, снимавший в чьей-то квартире комнату, потребовал, чтобы из его комнаты были убраны портреты родителей квартирохозяев. Хозяева обиделись и убили молодого человека, выбросив его на улицу с пятого этажа.

Чувство собственного достоинства и себялюбие вообще сильно развились. Стали обычным явлением всякие столкновения и дразги. В этих случаях наряду с обычной бранью доносились друг друга и таким ставшим трафаретным диалогом: — Вы, видно, по ошибке живете на свете. Как видно, Коллегия Высшей Решимости весьма слабо работала.

— Очень даже слабо, если остался такой субъект, как вы.

Но, в общем, дразги были незаметны в нормальном течении жизни. Люди улучшали стол, варили варенье. Сильно увеличился спрос на теплое вязаное белье, так как все очень дорожили своим здоровьем.

Члены Коллегии Высшей Деликатности аккуратно обходили квартиры и опрашивали обывателей, как они поживают.

Многие отвечали, что хорошо, и даже заставляли убеждаться в этом.

— Вот, — говорили они, самодовольно усмехаясь и потирая руки, — солим огурчики, хе-хе. И маринованные селедочки есть... Недавно взвешивался: полпуда прибавилось веса, слава богу...

Другие жаловались на неудобства и сетовали, что мало работала Коллегия Высшей Решимости:

— Понимаете, еду я вчера в трамвае и, представьте себе, нет свободного места... Безобразие какое! Пришлось стоять и мне, и моей супруге. Много еще осталось липшего народа. Толкуются всюду, толкуются, а чего толкуются — черт их знает! Напрасно не убрали в свое время!..

Третьи возмущались:

— Имейте в виду, что в четверг и в среду меня никто не поздравлял с фактом существования. Это нахальство! Что все это такое?.. Мне к вам ходить за поздравлением, что ли?..

## **11. КОНЕЦ РАССКАЗА**

В канцелярии Ака, как и раньше, кипела работа: сидели люди и писали. Розовый Шкаф был полон радостными протоколами и наблюдениями. Подробно и тщательно описывались именины, свадьбы, гулянья, обеды и ужины, любовные истории, всякие приключения, — и многие протоколы приобрели характер и вид повестей и романов. Жители просили членов Коллегии Высшей Деликатности выпускать их в виде книг, и этими книгами зачитывались.

Ак молчал. Он только еще более сгорбился и поседел. Иногда он забирался в Розовый Шкаф и подолгу сидел в нем, как раньше сиживал в Сером Шкафу. Однажды Ак выскочил из Розового Шкафа с криком:


— Резать надо! Резать! Резать! Резать!

Но увидев белые быстро бегущие по бумаге руки своих служащих, которые теперь столь же ревностно описывали живых обывателей, как раньше мертвых, — махнул рукой, выбежал из канцелярии и исчез.

Исчез навсегда.

Было много легенд об исчезновении Ака, всякие передавались слухи, но Ак так и не нашелся.

И люди, которых так много в том городе, которых сначала резал Ак, а потом пожалел, а потом опять хотел резать, люди, среди которых есть и настоящие, и прекрасные, и много хлама людского, — до сих пор продолжают жить так, точно никакого Ака никогда не было и никто никогда не поднимал великого вопроса о праве на жизнь.



# ГИБЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОРОДА

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В это утро редкие вялые толпы собирались на площадях и перекрестках улиц. Люди, невымытые, не выспавшиеся, растрепанные, наскоро одетые, выбегали из домов, тревожно и нерешительно бродили вдоль улиц и встречали друг друга унылыми стонами-восклицаниями.

— Они пришли!

— Да. Они здесь!

Кто-то, закрыв глаза и прижав к груди руки, рассказывал:

— Они здесь. Я живу на окраине и слышал звуки труб. Они ликовали. Всю ночь играла музыка.

— А наша армии? Где наша армия?

— Она не в силах бороться с ними. По стратегической диаграмме Главного Генерала, опубликованной вчера, мы ослаблены на две и шесть десятых. Борьба была бы безумием. Солдаты заперлись в казармах. Они говорят, что их предали.

— Позор! Позор!

— Гибель!

— Всю ночь играла музыка.

— Сегодня они войдут в город.

— Смотрите! Смотрите!



Один из жителей Главного Города, невзрачный, по-видимому, больной, присел и поднял обе руки, устремив в небо испуганный и растерянный взгляд.

Высоко над Главным Городом кружился аэроплан.

Каждые несколько минут от него отделялась небольшая темная масса и по неровной наклонной линии падала вниз.

— Спасайтесь! — кричали отовсюду. — Спасайтесь! Спасайтесь!

Унылые фигуры, согнувшись и схватившись за голову, бежали по улицам и скрывались в домах.

Но вскоре опять выходили.

Оказалось, что враг-победитель бросал с аэропланов цветы... Самые настоящие, огромные связки гвоздик и роз...

— О, гнусные, жестокие люди!

— Разбойники!

— Звери!

— Подлые грязные души!

Каждый, даже самый мирный житель Главного Города ругал победителей самым желчным образом. Цветы — вместо недавних снарядов. Цветы, бросаемые побежденным, униженным и растоптанным, — это была злая, бесконечно обидная насмешка.

Никто не брал этих цветов. Двух подростков, поднявших цветы из любопытства, толпа избилла и сбросила с моста в реку.

Главный Город впервые сознал свой позор.

Магазины были закрыты. Трамвай остановился.

Многие носили траур.

А в разных частях города, на улицах, балконах, площадях и крышах валялись чужие цветы, обидно пестрели чужой дразнящей радостью, вызывая в жителях Главного Города стоны обиды и отчаяния.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

Ожидали, что неприятельские войска с триумфом вступят в город и пройдут по главным улицам, покоряя женщин и вызывая последнее отчаяние в душах мужчин.

Но ни один отряд не вступал. Неприятель расположился далеко за городом, только в некоторых отдаленных окраинах слышна была музыка, игра многих, как выяснилось потом, более пятидесяти, — соединенных оркестров.

По ночам над Главным Городом сияли огненные надписи неприятельских словесных прожекторов. На темном фоне ночного неба над Главным Городом появлялись огненные стихи неприятельских поэтов. В них говорилось о силе победителей, об их культурности и милосердии. Вслед за стихами сверкали уверения, что жители Главного Города не будут обижены, что порядок жизни не будет нарушен и только одно условие президент должен будет подписать. «Одно условие» было подчеркнуто.

Затем на небе печатались рекламы неприятельских торговых фирм про мыло, какао, часы и ботинки. Все небо до рассвета было покрыто этими рекламами. Жители плакали в домах. Подходили к окнам, смотрели на небо, читали рекламу про гнутую мебель или гигиенические наусники — и плакали.

Следующий день прошел спокойно. Музыка за городом смолкла. Перестали сыпаться и цветы. Только ночью опять назойливо и нагло пестрели на небе светящиеся объявления — бесконечные, бесконечные — уже более мелких и второстепенных фирм.

### **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

Президент Главного Города созвал наиболее деятельных членов парламента, представителей прессы и Главного Генерала и объявил им, что Главный Город погибает.

Все это знали: о гибели Главного Города писали много еще до победы неприятеля, но президента выслушали почтительно, — он был чрезмерно уважаем и был неповинен в поражении.

Многие из членов парламента подумали даже о необходимости выражения сочувствия ему как страдальцу и мученику.

— Главный Город погиб, граждане, — сказал президент. — Мы еще не знаем условий мира, но они будут ужасны. Призываю вас к спокойствию и мужественному терпению.

В его словах были: вескость и то, что вызывает успокоение.  
— Надо напечатать воззвание, — предложил один из членов парламента.

— Да. Да. Непременно. Воззвание. Надо выбрать комиссию.  
Комиссия была выбрана и воззвание составлено.

«Граждане Главного Города! — говорилось в нем. — Призываю вас к спокойствию. Ни одна бестактность не должна быть совершена по отношению к победившим. Не будем отвечать ни на одно оскорбление. Не обращайтесь внимания на цветы, рекламы и музыку наших врагов. Будьте терпеливы. Да поможет вам Разум, единственный царь земли, покоритесь его единственной законной власти».

Воззвание не помогло. Ночью в разных частях города была слышна стрельба. Стреляли из ружей и пушек по объявлениям, назойливо заволакивавшим небо.

На одной из окраин образовался большой партизанский отряд, отправившийся воевать с победившим врагом.

Безумцев постигла жестокая участь: их обезоружили, разъединили, насильно вымыли, переодели и заставили слушать музыку, есть роскошную пищу и развлекаться в обществе прекрасных женщин.

Многие покончили самоубийством, многие были посажены в дома для умалишенных, а большая часть, опозоренная, высмеянная, не выдержавшая искуса, вернулась в Главный Город.

#### **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

На пятый день торжества победы враг прислал парламентаров. Они прибыли без оружия и конвоя в открытом автомобиле и остановились у дома президента. Было их три человека: старик, женщина и высокий сухой прищуренный человек средних лет, на вид самый твердый и деловой из них.

Оказалось, однако, что главой делегации была женщина — среднего роста, костлявая, с приятной улыбкой и бесцветными глазами.

Она объявила президенту Главного Города, что ее народ не желает побежденным злом, не хочет ни насилий, ни мести, — он требует только одного: согласия на то, чтобы над Главным Городом выстроить новый город, над его площадями и улицами — новые площади и улицы, над его домами и мостами — новые дома и мосты.

Президент поднялся с кресла, взмахнул руками и — не удержимо заплакал.

Неприятельские парламентары отошли от него и повернулись к стене. Женщина была возбуждена и, точно в недоумении, поводила плечами.

Когда президент перестал плакать, она подошла к нему и сказала — без участия, но и без жестокости:

— Не понимаю, почему вы волнуетесь, господин президент? Может быть, вы нас не поняли: ни один житель Главного Города, ни одно здание в нем не пострадают. Мы будем строить

свой город над Главным Городом. О нашей технике вы, надеюсь, слышали. Конечно, некоторые неудобства мы вам причиним: перед вашими окнами будут стоять стальные бруссы — основания для наших домов и улиц. Но ведь это пустяки! Затем у вас, разумеется, будет темнее, чем сейчас, возможно даже, что в некоторых районах будет совсем темно, — что ж, будете пользоваться электричеством. Ничего не поделаешь! Воля моего народа священна. Я не уполномочена отменять ее.

Президент Главного Города молчал.

Враги были кратки, корректны и деловиты. Они не были сентиментальны. Кроме того, они отчетливо знали, чего хотят, и знали, что никакая сила на земле не помешает им осуществить свои желания.

— Почему вы это делаете? — спросил президент и шумно вздохнул. Он сразу почувствовал, что вопрос его больше следствие усталости, чем государственной мудрости.

— Да! — поправился он. — Это я так спросил. А скажите, что вы будете делать в Верхнем Городе?

— Мы будем жить там, — ответил вместо женщины старик и насмешливо кашлянул.

— Странно!

— Тут нет ничего странного, — сказала женщина.

— Вы хотите нас погубить! — вздохнул президент. Нельзя сказать, чтобы и эта его реплика произвела большое впечатление на неприятельских парламентаров. — Нет, господа,

лучше убейте меня! Убейте! — трагически воскликнул президент и сделал жест отчаяния. Парламентеры поморщились: их страна, богатая промышленной техникой, была бедна пафосом, и пафос президента был им открыто неприятен. — Убейте меня! Я не выношу этого неслыханного позора. Жить внизу, во мраке, под вами, вечно встречаться с вами, смешаться с вами... О!

— Позвольте, — перебила его женщина, — жители Главного Города не будут нас видеть и не будут встречаться с нами. Только первые десять лет, покуда не закончатся работы внизу, а затем вы нас не будете видеть.

— Как так?

— Вход в Верхний Город жителям Главного Города будет строжайше воспрещен.

— Убейте меня! Убейте! Я не хочу разговаривать с вами. Да будет проклята культура, если она может быть так жестока! — опять взволновался президент. — Убейте меня! Разрушите Главный Город, превратите его сначала в развалины, а потом стройте свой новый город. Я сегодня же организую восстание. Уходите! Переговоры я считаю излишними.

— Напрасно, — равнодушно ответила женщина. — Восстание вещь дикая. Да и бесполезная. Мы очень сильны. Но должна вам сказать, что путь культуры — вернейший путь.

— Как вы смеете говорить о культуре? — все с тем же пафосом, какого было немало в Главном Городе, вскричал президент.

— Мы именно о ней говорим. Мы говорим о подлинной культуре. Неужели вы думаете, что мы пощадили бы вас, если б не забота о сохранении вашей культуры? Мы считаем вас отжившим народом, но культуру вашу ценим, и свой город мы построим над вашим только потому, что хотим иметь и сохранить ваши здания, ваши прекрасные музеи, ваши библиотеки и ваши храмы. Только потому. Мы хотим иметь вашу старую прекрасную культуру у себя, так сказать, в погребке и выдерживать ее, как вино...

### **ГЛАВА ПЯТАЯ**

Президент Главного Города обратился к победителям с просьбой освободить небо от коммерческих объявлений хотя бы на одну ночь, чтобы иметь возможность оповестить население об условиях мира и решении победителей выстроить над Главным Городом новый город.

Неприятельский штаб ответил, что нет особенной надобности в использовании для этого непременно неба, можно это сделать путем печатных воззваний, но если уж президенту хочется использовать непременно небо, принадлежащее победителям, то можно вступить в переговоры с публикаторами, взявшими небо в аренду, и возместить им в соответствующем размере убытки.

Обсуждение этого вопроса в парламенте впервые обнаружало примиренческое течение центра. Один из ораторов



умеренных групп произнес пространную речь, в которой доказывал, что со своей точки зрения, точки зрения победителя, неприятель прав и поступать иначе, чем поступает, он не может. Вступать на путь вечных пререканий и явно бесплодной борьбы поэтому неразумно. Необходимо, — по возможности, не откладывая, — выработать общие условия соглашения, а борьбу начать тогда, когда будут благоприятные обстоятельства.

Речь этого оратора вызвала сильное негодование. Ему был даже брошен упрек в продажности и в измене Главному Городу, а трех представителей крайних групп пришлось насильно вывести из зала заседаний.

— Не получили ли вы подряда на несколько улиц для Верхнего Города? — в исступлении крикнул один из выводимых злополучному оратору.

Президент Главного Города, осунувшийся, не спавший несколько суток, по поводу последнего упрека заявил парламенту, что никакие подряды гражданам Главного Города неприятелем даваться не будут, — это известно уже из устава постройки Верхнего Города, — и потому упрек представителя крайних групп не только незаслуженно оскорбителен, но и совершенно неоснователен.

Затем президент предложил прекратить бесполезные прения и выбрать комиссию для переговоров с арендаторами неба для освобождения его от реклам на одну ночь.

Комиссию выбрали.

К вечеру вопрос был решен: правительству Главного Города уступалась половина небесного свода для сообщения населению важнейших сведений.

Объявление писал сам президент. Оно было одобрено парламентом и вечером запестрело прямыми, суровыми и зловещими красными буквами на синем таинственно равнодушном небесном своде:

«Граждане, — говорилось в нем, — мужайтесь! В последний раз вы смотрите на вольное, на наше небо. Отныне оно принадлежит не нам. Не для вас будут мерцать звезды, не для вас будет сиять солнце. Наш великий, чудесный и милый Главный Город будет огромным, темным, мертвенно-электрическим склепом. Над ним будет выстроен новый город, и нам будет строжайше воспрещен вход в него. Десять лет будет строиться Верхний Город, и с каждым днем все меньше и меньше будет над нами вольного неба. Таково, дорогие граждане, страшное решение победителей. Терпите! Мужайтесь! Да поможет вам разум и единственная мудрость на земле — мудрость надежды. Не может быть, чтобы Главный Город погиб так ужасно и неотвратимо. Это испытание слепой судьбы. Да помогут нам надежда, бодрость и вера в счастливое изменение обстоятельств».

Дальше следовал сухой текст параграфов мирного договора.

## **ГЛАВА ШЕСТАЯ**

Это была неповторимая по тревожности ночь. Еще до опубликования объявления президента в Главном Городе начали распространяться слухи, что в десяти верстах от города неприятелем построены и наведены на Главный Город какие-то огромные металлические трубы.

В вечерних газетах высказывались тревожные предположения, что это сооружения для того, чтобы смыть объявление президента, если оно будет составлено в неприятном для победителей духе, — машины для устройства искусственного дождя или затмения неба.

Но экстренные выпуски полуночных газет опровергли это предположение: оказалось, что машины и трубы устанавливались неприятельской «Ассоциацией Действенной Философии» для производства всеслышного машинного систематического хохота над неудачами и ошибочными действиями правительства, политических партий и населения Главного Города.

Газета, первой сообщавшая о настоящей цели установки машин и труб, сопровождала заметку советом плотно закрывать на ночь двери и окна и по возможности не выходить на улицы, чтобы не слышать обидного, но — увы! — неотвратимого хохота.

Бульварные листки, выходявшие по два-три выпуска в час, успели перепечатать это сообщение и снабдить его

воинственными комментариями и угрозами, что граждане Главного Города не потерпят подобного издевательства, что нужно немедленно мобилизовать все барабаны, имеющиеся в Главном Городе, все звонки, колокола, гудки и прочие инструменты, могущие создать сильный шум, а если их окажется недостаточно, то не останавливаться и перед оружейной канонадой.

В два часа ночи раздались первые раскаты ужасного машинного хохота.

Ни с чем не сравнимый гнет его звуков заставил сердца всех живых существ, населявших Главный Город, забиться и сжаться.

Машинный хохот действовал двояко: смешил и удручал. Никто не спал в эту ночь. По улицам слонялись с диким хохотом подростки, взрослые, женщины, старики. Многие рыдали. Многие, поддаваясь заразительности машинного хохота, смеялись и плакали одновременно. Были попытки и противодействовать работе этих поистине адских машин. Где-то барабанили, кричали, где-то что-то взрывали, все время была слышна стрельба, но вскоре ясно стало, что, если хохот будет продолжаться, результаты его будут катастрофичны. К президенту Главного Города обратилась депутация от ученых, гуманистических обществ и университетов с просьбой немедленно вступить в переговоры с «Ассоциацией Действенной Философии» и приложить все усилия к тому, чтобы

прекратить деморализующий, бесчеловечный, неслыханный хохот.

Депутация представила президенту несколько докладов о непосредственных результатах чудовищной пытки всего за три часа. Даже по неполным сведениям, в пятимиллионном Главном Городе уже оказались десятки психических заболеваний, около восьмидесяти самоубийств и огромное, не поддающееся подсчету количество серьезных душевных потрясений.

Президент Главного Города принял депутацию, сидя у открытого окна. Он сидел совершенно спокойно, усталым взором вглядывался в смутные контуры домов и крыш. Даже наиболее резкие раскаты хохота, отчетливо напоминавшие хохот здорового, широкогрудого, умного и мстительного мужчины, не заставляли его морщиться.

Он спокойно выслушал взволнованных депутатов и, покорно исполняя просьбу, отдал письменно необходимые распоряжения.

## **ГЛАВА СЕДЬМАЯ**

К председателю «Ассоциации Действенной Философии» отправились на правительственном аэроплане двое: всемирно известный писатель, гуманистическим идеям которого удивлялся весь культурный мир, и ученый, которому гений и сорокалетний неустанный труд дали возможность освободить человечество от мора чахотки.

Не могло быть сомнений в том, что два этих человека окажут должное влияние на ученых победившей страны и заставят прекратить угнетающую форму философской проповеди.

В неприятельском лагере делегатов встретили, как и можно было ожидать, с почетом. Всего через полчаса они были приняты президиумом «Ассоциации», и ходатайство их было заслушано с величайшим вниманием.

Однако в удовлетворении ходатайства им было отказано.

Председатель «Ассоциации Действенной Философии», сморщенный старичок в круглых золотых очках, почтительно согнувшись и сложив руки на животе, заявил знаменитым делегатам Главного Города:

— Я был бы счастлив, если б мог сделать для вас приятное. Но, к сожалению, мы считаем невозможным упустить столь благоприятный момент для борьбы с устарелой бесплодной и, по нашим воззрениям, вредной эпидемией оптимизма, которой был охвачен Главный Город и жертвой которого он, как видите, пал. Конечно, прискорбно слышать о потрясениях и заболеваниях, сведения о которых содержатся в ваших докладах, но мы глубоко убеждены, что морально переорожденных, оздоровленных и даже духовно воскресших лиц в Главном Городе окажется в результате значительно больше. Мы считаем нужным продолжать нашу проповедь хотя бы еще девять часов. Небезынтересно отметить, что у его королевского величества до нас пытался получить разреше-

ние на смех синдикат сатирических клубов и журналов, но нам вовремя удалось доказать научность и полноту единственно нашей формы проповеди, и Академия Наук предоставила монополию нам. У синдиката имелось намерение перемежать здоровый научный хохот со свистом, что является мерой довольно сомнительной, и еще некоторыми ироническими завываниями и улюлюканьем, целесообразность которых требует, конечно, самой строгой проверки и вряд ли может быть признана удовлетворительной с точки зрения науки.

## **ГЛАВА ВОСЬМАЯ**

С этой памятной ночи прошло две недели.

Внешне в Главном Городе ничего не изменилось, если не считать возросшего количества пожаров. В числе их причин в пожарных бюллетенях отмечались поджоги библиотек и архивов, что было связано с кризисом мировоззрения многих государственных деятелей и частных граждан.

Победители почти ничем не напоминали о себе. Углубление и укрепление своей победы они проводили путем официальных переговоров, изданием декретов и уставов.

Партизанские выступления отдельных отрядов прекратились. Со своей стороны, победители перестали забрасывать Главный Город цветами, а музыки не было слышно уже давно. Только светящиеся объявления по вечерам заволаки-

вали небо, но к ним жители Главного Города успели привыкнуть.

Магазины были открыты. Городское движение возобновилось в полной мере. Газеты и журналы выходили регулярно.

Начавшийся было массовый отъезд из Главного Города состоятельных граждан был прекращен запретительным неприятельским декретом, но и это не повергло общество в особенное уныние.

Дух апатии и равнодушия вообще с каждым днем все больше и больше охватывал население.

Кинематографические съемочные автоматы, имевшиеся на многих улицах Главного Города, непрерывно снимавшие прохожих для изучения их «Обществом Любви к Человеку», сейчас давали на снимках большой процент фигур с вялой поступью, рассеянным и угнетенным выражением лиц и нервными движениями. В знак траура и протеста члены «Общества Любви к Человеку» носили на левой руке черную повязку.

В городе участились самоубийства. В газетах в отделе объявлений печатались предсмертные письма, признания и афоризмы самоубийц. Один старый почтенный голубятник отравил кокаином всех своих голубей — больше десяти тысяч, — выкрасил всех в черную краску и выпустил в город. Сам он отравился в тот же день, а бедные птицы обалдело но-



сились по городу несколько часов и замертво падали на крыши и мостовые с жалобным воркованием.

Нравственность заметно пала. Тираж газет, занимающихся разоблачениями, значительно повысился. Большой успех имели расплодившиеся в огромном количестве юмористические листки, злобно и грубо высмеивавшие все, что вчера еще было дорого Главному Городу, во что все верили и чему поклонялись.

Лидеры партий, руководители общественных течений и групп занялись сведением личных счетов и взаимной травлей. Наблюдались всеобщая озлобленная растерянность и духовная опустошенность. Даже серьезные и правительственные газеты начали уделять много места личной полемике, несвободной от злобных обвинений, мстительных выпадов и желания обидеть, унижить, а не выяснить правду.

В сильнейшей степени развились наркотические клубы, азартные игры, разврат, потребление вин и сладостей и, наконец, участились убийства и авантюры. Из последних наиболее характерным является процесс одного адвоката, который выдавал себя за агента победителей и тайно продавал жителям Главного Города за большие деньги подложные документы на право проживания в еще не выстроенном Верхнем Городе.

Все театры были открыты и переполнены равнодушными зрителями, ищущими забвения. Значительно участились концерты и балы. Но веселья на них не ощущалось.

«Общество Любви к Человеку» устраивало пышные карнавальные шествия для борьбы с унынием. На огромных автомобилях, украшенных цветами и пестрыми декорациями, кривлялись клоуны, пели певцы и показывали фокусы акробаты.

## **ГЛАВА ДЕВЯТАЯ**

Особым декретом победителей правительство Главного Города было смещено, а парламент распущен.

Вместо того и другого Главному Городу было предложено выбрать «Правительство Покорности» из шести человек:

1. Министр Тишины. Его задача — сведение шума Главного Города к минимуму, чтобы не тревожить обитателей будущего Верхнего Города.
2. Министр Вежливости. На его обязанности — оградить кадры рабочих и инструкторов, строящих Верхний Город, от агитации, эксплуатации чувства жалости, а также от оскорблений, насмешек и причинения всяческих неприятностей.
3. Министр Ответственности. Он отвечает за благонадежность жителей Главного Города, гарантирует путем создания строго научной системы абсолютную физическую и психологическую невозможность покушений снизу на благополучие и спокойствие Верхнего Города.

4. Министр Количества. Обязанность — нормировка и, если нужно, сокращение прироста населения, чтобы перегруженность Главного Города не отразилась как-нибудь на благополучии Верхнего Города.
5. Министр Иллюзий. Обязанности — грандиозными декорациями создавать иллюзию неба, где это представится возможным.
6. Министр Надежд.

Последний должен развивать в жителях Главного Города дух мудрой надежды на улучшение обстоятельств в будущем.

Декрет заканчивался двумя примечаниями.

В первом сообщалось, что образовавшаяся в Главном Городе Партия Покорных обратилась к победителям с предложением переименовать Главный Город в Темный Город. На это его королевское величество изволил ответить, что переименование преждевременно, но просил выразить благонамеренной части населения, проявившей столь яркий акт мудрой покорности, благодарность.

В другом примечании Главному Городу разрешалось удовлетворить свою естественную потребность в негодовании в течение пяти дней. На эти дни победители уводят из окрестностей Главного Города все войска, чтобы ничем не помешать свободному проявлению чувств граждан Главного Города. Кроме того, правительство, армия и население по-

бедившей страны на все пять дней, предназначенные для негодования, объявляют себя в состоянии высшей терпимости ко всему, что о них будет высказано в какой угодно форме.

Шестой и седьмой дни предназначены для выборов в «Правительство Покорности», а к двенадцати часам восьмого дня все должно быть в точности выполнено и «Правительство Покорности» сформировано, или Главный Город будет беспощадно сметен с лица земли в несколько часов.

### **ГЛАВА ДЕСЯТАЯ**

Вскоре по требованию победителей началась энергичная работа по коренной дезинфекции Главного Города, который должен был быть абсолютно опрятным и здоровым, ибо должен был служить основанием для Верхнего Города.

Гражданам Главного Города сделали прививки против всех болезней. Бюро продуктов по настоянию властей вменило в обязанность всеобщее ежедневное потребление брома. Без аптечной квитанции и доказательства, что дневная порция брома принята, не выдавались продукты первой необходимости.

Главный Город представлял собою зрелище невиданное: люди всех классов, положений и состояний были одинаково чисто и опрятно одеты, причесаны и вымыты, а жилища их стали образцом чистоты и порядка.

Репрессии приходилось применять в самом незначительном масштабе.

«Правительство Покорности» проявило максимум энергии.

При Министерстве Вежливости организовались кадры инструкторов, агентов и полисменов. Они исправно несли свои обязанности, охраняя рабочих, уже закладывавших стальные и бетонные основания для Верхнего Города.

Главный Город зажил беспокойной спешной трудовой жизнью. Стоял несмолкаемый грохот от лязга железа и стали, стука молотков, скрипа резальных машин, металлического скрежета лебедок и гудков рабочих автомобилей.

Почти на всех улицах рыли ямы, мерили, устанавливали леса, а во многих районах на крышах зданий было так желюдно, как на площадях и улицах.

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ**

Прошло много времени.

Верхний Город рос не по дням, а по часам. Западная часть была уже почти готова. В ней поселились люди. Ежедневно на грузовых аэропланах вывозили сор. Вился дым из труб. Уже сжигали покойников в крематориях. Дети шли в школы. Были казармы и тюрьмы. Был дом для умалишенных. На широкой площади, расположенной над великолепным парком Главного Города, высился красивый и стильный дворец короля.

В Главном Городе стало уже почти совсем темно. Светлые квартиры незастроенных домов, то есть домов, над которы-

ми еще виднелось небо, — сдавались по очень высоким ценам, но вскоре и эти дома застраивались.

Одно время в обществе и печати много говорили об искуснейшей декорации одного художника, удачно заменявшей небо для целых двух улиц и одной площади. Министерство Иллюзий выдало художнику медаль.

Вход в Верхний Город для жителей Нижнего Города был строжайше воспрещен. Этот пункт был одним из основных в своде законов: за нарушение его сажали в специальные «Тюрьмы для любопытных», в которых был жестокий режим.

Министры «Правительства Покорности» успели несколько раз смениться.

В Главном Городе было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены. Два раза небольшие районы восстания были оцеплены стальным кольцом машин и войск и безжалостно залиты цементом.

Образовавшиеся огромные цементовые кубы, в которых было похоронено много жизней, назывались и «Кубами незрелых мечтаний».

«Ассоциация Действенной Философии» оба раза после победы над восставшими боролась с идеями оптимизма проповедью машинного хохота.

В периоды покорности и реакции «Ассоциация Действенной Философии» объявляла жителям темного Главного Города оглушительным криком исполинских граммофонов:

— Мы вас любим... Мы вас любим. — Человек любит покорность ближних... — Смысл жизни в страданиях и самосовершенствовании.

А однажды машина «Ассоциации» оглушительно кричала целый день:

— Познай самого себя!.. Познай самого себя!..

Из всех министров «Правительства Покорности» за все время не оставил своего поста только один Министр Надежд. Он был стар и весел.

— Граждане! — проповедовал он каждое воскресенье. — Дорогие граждане! Надейтесь! Будет время, когда тяжелые обстоятельства изменятся. Мы снова увидим солнце и небо. Верьте! Самое главное, верьте и надейтесь!

Вскоре Верхний Город окончательно сформировался. Это был большой оживленный деловой и значительный город. Было в нем и много общественных течений, общественной борьбы партий. Были и партии равенства, справедливости, были и борцы за освобождение Нижнего Города. Они произносили горячие речи. У них были свои собственные органы печати, клубы.

Внизу, в Главном Городе, тоже были мечтатели, борцы за справедливость и равенство.

А в общем, и те, и другие жили беспокойно и тревожно, часто мучаясь и редко радуясь, но всегда или почти всегда надеясь, — как вообще живут люди на свете.

## **ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ**

Ужас пришел неожиданно. В душный летний полдень на одной из окраин Главного Города взорвался завод. Опасность в пожарном отношении для Главного Города была предупреждена, и пожары обыкновенно прекращались в несколько минут.

Но на этот раз было иначе.

Пожарных встретили выстрелами. Стреляли раненые взрывом рабочие. К ним присоединились уцелевшие. Сотни пуль летели во все стороны из горящего здания.

Дух мятежа метнулся по Главному Городу. Откуда-то появились оружие, бомбы, орудия взрывов, взрывчатые вещества.

По улицам забегали люди с отчаянными криками:

— Вооружайтесь! Вооружайтесь! К оружию!

Тревожные звонки и гудки слышались на всех улицах. Величайшая тревога объяла город.

Пожар охватил несколько домов, и площадь его все расширялась. Весь район был окутан черным едким дымом. Дым стлался по улицам, не имея другого выхода. Многие задыхались в дыму.

Отчаянные крики и стоны неслись отовсюду. Их заглушали звуки все новых и новых взрывов.

Кто поджигал дома? Кто взрывал мосты?

Неизвестно. Черные фигуры людей, как черти, метались в огне. Они пробежали, согнувшись, и исчезали.



Многие бежали по улицам с криками радости. Многие плакали от радости. Кто-то, захлебываясь в крике, командовал: — Взрывайте мосты! Взрывайте дома! Жгите! Побольше жгите!..

Оглушительный взрыв потряс оба города. Из сотен тысяч грудей вырвались ликующие вопли.

Это взорвали парк, над которым высился дворец короля. Белый дворец покривился и рухнул. С каким дичком ломались деревья парка! Как гнулись и свертывались железные решетки мостов и заборов! Исполинские столбы огня, камней и пыли сменяли друг друга.

В Главном Городе потухло электричество. Тьма и мятёж превратили его в черный клокочущий хаос.

Смятение перебросилось и в Верхний Город.

Сотни тысяч пуль и снарядов посыпались сверху. Стреляли во тьму из всех щелей, из всех пробоин. Но новые взрывы взметали на воздух дома и улицы вместе со стреляющими.

Огонь, удушливый дым, тучи пыли, стекло, расплавленный металл и тела людей, тысячи тел кружились в вихревом и безумном столпотворении.

На площади при свете факелов, под треск выстрелов и грохот обвалов Министр Надежд обратился к толпе с призывом:

— Граждане! Бедные обезумевшие граждане! Остановитесь! Остановитесь, пока не поздно! Вас ждет смерть. Тому

ли я учил вас столько лет?.. На что променяли вы дух мудрой надежды?.. На темный и слепой бунт... Остановитесь! Остановитесь, несчастные! Пожалейте себя и наш великий Главный Город! Остановитесь, пока не поздно!

Бедняга! Он был убит камнями, а его министерство взорвано вместе со зданиями Верхнего Города.

«Ассоциация Действенной Философии» пыталась что-то проповедовать при помощи своих машин, но они были отброшены столбом огня, а председатель, совсем уже старый и ветхий, еле успел спастись на одноместном аэроплане.

— Дураки! — кричал он, одиноко качаясь в голубом безоблачном небе. — Вам никогда не победить! Мир держится на разумном насилии, а не на диком самонадеянном бунте. Слепые восставшие черви! Презренные оптимистические телята! На что вы надеетесь?

Он задыхался на вольном воздухе, точно в петле, плевал вниз, где рушились дома, клочкотал огонь, и умер от страха, злобы и горя. Машина долго носила по воздуху его сморщенный и легкий труп.

Тысячи других аэропланов вылетали из Верхнего Города. На них спасались дети и женщины. Плач и крики наполняли воздух.

А внизу все чаще и чаще грохотали обвалы и взрывы. Яркий свет проникал в Главный Город. На многих улицах уже видно было небо.

— Да здравствует солнце! — кричали в радостном иступлении тысячи угоревших людей. — Да здравствует небо! Ура-а!..

В ответ сыпались снаряды, с могильным шипением лился горячий цемент, сыпался удушливый все проедающий смертоносный порошок.

Люди гибли без числа, а живые отвечали новыми оглушительными взрывами, пожарами и метким огнем обреченных.

На каждой улице происходил бой. Бились в квартирах, на крышах, под развалинами и под открытым небом.

— Взрывайте мосты! — кричали отовсюду. — Взрывайте Верхний Город! Жгите! Побольше взрывайте и жгите!

— Граждане! Граждане! Бегите из района рынков! Зовите всех! Сейчас обрушится вокзал Верхнего Города. Спасайтесь, граждане!

— Урра-а-а! Урра-а-а!

Вскоре вокзал обрушился. Страшный грохот не мог заглушить радостных воплей людей. Длинные цепи вагонов с оглушительным треском падали вместе с обломками зданий, вместе с мостами, перронами и рельсами.

Огневой вихрь, смерч из огня, железа и камней взвился к небу.

— Урра-а-а-а!

Большие отряды восставших взобрались по развалинам в Верхний Город. Он был наполовину пуст. Тысячи аэропла-

нов спасали жителей. Им вдогонку посыпались проклятья, огонь и пули.

Войска рассеялись. Все казармы были взорваны. Всюду бушевал огонь, качались и падали здания.

— Довольно! — кричали снизу. — Довольно! Мы гибнем! Остановитесь! Довольно!

Целые улицы заживо погребенных, с трудом пробиваясь сквозь горы развалин, умоляли о пощаде.

Но новые обвалы вновь хоронили их, убивали, сметали с лица земли.

Весь день и всю ночь шло великое разрушение, а к утру одинокие и усталые взрывы довершили гибель Главного Города.

Так просто и стихийно погиб он. Сложны и многообразны пути гнета. Нет предела в них человеческой фантазии, а путь к свободе прост, но горек.

Верхнего Города не стало.

Было одно только море тлеющих и горящих развалин, чудовищные груды домов, дворцов, площадей, мостов и улиц, а среди искривленного хаоса железа, камней и дерева — редкие толпы черных оборванных и окровавленных людей.

Многие из них были ранены, многие умирали, многие плясали, потеряв рассудок, но и раненые, и умирающие, и безумные радостно и громко пели песни в честь яркого восходящего солнца.



**ЕВГЕНИЙ  
ЗАМЯТИН**

**МЫ**

**РОМАН**

**1925**



## **ЗАПИСЬ 1-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА**

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

« Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взвоет в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.



Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.  
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель! **»**

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель «Интеграла», — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

## **ЗАПИСЬ 2-Я**

### **КОНСПЕКТ**

#### **БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС**

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречаемых женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубину вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл», и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мо-

тыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я поднимаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще всю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда. Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи номеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел

все: непреложные прямые улицы, брызжащее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века, с + на - . Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель «Интеграла»). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то

странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и следовательно...

— Ну да: ясно! — крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке, и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской номер — какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я с необычайной для меня резкостью сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд. — Она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уж никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским номером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне.  
— Загляните послезавтра в аудиториум сто двенадцать.

Я пожал плечами:  
— Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:  
— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.



Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком глаза.

### **ЗАПИСЬ 3-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ**

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому Интеграл принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, XX века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете смотреть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой

Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалю Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная — государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) за-

прещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну разве не смешно? У нас эту математическо-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была имен-

но такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжелая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

#### **ЗАПИСЬ 4-Я**

##### **КОНСПЕКТ:**

##### **ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.**

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории п2, как она мне и говорила.

Хотя вероятность была —  $1500/10\,000\,000 = 3/20\,000$  (1500 — это число аудиториумов, 10 000 000 — номеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полу-шар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на “дожде”, действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на “дождь” (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хо-

тел “дождя” — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фоноленток перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкаметра.

— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить только доведя себя до припадков “вдохновения” — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — двадцатый век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес, и там — их древнейший инструмент) — этот ящик они называли “рояльным” или “королевским”, что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»



И дальше — я опять не помню, очень возможно, потому, что... Ну да скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнута белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, попяляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фо-

нолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незабываемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудитории. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканых из сверкающего воздуха стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе ма-

ло ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик — и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья — прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

— Милый Д, если бы только вы, если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

#### **ЗАПИСЬ 5-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ**

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, — ну да все его знают. А между тем вы —

на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб». Но в 35-м году — до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл

во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке), потому что любви одних добивались многие, других — никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из номеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой номер».

Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то), и получаете надлежащую талонную книжечку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти нет уже никаких, знаменатель дробы счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, де-

фекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом — какой-то четырехлапый икс. Или это мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно — —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником — —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так труд-

но писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

### **ЗАПИСЬ 6-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА**

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И, кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон.

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как щеки старинного «купидона», и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз, вниз, как с крутой горы, — и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же заговорила.

— Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? — И морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).



— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.

Морщинки сияли:

— Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

— Люблю я ее — старуху эту.

— За что?

— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть — ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала, улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть...

— Ясно... — начал я, тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток — темные,

с опущенными шторами, и там, за шторами — что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот самый, странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая... — и вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или еще точнее: государств, — поправил я. — Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

— Ну да, ясно... — по-видимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая,

красного дерева кровать. Наше теперешнее — прекрасное, прозрачное, вечное — стекло было только в виде жалких, хрупких квадратных-окон.

— И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). — Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не знаю что, что выводило меня из терпения, мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться — не согласиться было нельзя.

Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры», — человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала — обернулась. «Ну, вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною два жутко-темных окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) — я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным

в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

— Знаете что, — сказала I, — выйдите на минуту в соседнюю комнату. — Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон-глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот — и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь, отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и — точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка — мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, и открытая шея, тень между...

— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но не ужели вы...

— Ясно, — перебила I, — быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

— Да, да, да! Именно. — Я не выдержал. — И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз, там, внутри, за своими окнами, сказала на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня), сказала очень разумную вещь:

— Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

— Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).

— Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

— Да, у нас... — начал я. И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не помню что... Надо было что-нибудь — все равно что — сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог вежливо сказал я.

— А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?

— Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудитории...

— ...И все номера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... — моим голосом сказала I. Потом отдернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна пылал камин. — В Медицинском Бюро у меня есть один врач — он записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

— Вот даже как! А вы знаете, что как всякий честный номер я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

— А не в сущности (острая улыбка-укус). Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

— Вы остаетесь? — Я взялся за ручку двери. Ручка была медная, и я слышал: такой же медный у меня голос.

— Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то номер — я был настолько взволнован, что не запомнил его, и крикнула:

— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку:

— Вы позволите мне взять аэро?

— О да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила:

— А эта ваша — что же, там одна осталась?

— Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

#### **ЗАПИСЬ 7-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ**

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял медные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочтется большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно-сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце пере-

стало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, какое-то инородное тело — как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском — нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, встать. Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва замечать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.



Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так же на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижимое, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «Интеграла». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Интеграл» от земли. Каждый атом секунды — масса «Интеграла» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите».

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «Интеграла») что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что я должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему от самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза — два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... — Голос у меня странный, приплюснутый, плоский, я пробовал откашляться.

— Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

— Но, понимаете, был не один, я сопровождал номер I-330, и вот...

— I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он — тогда на прогулке — и, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немисливо: это ясно.

— Да, да! Как же, как же! Очень, — я улыбался все шире, не лепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, взвинтились обратно в глаза; S — двойко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось, все на меня смотрят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 иду туда непременно...

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидел О, всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум.

Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет, в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода — все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности! О схватила меня за руку.

— Гулять, — круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь, — и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо... — я сказал ей куда. И, к изумлению своему, увидел: розовый круг рта сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость.

— Вы идете к шпионам... фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-женски. — Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. — Ну вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое за-

пах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось, но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

— Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон — желтое — Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

— Да ведь и правда я болен, — сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказывать вам это.

— Ну, О, милая, — ну, конечно же, вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно вечером там уже было закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень

успокаивает и очищает мысли. О-го сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах — и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

### **ЗАПИСЬ 8-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. В-13. ТРЕУГОЛЬНИК**

Это — так давно, в школьные годы, когда со мной случился  $\sqrt{-1}$ . Так ясно, вырезанно помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тшшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу  $\sqrt{-1}$ ! Выньте меня из  $\sqrt{-1}$ !» Этот иррациональный корень врос в меня как что-то

чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова  $\sqrt{-1}$ . Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть  $\sqrt{-1}$ . Это все пустяки — что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад — я знаю, пошел бы не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 — я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампы в древней церкви, теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей — себя. А я — я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

— Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель, и с ним розовая O.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя  $\sqrt{-1}$ , я бы вошел в Бюро).

— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался, — довольно резко сказал я.

— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ — брызги; каждое «п» — фонтан, «поэты» — фонтан.

— Я служил и буду служить знанию, — нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!

— Стены — это основа всякого человеческого... — начал я.

R — брызнул фонтаном, O — розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый  $\sqrt{-1}$ .

— Знаете что, — предложил я, — пойдёмте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час — может быть, такой будет и сегодня).

O взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

— Но сегодня я... У меня сегодня — талон к нему, — кивнула на R, — а вечером он занят... Так что...



Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:  
— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, О? До задачек ваших — я не охотник, а просто — пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой — или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой номер — Д-503. И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы — приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше — в комнате R. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел — двинул одно кресло, другое — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. R — все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя. Законоучитель у нас был громогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст — то выстрел

жеванной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали — весь наш треугольник — и, сознаюсь, я тоже.

— А что, если бы он был живой — как у древних, а? Вот бы — «б» — фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу. О — на коленях у R-из, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел;  $\sqrt{-1}$  заглох, не шевелился...

— Ну, а как же ваш «Интеграл»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настроим, что и вашему «Интегралу» не поднять. Каждый день от восьми до одиннадцати... — R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина — «в карете»).

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «Интеграла»? Ну, а скажите, о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был... — «б» брызнуло прямо в меня.

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел ря-

дом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?

Минута неловкого асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

— К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и Достоевских — или как их там — прошли, — нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в глазах уже не было.

— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему — как будто это было совершенно нехстати — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался  $\sqrt{-1}$ . Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

— Ну, мне пора... — и я поцеловал O, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолненной стеклянной глыбе дома — тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» — но пусть пишется, как пишется) — в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О — мы треугольник, пусть даже и неравносторонний, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

### **ЗАПИСЬ 9-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА**

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь,

цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий: их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству, — спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях — годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда это все совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинувшись поднятой руке, подошел к Кубу номер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты склепов. Но явился Прометей (это, конечно, мы):

И впряг огонь в машину, сталь,  
И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может!

Нет, его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые — острым топором — хорей. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости), — спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, вверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы.

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма



Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

### **ЗАПИСЬ 10-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я**

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала номера входящих. Ее имя — Ю... Впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это — очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, — это то, что щеки у ней несколько обвисли — как рыбы жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» — и — рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

— А вот письмо. Да. Получите, дорогой, — да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок) и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «Интеграла» я никак не мог сосредоточиться — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбки жабры, улыбочка — и, наконец, письмо у меня в руках. Не знаю почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман — и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и — сел... Это было официальное извещение, что на меня записался номер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней — внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, — ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, — ну, вообще не мог... И несмотря на все — —

В голове у меня крутилось, гудело динамо. Будда — желтое — ландыши — розовый полумесяц... Да, и вот это — и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение — относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами — —

Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-то железные прутья и мешают — положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиной ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

— Вот... — протянул я ей розовый билет. — Я получил сегодня извещение и явился.

— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо — и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она — оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тесно... Когда она говорит — лицо у ней, как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови — насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх — две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X — как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

— Я был... Я не мог: я был болен.

— Да. Ну, я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать — все равно что (— острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы — в моих руках. Вы помните: «Всякий номер, в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается...»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, — глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался — ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

И была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа. Юнифа шуршала, падала — я слушал — весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды... Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стекланный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть — из голубовато-серой шелковой груди вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк...

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

— Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

— Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем — Единое Государство беспощадно...

Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать возможность многим губить себя — и вырождение — и так далее. Это до непристойности верно.

— Да... до непристойности.

— Да компанийку вот таких вот лысых, голых истин — выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его знаете, — представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд — и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее — такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои — ненормальные — ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный номер, имеет право на радости — и было бы несправедливо... Ну да это ясно.

И смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня — внутрь:

— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый — о, я уверена в этом, — вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю. Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавижу ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафранное розовым, — сделала несколько шагов — остановилась сзади моего кресла...

Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совершенно отчетливо — не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус «ликера») — и в меня влит глоток жгучего яда — и еще — и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову — но ведь это именно так: мы, на земле, все время



ходим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели... Я стал стеклянный. Я увидел — в себе, внутри. Было два меня. Один я — прежний, Д-503, номер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку — за ручки кресла — я спросил, чтобы услышать себя — того, прежнего:

— Где... где вы достали этот... этот яд?

— О, это! Просто один медик, один из моих...

— «Из моих»? «Из моих» — кого?

И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:

— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что вас — я вас — —

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разорвал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно помню: именно зубами.

Уж не знаю как — I выскользнула. И вот — глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту...»

Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

— «Да! Да, милая — милая», — я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие — сразу как сдунуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени — по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в лифте) — выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте — такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом — несло неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха — отстегивается — отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять — и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух — только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась — плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью — нумера обязаны спать; это обязанность — такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

### **ЗАПИСЬ 11-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА**

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью, и не видно: что там — дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там, я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, — это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот —

Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно так, первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, сознатель-

но — с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я — он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними — как шрам — вертикальная морщина (не знаю, была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи: и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там» я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочерченными по прямой бровями — посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я — не — он...

Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой — посредством...

Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

Через 20 минут:

На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут — это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога

на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же — корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хорейми был изрублен, уничтожен тот безумец.

— ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно — непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хорей, — закончил я.

Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.

— Что с вами?

— Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом — приговор, приговор. Не желаю больше об этом — вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, разворачивает, развернул — залакировались смехом глаза, вскочил.

— А вот для вашего «Интеграла» я сочиняю... это — да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

— Понимаете («п» — фонтан) — древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья, третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы — рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рязить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно; словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему мне

(я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, что это четвертый взлез в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты приятель... А все-таки...» И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину...

— I, — закричал я.

— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, захлебнулся и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет — я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я — настоящий крепко схватил за шиворот этого Другого себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоящий — сказал ему, R:

— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу, бросил на стол книгу:

— Последняя моя... Нарочно принес — чуть не забыл. Прощайте... — «п» брызнуло в меня, укатился...

Я — один. Или вернее: наедине с этим, другим «я». Я — в кресле, и, положив нога на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я — я же — корчусь на кровати.



Отчего — ну отчего целых три года я и О — жили так дру- жески — и вдруг теперь одно только слово о той, об... Не- ужели все это сумасшествие — любовь, ревность — не толь- ко в идиотских древних книжках? И главное — я! Уравнения, формулы, цифры — и... это — ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что — —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Тре- угольник наш — развалился.

Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молоч- но-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше? И ес- ли бы знать: кто — я, какой — я?

#### **ЗАПИСЬ 12-Я**

##### **КОНСПЕКТ:**

##### **ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ.**

##### **РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ**

Мне все же кажется — я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого сло- ва — «ограниченность»: работа высшего, что есть в челове- ке — рассудка — сводится именно к непрерывному ограниче- нию бесконечности, к раздроблению бесконечности на удоб- ные, легко переваримые порции — дифференциалы. В этом

именно божественная красота моей стихии — математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так — случайная ассоциация.

Все это — под мерный, метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса — и стихи (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое... он! Не хотелось мешать ему — и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я входил в вагон — его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,  
Вечно слитые в страстном четыре,  
Самые жаркие любовники в мире —  
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдorado. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь — ржавеет; древний Бог — создал древнего, т. е. способного ошибаться человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете: никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно — об ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке, потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно заметил, что книга на коленях у меня — уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недостижимы — как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому; часть — R-13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах биллионы килограмметров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное: и точно так же у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный

соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность,

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — это классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих как молитву: «Злой мальчик розу хватить рукой. Но шип стальной кольнул иголкой, шалун — ой, ой — бежит домой» и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в Машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнуемый треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги — здесь, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

### **ЗАПИСЬ 13-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ**

На заре проснулся — в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок — встаю — и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше Домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в домах — как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе — повисли низко, и выше, и еще выше — в десятом этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтоб ухватиться за цифры — чтоб спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длинная, медленная игла в сердце:

— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю...» И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканые юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворились в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Конечно. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане — кровь — разрез острым ножом — губы.

— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее — впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.

Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из нее переливается в меня — и я знаю, так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому «нужно». Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону — и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз — и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

— Туман... Очень.

— Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу — вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это — тоже нужно, тоже хорошо.

— Да, хорошо... — вслух сказал я себе. И потом ей: — Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

— Значит — любишь. Боишься — потому, что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.



Да, это так. И именно потому — именно потому я...

Мы шли двое — одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъятная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все — для меня, солнце, туман, розовое, золотое — для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаясь все упруге — —

— Ну вот... — I остановилась у дверей. — Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее — прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человек — тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие — нос, ножницы — губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила, — и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опаснее я ничего не знаю... — засмеялся, тончайшей бумажной ру-

кой быстро написал что-то, отдал листок I; написал — отдал мне.

Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я — вор, я — под Машиной Благодетеля. Но это мне — далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, руки — я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро, I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце, тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

— А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что — я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще шире: — настезь. Ее губы — мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза — и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И —

мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет — —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону — я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль — капают капли в умывальнике, и я — вселенная, и от капли до капли — эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами вбирал в себя ее последний раз.

— Я знала это... Я знала тебя... — сказала I, очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус.

— Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа: через плечо — на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал — и остановил

ся. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все, я даже открыл шкаф и ощупал там пестрые, древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

#### **ЗАПИСЬ 14-я**

##### **КОНСПЕКТ:**

##### **«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ**

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти O — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то сегодня...

— Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня.

И вот — 21.30. В комнате слева — спущены шторы. В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шишковатая, вся в кочках, лысина и лоб — огромная, желтая параболла. Я мучительно хожу, хожу: как мне — после всего — с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось — руки опустились...

— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был... — и запнулся: мне пришло в голову — раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот — полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя б потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и следовательно — —

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускаясь — и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно холодный пол — сидел молча. Мучительный холод снизу — все выше, все выше. Вероятно, такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

— Поймите же: я не хотел... — пробормотал я... — Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон — неизбежен, точен — —

О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите, — но от слез вышло у нее «ундите» — и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом — легкий чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула дверь. — Одну минутку, — крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел, вниз, вниз, вниз...

Она отняла у меня R.

Она отняла у меня O.

И все-таки, и все-таки.

### **ЗАПИСЬ 15-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ**

Только вошел в элинг, где строится «Интеграл», — как на встречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное:

— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, — происшествие.

— Происшествие?

— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил нумерованного человека. Уж как он пробрался — понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (улыбка — вкусная...).

В Операционном — работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там — разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак, воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат — с применением различных газов, и затем — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель — забота о безопасности Единого Государства, другими словами, о счастья миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож,



оба делают одно и то же — режут горло живому человеку. И все-таки один — благодетель, другой — преступник, один со знаком +, другой со знаком — ...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули — а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла проверить. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к правому плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман... все люблю, и все — упругое, новое, удивительное, все — хорошо...

— Все — хорошо, — вслух сказал я.

— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые глаза. — То есть что же тут хорошего? Если этот нenumerованный умудрился... стало быть, они — всюду, кругом, все время, они тут, они — около «Интеграла», они...

— Да кто они?

— А почему я знаю, кто. Но я их чувствую — понимаете? Все время.

— А вы слышали: будто какую-то операцию изобрели — фантазию вырезавают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)

— Ну, знаю. При чем же это тут?

— А при том, что я бы на вашем месте — пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь — теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть — что я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все — под нами внизу — как на ладони...

Вы, читающие эти записки, — кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает — какое может быть — утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и все до одного улыбаются — люди. Может случиться, через час все исчезнет, через час выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла»; я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы — вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.

Корпус «Интеграла» почти готов: изящный удлинённый эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные — стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольнички, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла», свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее — вниз, к ним, с ними!

И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:  
— Ну как: ничего, лучше сегодня?

— Что лучше?

— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у вас опасное что... — сияет лоб, улыбка — детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

— Эй, Д-503! Пожалуйста-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.

Недослушав, я опрометью бросился к нему наверх — я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза — рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному, — здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, пока я наконец не найду силы пройти и — —

И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже... Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу — был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все

это — только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно...

— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? — Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас обземь, или вверх — и в солнце, в огонь...

### **ЗАПИСЬ 16-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША**

Не записывал несколько дней. Не знаю сколько; все дни — один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее — а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад — не знаю; все дни — один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку — по плечо ей — двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову I — нагнулась к тому с пальцами-лучами.

Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы шелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это — она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжащий R? или S?

S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина — она, I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощущение: руки — посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что,

шая — закована. И я бегу, бегу все быстрее и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее — никуда, никуда...

У себя в комнате, наконец один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку. «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке — легкий шум, чьи-то шаги в коридоре — мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку — и не могу, не могу больше. Туда — к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, номера. В такт сыпались тысячи ног, миллиононогий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь — остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внутри, пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же знаешь — я не могу без тебя. Так зачем же?»

Но она молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу — Музыкальный Завод, и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я один, я опоздал. Кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут

и — А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною — двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал — что-нибудь нужно было сказать:

— Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

— За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, я молчал, весь полыхая от стыда.

— Идите за мной, — сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой мире: вот какие-то машины — фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже — скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я наконец оторвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брызну-



ли золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня — об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...

Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия — что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа — —

— Это... очень опасно, — пролепетал я.

— Неизлечимо, — отрезали ножницы.

— Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

— Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

— Да.

— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим глаза от солн-

ца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми — дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внутри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это — впитывает, и от всего след — навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице — и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля — и вы слышите сейчас...

— Да, да, именно... — Я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника — медленно каплют капли в тишину. И я знал это — навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) — я вам говорил: надо у всех — у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой мозг, записывал что-то в книжку.

— Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

— Видите ли, — сказал он, — номер Д-503 — строитель «Интеграла», и я уверен — это нарушило бы...

— А-а, — промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами

не замечали у кого-нибудь похожее — очень похожее, очень близкое... — он пристально посмотрел на меня. На что он намекает — на кого? Неужели — —

— Слушайте... — я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:

— ...А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово — букву — имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?

### **ЗАПИСЬ 17-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ**

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы — в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом. Из этой точки — оси X-ов, Y-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси X-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне — пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, остро-капающие капли из умывальника — так было, было однажды. И все это, разрывая мясо, стремительно крутится там — за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека — тончайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь...

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном — стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой ма-

шинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг друга в глаза — в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый, — в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни — счастливее нас?»

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листе. Жалкое существо! Какой абсурд: он — счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но ведь я — только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к старухе со всех ног:

— Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

— Это кто же такое — она?

— Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда — на аэро...

— А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже...

И наконец:

— Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся — и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты — почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около — не во мне, а где-то около меня — мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там — ключ со старинным кольцом. И никого. Я тихонько позвал:

— !! Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, — так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: — !! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, почему, но

только это было мне неприятно; я крепко завернул кран, вышел. Тут ее нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там — никого.

И все-таки — опять туда сам не знаю зачем. Я шел медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести — константна. Следовательно, все мои формулы —»

Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчайший — бросился к перилам — перегнуться, в одном слове, в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все...

И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.

Молнией — один только голый вывод, без посылок (предпосылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что — чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное, желтый



Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слышу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновенный, голый, без посылок, вывод — вернее, осколок: «В тот раз —». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри, в темноте, захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

—

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5—10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз... Протянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами, — теперь неподвижно.

В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул — открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносились вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это «здесь» — не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах — лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло — о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — передо мной был мой лезвиеносый, тончайший доктор.

— Вы? Здесь? — И ножницы его так и захлопнулись. А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть, что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора — и толкнул в спину.

— Позвольте... я хотел... я думал, что она, I-330. Но за мной...

— Стойте тут, — отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец она рядом, здесь — и не все ли равно, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:

«Колебания — звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?»

Ее глаза раскрылись мне — настезь, я вошел внутрь...

— Я не мог больше! Где вы были? Отчего... — ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил как в бреду — быстро, несвязно — может быть, даже только думал. — Тень — за мною... Я умер — из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмеялась — и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, великолепный, тончайший доктор.

— Ну-с, — остановился он возле нее.

— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу — прижалась плечом, рукою,

вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею — двое — одно...

Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы — и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке — на концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «Интеграле» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.

### **ЗАПИСЬ 18-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ.**

#### **БОЛЬШЕ НИКОГДА**

Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой

колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на середине глубины открываю глаза: моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я весь — как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню — даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего  $\sqrt{-1}$ , мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика, и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те — за Зеленой Стеной, — и они так же были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось —

сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом:  $\sqrt{-1}$ ... А может быть, это не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних добровольно жалящих себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая, — только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая, — к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шароголовы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих — как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — иной мир...

Но вот что: если этот мир — только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строго математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был толь-

ко роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов,  $\sqrt{-1}$  и падений, жизнь.

Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, — дети по сравнению с нами (ведь мы возвращены Единым Государством — следовательно, достигли высочайших возможных для человека вершин). И как дети — только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

Вечером:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует; раньше или позже — надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя — имя О-90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе. Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь), я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки — отдельный



человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая, бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я.

И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или — вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных номеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все — совершенно иное, иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груди покрытых розовым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это очень почтенная женщина, и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбы жабры щеки, мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожащий в моих руках конверт, где — я не сомневался — письмо от I.

Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами, подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз — нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

— Бедный вы, бедный, — вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, естественно, знала).

— Нет, право, я... Почему же?

— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой — это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец, — сквозь стыдливые жалюзи — совсем тихо:

— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что — —

В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван — скорее подпись — и рана — это не I, это... O. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу — расплывшаяся клякса — сюда капнуло... Я не выношу клякс — все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от него — все свинцовее и все темнее? Или это опять — «душа»?

Письмо:

«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете — я не могу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая, и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если я вас люблю, я должна — —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю O-90, — и я пойду и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись

на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите. О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же — отчего — —

### **ЗАПИСЬ 19-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ**

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома, — она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и наш «Интеграл» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся номеров из нашего эллинга — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки — продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как буд-

то бы ничего не случилось. Десять номеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез — и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) номер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень

странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо... (исподлобья, из-под навеса). Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, никого нет, ну давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет, не один: из конверта — розовый талон, и — чуть приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль...»

Письмо — в ключья. В зеркале на секунду — мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку — —

— «Просила, чтоб непременно — все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем, не знаю: увидим — до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале — мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства: пой-

ти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены — и потом свалиться в кровать — на дно... А я должен — в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа — два часа не шевелясь... когда надо кричать, топтать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она такую, какую когда-то жила маленькая — крючочек-старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о детоводстве. Я — как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на громкоговорителе; под ним — ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вернее, очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень-складочка на запястье. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол — —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, — вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще не видимых событий.

Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу, и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...



Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее, — висела: так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.

— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев глаза — медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

— Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так значит... (улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон той. Я быстро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже сто семьдесят страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос — тень голоса:

— А помните... я вам тогда на седьмой странице... Я вам тогда капнула — и вы...

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова: — Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — —

Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова: — Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, вниз — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что, если?» Тогда я только еще крепче ухватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — той — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.  
— Это... это ее талон?

— Не все ли равно. Ну — ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

— Ну? Скорее... — Я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...

## **ЗАПИСЬ 20-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС**

Разряд — самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескивание — еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня наконец от моей мучительной «души» — и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в последний момент — я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это право — понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего — тем ценнейшего — права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем, разреженном воздухе — с легким треском, как пневматическая шина, — лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрывка нелепого предрассудка древних — их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой, Одну из таких кислот знали и древние: *reductio ad finem*. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее

ничто. Мы же — слава Благодетелю — взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов: на одной — грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, — это совершенно одно и то же. Отсюда — распределение: тонне — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты — я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков — с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить сти-

хом в Единое Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это — то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как убийство.

Вы, ураниты, — суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах, — вы молчите, мне кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеряне — что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои: мне жаль вас — вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами — как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20, 200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю — да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль — у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века — мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведо-

мый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиной ножа отделены мы от другой стороны Нулевого Утеса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож — был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...

### **ЗАПИСЬ 21-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ.**

#### **САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ**

Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять от нее — невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один — так это, разумеется, не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (исто-

рия со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу — весь будто из голубых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачный и прочнейший хрусталь нашей жизни...).

У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и увидел старуху привратницу возле Зеленой Стены: приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной — острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из электрических волн — и назад, и снова над Стеною.



Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу — ко-  
сые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть как это незачем? И что это за странная манера —  
считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы  
все — мои тени. Разве я не населил вами эти страницы —  
еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня раз-  
ве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тро-  
пинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному  
опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в человека  
сомнение в том, что он — реальность, трехмерная — а не ка-  
кая-либо иная — реальность. Я только сухо заметил ей, что  
ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий, как тот  
день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из ко-  
ридоров — если только это действительно было. Я шел под ка-  
кими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые  
своды, падали позади меня — будто все время другой шагал за  
мною по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщца-  
ми — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки  
окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я загля-  
дывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь —  
памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые ка-  
менные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь

с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остро-соленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти — его не было. А впрочем — так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это — был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли, — я уже открыл калитку — вернуться на главный двор. Вдруг сзади — шорох, хлюпающие шаги, и передо мною — розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

— Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

— Ну что же, теперь лучше себя чувствуете?

— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня — поднял глаза вверх. Голова запрокинута — и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко — метрах в 50 — жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам на-

блюдательных труб — я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить.

— Отчего? Гм... Настоящий врач начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболает еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся — и через плечо мне:

— Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — свинцовеют, набухают...

Вечером:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия — этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабы — я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, це-

ломудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками — по кусочку на каждую из моих трещин, — и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

— Понимаете, прихожу сегодня в класс (— она работает на Детско-воспитательном Заводе) — и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

— Нет, нет, что вы, — поторопился я сказать (вблизи в самом деле ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).

— Да в конце концов — это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь — это жестокость — вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-й записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли...»

Не глядя я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки, и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

— Дайте, дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерьянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась — и совсем тихо:

— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные облака — все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев дрожали).

— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом, если только вам это нужно — в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого — и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы — тоже дитя, и вам нужно...

— Нет, нет, — замахал я, — ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я один не могу... Ни за что! (— сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).

Она улыбнулась: неписанный текст улыбки, очевидно, был: «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы — и теперь о другом:

— Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас, не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

...Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая задняя, левая передняя — и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разумной — может быть, даже полезной.

## **ЗАПИСЬ 22-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

### **ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ.**

#### **Я — МИКРОБ**

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны — мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалю, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чашу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулирующая башня — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах этих людей — уже нет золотых номеров — и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.

Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура с криком: «Довольно! Не смей!» — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонние, как и все: она уже не была номером — она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его, — в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся, — сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно, — я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась — —

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови... Не она! не I.



Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!», «Держи ее!» — но слышу только свой шепот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплюснутый голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что номер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

— Да, да, — ухватился я. — Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня — и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионоголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какую, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что «Мы» — от Бога, а «Я» — от дьявола.

Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых); я, быть может, микроб, и, может быть, их уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что, если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие — что, если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпаемых бесконечностью на наш стеклянный рай?

### **ЗАПИСЬ 23-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО**

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу — в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду, кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком — нежно-коричневые, с крапинками, щеки Ю). Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней — сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна, — понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на номер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.

Это «никто» — конечно, равняется номеру на талоне: I-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — неблагоприятен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я — кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она — это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-то, невероятно далеко, сей-

час хлопнувшая дверь — это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я — и вдруг...

— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да... (Мне кажется, она права — как она может сейчас быть неправа?)

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке, — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу, — что ты уж совсем мой?

— Да, совсем!

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного нумера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что в сущности я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, номеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах — о математике Пляпе, о  $\sqrt{-1}$  и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе — в такой день — оказалось чернильное пятно.

И подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть, в этот день... — остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты так? О чем ты? И, милая?

И молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется, это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

И встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем, как сесть.

— Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить по порядку, а главное — если и сложить, все равно не будет настоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

— Я не могу так, — сказал я. — Ты — вот — здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то недо-

говариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор — или, может быть, ничего этого не было?

— И положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу. Должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя ни повела?

— Да, всюду!

— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только... Ах да: а как ваш «Интеграл» — все забываю спросить — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

— Сам увидишь...

Я — один. Все, что от нее осталось, — это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об «Интеграле»?



## **ЗАПИСЬ 24-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ**

Я — как машина, пущенная на слишком большое число оборотов; подшипники накалились, еще минута — закапает расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее — холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции — надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое «растворение во Вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во Вселенной. Отсюда если через «Л» обозначим любовь, а через «С» смерть, то  $L = f(S)$ , то есть любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали — это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — рядом

с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли — пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд — хотеть боли. Кому же непонятно, что болевые — отрицательные слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И следовательно... И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.

Вечером:

Сквозь стеклянные стены дома — ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, — для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик, — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит, — честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к за-

встрашному дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно не учитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают

даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «Мы». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить номера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу

одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так): праздник только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо — выкрашенная синим жесть, и сам я.

Я хватаюсь за телефонную трубку:

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно!

— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить... Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...

«Милая» — я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-то шепот. Потом ее голос:

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

Ночь.

## **ЗАПИСЬ 25-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ**

Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов, — я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настезь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть! — но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе, — и все выше навстречу ему миллионы сердец, — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентри-

ческие круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (— сияние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно все — тончайшая паутина, она натянута, и дрожит, и вот-вот порвется, и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот ответный сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне — как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио — ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качания гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двойкоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I — какая-то нить (между ними — для меня все время какая-то нить; я еще не знаю какая — но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней отвратительно негругубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце; я, помню, подумал: «Если от нефизических причин может быть физическая боль, то ясно, что —»

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание.



Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было, как у древних перед грозой.

Воздух — из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади мышино-грызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавидные мои — лохматые руки.

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады — чугунный, медленный голос:  
— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше, — прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «ах»! И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал — что, и не было силы — я не смел посмотреть...  
— Кто «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут

я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли на лбу.

Я поднял глаза — и...

Это — сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвевных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами — возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы O; прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье, вдруг выскочил R-13 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него — I, бледная, юнифа от плеча до гру-

ди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отворотительный и ловкий, как горилла, — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — все стало багровым, — и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи, — и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

— Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — обернулся, губы, брызгая, тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

— Что? А вот не хочу, не позволю! Долой ее с рук — сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни — тут я с маху ударил его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

И быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите, — крикнула она R, — вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

Р, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги — все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

Вечером, 22 часа.

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем, кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — знаю?

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет, больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута, — она разорвала бы ее, она...

— А завтра... — Она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понима-

ешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты понимаешь, что все известное кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенного — я поведу тебя туда — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — рас-творился, я — бесконечно-малое, я — точка...

В конце концов в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется — все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

## **ЗАПИСЬ 26-Я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°**

Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю — меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир — наш мир — еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громяют и вертятся — два оборота, три оборота — на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете — заблудились, и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете — скорее, скорее — и вот:

«Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Вся-

кому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии — кашель случайно присутствующих в концертном зале больных...»

О мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, спасены? Но что же в самом деле можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше — еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены — вот они — я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как обычно — отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте примерно 2-х метров на стене — четырехугольный листок бумаги, и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:

## МЕФИ

А внизу — образно изогнутая спина, прозрачно колыхающаяся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую — как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — сорвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех, — не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу...»

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня, и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

С оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно поднимающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж по крайней мере ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах, — это сыпь. Я понимаю его улыбку...

Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стекле ступеней — опять белый листок: «Мефи». И на стене вни-



зу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено напех — небрежно, криво) — везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине — явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все чаще и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда, — будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером тишина. Станки молча, насупившись стоят. И только краны чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «Интеграла»: мы уже готовим его к пробному полету.

— Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня какие-то линиялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик — наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от смеха — да,

я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

— Нет, слушайте... — говорю я. — Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр пять тысяч метров, сломалось крыло, вы турманом вниз, и по дороге высчитываете: «Завтра — от двенадцати до двух... от двух до шести... в шесть обед...» Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас — именно так!

Голубые цветочки шевелятся, тарачатся. Что, если б я был стеклянный и не видел, что через каких-нибудь 3—4 часа...

### **ЗАПИСЬ 27-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **НИКАКОГО КОНСПЕКТА — НЕЛЬЗЯ**

Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще последние пять минут, и если она не выйдет — —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору, назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклеет, тусклеет...

Вдруг сзади торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен, — и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты — ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь — и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, довольно... после: сейчас — пойдем.

Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

—

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за другим...

Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и от-

туда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I.

Она засмеялась:

— Да нет же! Просто мы вышли за Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, наяву то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрерывно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки, — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость, — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

— Ничего, ничего! Это только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I — на зеленой, головокружительно прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль...

нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор — нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сушь, стволы, крылья, листья, свист...

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди... или уж я не знаю как: может быть, правильной — существа.

Тут самое трудное. Потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня шумела толпа в триста-четыреста... человек — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: воронье, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди — по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок были лица точно такие — да, да, точно такие же, — как и у наших жен-

щин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без шерсти была только часть лица — как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется...

Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте — ради Благодетеля — вы не видали — куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту...

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш! Тише. — И космато кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так, будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами...

— Братья... — Это она. — Братья! Вы все знаете: там, за Стеною, в городе — строят «Интеграл». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — все стены — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «Интеграл»! Долой!

— Нет, братья: не долой. Но «Интеграл» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «Интеграла». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху — улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтоб залить огонь, — пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Ме-фи» — и почему-то это так нужно, это простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение — может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, — ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его — так же как, не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) — и чувствую, что все дышат вместе — и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос:  
— Но это же безумие!

И кажется, я — да, думаю, что это был именно я, — вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — зеленая зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта вверх, углом; и во мне уголь, и это мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу: она живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...



Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой кости шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду — или, может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь... Мне показалось...

— Кто он?

— ...Вот только сейчас — в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне неясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты не понимаешь — I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них — здесь.

— Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы здесь. Вспомни: вот ты — разве ты когда-нибудь

думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет...

### **ЗАПИСЬ 28-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА**

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света — какую-нибудь Атлантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев, или аэро, камни, поднимаемые вверх силою взгляда, — словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите же — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршники — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса — и узнал ее голос, I, упругий, металлический — и другой, почти негнувшийся — как деревянная линейка — голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила. I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

— Послушайте, — сказала мне I, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня как малого ребенка. Это — с вашего разрешения?

И тогда — другая, вздрагивая жабрами:

— Да он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы... что все это комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того — с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в самые жабры:

— С-сию же с-секунду — вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посетели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

— Я не прощу — я никогда себе этого не прощу! Она смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что...

что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего — я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в твоих руках, ты можешь — в любой момент...

— Что — в любой момент, — и тотчас же понял — что, кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это тот я, прежний, а теперь...

— Кто тебя знает... Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

И гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:

— Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть, мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудитории.

— Отменены?

— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

— Но что же это значит?

— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто — они и кто — мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю — и вот-вот...

— Но это безумие, — говорю я. — Вы — и Единое Государство. Это все равно, как заткнуть рукою дуло — и думать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное безумие!

Улыбка:

— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно — темный крест.

— I, милая, — пока еще не поздно... Хочешь — я брошу все, забуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала — сейчас уйдет. Может быть, уже последние дни, может быть, минуты... Я схватил ее за руку.

— Нет! Еще хоть немного — ну, ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавижу. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

— Твоя рука... Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и — —

Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего — так несется сердце. И я кричу:

— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне не расскажешь о них — потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли.  $H_2$  и  $O$  — а чтобы получилось  $H_2O$  — ручьи, моря, водопады, волны, бури — нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке — на щеке выступал белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов — особенно вначале, — и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было о Двухсотлетней Войне. И вот — красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов — красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, со-

жженные солнцем травы, голые, желтые, всклокоченные люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человеческой... Это, конечно, — за стенами: потому что город — уже победил, в городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.

И почти с неба донизу — черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревьями медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы, чтобы силою спасти их и научить счастью.

— Ты все это почти знал?

— Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи, — мы хотим...

— Нет, подожди — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты помнишь: там, на камне — изображен юноша... Или нет: я лучше на твоём языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою,

к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши или, вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись как Богу. А мы, антихристиане, мы...

И вот момент — чуть слышный, шепотом, стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова: должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда... — пропыхтел наконец насос. — Стража... и с ними этот — ну, как это... вроде горбатенького...

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется... — смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...

— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.

— Ну... ну, ради меня... Прошу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...



Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот — высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо — чтобы они нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг — каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: «А что, если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу — из этих, из последних?»

Я сидел за столом, не двигаясь, — и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы...

Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и может быть самый дорогой мне — кусок самого себя.

Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя — и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами — палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — я как-то исподлобья, крадучись, видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели застывшие, как я; другие — вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь — счастливцы! Если бы я тоже... — «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальти-

ка...» — я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница, и спиной я слышал — брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S — мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас — Все мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какую я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав — и негромко сказала:

— Это — Д-503, Строитель «Интеграла». Вы, наверное, слышали? Он — всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул: — Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

— Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху — и шепотом:

— Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собою троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и обо всем происходящем, никто не говорит (— воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

### **ЗАПИСЬ 29-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТНВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ**

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам — буря. Во

весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе — но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносят оттуда, из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много этих нитей — если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидиться с нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире».

Я уже миновал громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся — и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки, и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.  
— Я видела вас — тогда, в День Единогласия.

— Я тоже вас видел... — И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками.

Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка.

— Я так счастлива — так счастлива... Я полна — понимаете: ровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно мешало — и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее, сияя, она схватила мою руку — и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это — первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это — вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас — так все равно через месяц, через два месяца...

Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце — неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие — засасывание насосом жидкости — есть технический абсурд; от-

сюда ясно: насколько в сущности абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею.

— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидеть своего ребенка — и затем умереть. Вы сможете выкормить его — понимаете — вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

— Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедленно.

Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами — вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

— Это — та самая, — сказала она.

— То есть... — Я почему-то смутился. — Ну да: та самая.

— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я просила ее — чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила — обернулась и крикнула:

— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах — куски синих башен и стен, но им еще часы — может быть, дни — лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурдная, мучительная компрессия...

### **ЗАПИСЬ 30-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ.**

#### **НЕ ЛУЧШЕ ЛИ**

Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума — красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время — под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства — и больше: Вселенной. И затем — здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

— Я знаю, послезавтра у вас — первый, пробный полет «Интеграла». В этот день — мы захватим его в свои руки.

— Как? Послезавтра?

— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями, — попало двенадцать Мефи. И упустить два-три дня — они погибнут.

Я молчал.

— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в двенадцать — запомни — когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой — и «Интеграл» наш... Ты понимаешь: это нужно во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил:

— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...



Насмешливый, острый треугольник бровей:

— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам...

— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

— Положим... Ну хорошо: пусть даже так. А что дальше?

— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям — все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

— Дети — единственно смелые философы. И смелые философы — непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

— Ничего нет дальше! Точка. Во всей Вселенной — равномерно, повсюду — разлито...

— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику, — разве не ясно, что только разности — разности — температур,

только тепловые контрасты — только в них жизнь. А если всюду, по всей Вселенной, одинаково теплые — или одинаково прохладные тела... Их надо столкнуть — чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.

— Но, I, — пойми же, пойми: наши предки — во время Двухсотлетней Войны — именно это и сделали...

— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка — ошибка Галилея: он был прав, что Земля движется вокруг Солнца, но он не знал, что вся Солнечная система — движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита Земли — вовсе не наивный круг...

— А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное — забудем, когда состаримся — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева — как послезавтра вы... Нет, нет, милый, — не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой — она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в двенадцать.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12... — и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда в лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой...

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные плавающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиг аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (номер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посередине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом — пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от вас останется только сплюснутый, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

...А что если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

### **ЗАПИСЬ 31-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ.**

#### **СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ**

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось — не за что ухватиться, казалось — уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни — скорее — глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и веселое, и стена — такая радость погладить рукой холодную стену — и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, — я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть — и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:  
«Радуйтесь,  
ибо отныне вы — совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы — были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо — искра чистейшего разума; каждый ход поршня — непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас? Философия у кранов, прессов и насосов — законченна и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма — в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора, — не стали маятниково-точны?

И только одно:

у механизмов нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра — расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас — краснейте! — Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И — прячьте глаза — историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни: фантазия.

Это — червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это — лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше — хотя бы это “дальше” начиналось там, где кончается счастье. Это — последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка X-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен. Спешите же все — стар и млад — спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудитории, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция. Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!»

...Вы — если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман, — если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий красной газетный лист — если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, — разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова?

Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголки? Разве не казалось бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрявиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

— 1-330... Да, да: 330, — и потом, захлебываясь, крикнул: — Вы дома, да? Вы читали — вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

— Да... — долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то... — Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после шестнадцати. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувствовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи, на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугуно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.

— А вы — что ж не идете, — спросил я — никого, или, вернее, всех.

— А вы, — обернулся ко мне чей-то шар.

— Я — потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» — я не мог ответить себе...

Элинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился «Интеграл». В машинном гудела динамо — ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто мое знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая... какая — какая милая. Завтра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоём чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 — я предам его... да, предам...

Осторожно — за локоть сзади. Обернулся; тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уже знаете, — сказал он.

— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — все, все — сразу...

— Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за Операции этой... Зря гнали, старались...

«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал,



что не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел — и увидел Ю. Она сидела за моим столом — костяная, прямая, твердая, — утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что когда вскочила навстречу мне — на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола — она рядом с I, разъяренная... Но только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули выключатель — лампочка загорелась, но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все — она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, — сказала:

— Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — родились...

Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем, все равно: теперь это — только история, теперь это — до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: тень — светится. И мне кажется — ну вот я уверен — завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все...

Она — нежно и строго:

— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить — нужно беспощадно, да, беспощадно», и что она, кажется, наконец решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце стучит...

— Войдите!

На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в другой — и в каждом видеть себя — в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там — тучи все чугунее: пусть! В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, теперь мы уже знаем, куда — и за мною планеты — планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами — и пла-

неты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества — планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг — сверху:

— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:

— Абсолютный минус —  $273^{\circ}$ ...

— Минус  $273$  — именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.

Как тогда, давно — она говорила как-то за меня, мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытащил из себя «нет».

— Нет, — сказал я. — Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края — оступилась — вниз... Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет; только ее острые, горячие губы.

— Прощай!

Это — издалека, сверху, и дошло до меня нескоро — может быть, через минуту, через две.

— Как так «прощай»?

— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет, — закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

— Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня раскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...

— Ну что же, я жду — выбирай: Операция и стопроцентное счастье — или...

— «Не могу без тебя, не надо без тебя», — сказал я или только подумал — не знаю, но I слышала.

— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская моих глаз:

— Тогда — до завтра. Завтра — в двенадцать: ты помнишь?

— Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

— Тем лучше для нас. В двенадцать — послезавтра...

Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне бы-

ло ясно: все спасены, но мне спасения уже нет, я не хочу спасения...

### **ЗАПИСЬ 32-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА**

Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смертен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случилось ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, — будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете...

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подыметесь вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то не верю — или может быть мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «Интеграл». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень —

и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «Интеграл» страшной взрывной пищей для двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну, три с половиной часа...

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра — —

И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это — на неделю. Куда — на неделю: больше!

— Мало ли что... кто знает...

— Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти — и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду, — ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там в конце проспекта. Башенный шпиц — в тучах — тусклый, синий и глу-

хо вое: сосет электричество. Воят трубы Музыкального За-  
вода.

Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды — какие-то  
непрочные, и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся.  
И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули,  
и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием ко-  
мок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.

— Смотрите! Нет, смотрите — вон там, скорей!

— Они! Это они!

— ...А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Машину...

— Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудитории — широко разинута дверь, и отту-  
да — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впро-  
чем, «человек» — это не то: не ноги — а какие-то тяжелые,  
скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса;  
не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над го-  
ловами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым золо-  
тым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы — уже  
оперированы! Все за нами!»

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу —  
и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом — они  
все так же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, де-  
рево, дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтив-  
шись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И мы —  
напряженный, ощетинившийся головами комок — ждем.

Шеи гусяно вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись — и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору — обжали кольцом — и к разинутым дверям, в дверь, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

— Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены — еще узенькие живые воротца, все туда, головами вперед — головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне — двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один — среди секундных рук, ног — бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к дверям — и тотчас же ко мне как ветром прибило маленькую человеческую щепочку.

— Я все время... я за вами... Я не хочу — понимаете — не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по лицу — руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она — совсем ма-



ленькая — маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо, — еле слышно: — Я каждую ночь... Я не могу — если меня вылечат... Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должны — вы должны...

Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно преступление. Нелепое — потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление — не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

— Ну хорошо — только не надо, только не надо... — говорю я. — Вы понимаете: я должен повести вас к I — как я тогда предлагал, чтобы она...

— Да... (— тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, может быть, об одном и том же — по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке — я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опрокину-

то несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой туч — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что завтра... да, завтра — первый полет «Интеграла», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно — это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I — ...»

Вместо того, чтобы свернуть влево — я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной, искр. Ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатнобасовая струна. И сквозь бас — сзади все время — —

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала было что-то:

— Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь — и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком — знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом — плотная кучка номеров — какой-то спор, головы,

перевесившиеся со второго этажа через перила, — поодиночке сбегают вниз. Но это — потом, потом... А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиной к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О — медленно оседала в своем кресле — будто под унифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:

— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

— Нет... Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?

— Да. Тень.

— Он — все время за мной... Я не могу. Понимаете — мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под унифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный расцвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла — два шага — быстро повернулась — и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же, одно и то же мне какое-то слово — и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро — все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодуяще раздувая жабры, она сказала мне:

— Вы понимаете — все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека — голый и весь покрыт шерстью...

Из пустой, ошестинившейся головами кучки — голос:

— Да! И еще раз повторяю: видел, да.

— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?» Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и...»

Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.

### **ЗАПИСЬ 33-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА, НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ**

Этот день — настал.

Скорей за газету: быть может — там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как счетчик,

которые держишь, чувствуешь, в руках — это постороннее, это инструмент).

Там — крупно, во всю первую страницу:

— «Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы — все номера явятся для Операции. Неявившиеся — подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции я протянул руку (инструмент) к книжной полке — вложил сегодняшнюю газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

— «Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату — я уже никогда больше, никогда...»

И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собой — я лихорадочно запикиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I — а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда, быть может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой, — показал все-

го себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

### **ЗАПИСЬ 34-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ**

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно — вместе с нею — оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А теперь — что же? Пойти и задушить эту — Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось — хоть ненадолго навалились изо всех сил на рычаг — и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на «Интеграл» — все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные муравьиные люди внизу — возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентиляей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компаниии — какие-то над таблицами и инструментами — вероятно, командированные Научным Бюро. И возле них — Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица — серые, осенние, без лучей.

— Ну, что? — спросил я.

— Так... Жутковато... — серо, без лучей улыбнулся один. — Может, придется спуститься неизвестно где. И вообще — неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них — на них, кого я, вот этими самыми руками, через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» — история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях — и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец на десятый день не выдержали: взявшись за руки, вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

— Я только проверю в машинном, — сказал я, — и потом — в путь.

О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, — внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне туда, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты — несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дрожит...

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда — за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь... куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

— Вверх — 45°!



Глухой взрыв — толчок — бешеная бело-зеленая гора воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, резиновая — и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду — все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось — выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили — синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот — жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что режут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох — что все кругом оробели, притихли. А мне — мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

— Так держать, — крикнул я в машину, — или не я, а тот самый граммофон во мне — и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строите-

лю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью, — побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяжело звякнет, замкнется... Возле двери — какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по ошибке наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

— Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:

— Я Строитель «Интеграла». И я — распоряжаюсь испытаниями. Поняли?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами — обьеженные серой щетиной головы — и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в непрерывающей ни на секунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах...

И вот — наконец — возле тахометра — он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

— Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо). — Она здесь? Где она?

В тени — исподлобья — улыбка:  
— Она? Там. В радиотелефонной...

И я — туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых шлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиопище — это от нее, и от нее здесь — легкий, молниенный, озонный запах.

— Кто-нибудь... нет, хотя бы — вы... — сказал я ей, задыхаясь (от бега). — Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

— Ну, что же? Что же будет?

— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная — лететь — все равно куда... И вот скоро двенадцать — и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть — на траве, на сухих листьях...

От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне — еще чаще.

— Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). — Время — одиннадцать тридцать. Скорость: шесть тысяч восемьсот...

Она — из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

— ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за Стеною. Она будет жить...

Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стеке; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

— Стоп, — крикнул я в машину.

Все еще вперед — по инерции, — но медленней, медленней. Вот теперь «Интеграл» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул — и «Интеграл», как камень, вниз — все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12, и мне ясно: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный камень — и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги... А что, если... — внизу уже твердый, синий дым туч... — а что, если...

Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка — два кормовых и два носовых — только, чтобы парализовать вес

«Интеграла», и «Интеграл», чуть вздрагивая, прочно, как на якорь, — стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высушенный палец, должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Смотрите, смотрите! Вон там — правее! Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвев хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороны...

Сзади меня:

— А я вам говорю: — видел — лицо.

— Подите вы! Рассказывайте кому другому!

— Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня... И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня, и всех — пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту — 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир. На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Го-

лос: «А я говорю — лицо!» Темный квадрат: открытая дверь кают-компаний. Стиснутые, белые, остроулыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы и передние ряды уже двинулись, квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

— Стойте!

В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:

— Кто? Ты знаешь его?

— А разве... а разве это не...

Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

— От имени Хранителей... Вам — кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших нумеров — но мы знаем все. «Интеграл» — вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете шевельнуться — вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стекланные плиты под ногами — мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы — на ухо мне:

— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну что же...

Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылатый шлем — где-то далеко впереди. Я — один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

— «Но ведь не я же — не я! Я же об этом ни с кем, никому кроме этих белых, немых страниц...»

Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричал ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):

— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова — показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме — я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом — в руках у меня командная трубка, и лет — в ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И, очевидно, во мне все время лихорадочно, полным ходом — мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто, кроме нее, — мне все ясно...

Ах, только бы — только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню — что-то гром-

ко говорил ей, и помню — она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный, — издалека:

— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

— Время — четырнадцать сорок. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла» остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака — и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явственней — вихрем мчится на нас — сейчас конец — —

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно, это он — толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая, — туманно слышал:

— Кормовые — полный ход!

Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.

### **ЗАПИСЬ 35-я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО**

Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном... Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч: беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я — в одном и том же кованом кругу: убить Ю.



Убить Ю, — а потом пойти к той и сказать: «Теперь — веришь?» Противней всего, что убить как-то грязно, древне, разможить чем-то голову — от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневой шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня — до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница — бесконечная, ступени — какие-то противно скользкие, жидкие, все время — вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток — к контрольному столику — —

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня — все работы отменены: все должны на Операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе — и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице — вдруг сдвинулись, в испуге рассказали какая куда — и ни одного слова, только бессмыслица: пуг-скак-как-. На ули-

це — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа — прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя — она всем телом сломанно отогнулась назад. Это — навеки, последний раз...

На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов. Над головами — отдельно, в воздухе, — знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) — я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем —» И на секунду — ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугуново-тяжелым свертком...

Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней губой — тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засученного рукава, — вывернуто все лицо — он ревет — и от кого-то со всех ног — за ним топот...

От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там —

Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —

Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине — голос:

— ...Нет: бегите наверх! Там вас — вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организовано, в такт, похрапывая, — разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — наверх — к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу хотеть сама, — если я хочу невозможного...

Другой голос — медленный, тяжелый:

— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы — за хвост, да под себя, а потом...

— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед — перед мордой к оглобле привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она — и в тот же момент все посыпалось, стиснулось — сзади крик: «Сюда, сюда идут!»

Свет подпрыгнул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее — и мы снова на улице — веером, в разные стороны...

И вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубоко — опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке — тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная — ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил — закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная желтая параболола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я чувствую: эти желтые строки — обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

— Ах, дорогой, — так это правда, вы ранены? Я как только узнала — сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет — сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа, — желтые, пристальные морщины — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней — если он будет смотреть... Я нажал кнопку — пусть никакого права, разве это теперь не все равно, — шторы упали.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее — и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

— Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... — Она пятилась задом — села, вернее, упала на кровать — засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна рука — схватил шток.

— Умоляю вас! День — только один день! Я завтра — завтра же — пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся — —

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

— Ради... ради... Я согласна — я... сейчас.

Трясущимися руками ока сорвала с себя юнифу — просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для того, чтобы — что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лопнула, рука ослабела, шток грохнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие: смехом можно убить все — даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним смехом — и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем — но тут вдруг новая внешняя слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? — И в трубке чей-то незнакомый голос:

— Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали — тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней — и вот...

— Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне! День, — трубка повешена, — день.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее — сквозь зубы:

— Ну! Скорее — скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок, глаза круглые, вся повосковела.

— Как?

— Так. Ну — одевайтесь же!

Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

— Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это — я, это — во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

— Слушайте... Ее имя — вы знаете, о ком, — вы ее называли? Нет? Только правду — мне это нужно... мне все равно — только правду...

— Нет.

— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того мальчишки — и из щек, по щекам капли...

— Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу — я не могла бы!

Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! — Я открыл дверь.

### **ЗАПИСЬ 36-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ.**

#### **О МОЕЙ МАТЕРИ**

Тут странно — в голове у меня как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, сверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «Интеграла»? Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?



Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных — разве Он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите это, все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд! Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, лохматый — он понимал: истинная, алгебра-

ическая любовь к человечеству — неперенный признак истины — ее жестокость. Как у огня — неперенный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, — доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

— Если это значит, что вы со мной согласны, — так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи... И вот, в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (— Его рука сжалась: если бы в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски, — в этот самый момент вы — вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать — это еще... страш...

Вдруг:

— Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, — что им вы нужны были только как Строитель «Интеграла» — только для того, чтобы через вас...

— Не надо! Не надо, — крикнул я.

...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза. Передо мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине — мелкие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!»

Тут — снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, откуда-то

сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик — должно быть, мне: «Эй! Эй! Сюда, к нам!»

Потом — пустынная площадь, доверху набитая тугим ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова: острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух — не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть, шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спасите!

Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот именно — мать. И чтобы для нее — я не строитель «Интеграла», и не номер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой — истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть я прибиваю или меня прибивают — может быть, это одинаково — чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы —

## **ЗАПИСЬ 37-я**

### **КОНСПЕКТ:**

#### **ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА**

Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне:

— Да ешьте же! На вас смотрят!

Я — изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это — как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины разлетаются все шире — и мне от этого все больше...

Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, железный круглый гул — через головы, через дома — и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по лестнице — ступени — топот — обрывки слов — как клочья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект — как капля воды под микроскопом: запертые

в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

— Ага, — чей-то торжествующий голос — передо мною затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и окрашенные тучами темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе, что-то похожее — —

Сперва никто не понимал, что это, — не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, карканье, — крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной — или... Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу...

— Здесь, — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы... — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он — вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах

я видел (врезалось): женские и мужские номера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро — как колесные спицы — цифры на дверях: 320, 326, 330... I-330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перевернуто, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — ничком, всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скотина. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 — на всех был я — капля меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул — и... засмеялся.

Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть — это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх ключья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все тало-



ны со стола на пол, наступил на них — на себя каблуком — вот так, так — и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери — все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пузырь — и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко — я спохватился и окликнул его:

— Послушайте — послушайте, вы не знаете: номер I-330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и от туда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы. Я лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

### **ЗАПИСЬ 38-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

**НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЕСЬ КОНСПЕКТ —  
ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА.**

Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове — какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

«Но ведь я не зажигал свет — как же...»

Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I...

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять—пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки — и, может быть, она засмеется и скажет...

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал, ты —

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копыя ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сейчас же все, в одну секунду, сумеешь сказать ей — так, чтобы поверила — иначе уж никогда...

— Слушай, I, — я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас — я только выпью воды...

Во рту — сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду — и не могу: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы. Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым — так же, как я воду, и сказала:

— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу — меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны. И на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они — сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке — закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):

— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

— Да, правда.

И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только — не знаю почему... нет, неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно — поставил стакан на стол и спросил:

— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня — острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, задел стул — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в комнате. Губы у нее были холодные — когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой, —

Я не могу больше писать — я не хочу больше!

## **ЗАПИСЬ 39-я**

### **КОНСПЕКТ:**

### **КОНЕЦ**

Все это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое — во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе — —

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот навер-

ху — перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит...

Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом губы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе — я чувствовал — сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вывеска — золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуха, сколько мог — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли номера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова раскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она

все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо...

И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет... Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это может быть ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал ее, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла на полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И, весь напрягшись до того, что загудело в ушах, — я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

— Да, знаю.

— Но то, что Он сказал мне... Поймите же — это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся — и все в кляксу...

— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я — захлебываясь, путаясь — все, что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось, — и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там — за Стеною...

Все это — несуразными комьями, клочьями — я захлебывался, слов не хватало. Кривые, двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благодарно кивал: да, да... И вот (что же это?) — вот уже говорит за ме-



ня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так именно и было, да, да!»

Я чувствую, как от эфира — начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли...

У него усмешка — молча — все кривее... И затем:

— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду, — вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг, — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил...»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей

истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен, то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем, — то, следовательно, Вселенная — конечна, она сферической формы и квадрат вселенского радиуса,  $u^2$  = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием или его твердостью в этот апокалипсический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумагу — и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?

Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот — —

#### **ЗАПИСЬ 40-Я**

#### **КОНСПЕКТ:**

#### **ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН**

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?

Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых

метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).

Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами — взяли в ближайший аудиториум (номер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).


Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стис-

нуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.



**МИХАИЛ КОЗЫРЕВ**



**ЛЕНИНГРАД**

**ПОВЕСТЬ**

**1920**



## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Недавно в психиатрической лечебнице близ станции Удельная умер странный пациент. Доставлен он был в тринадцатом году из выборгской тюремной больницы: как будто он попал в свалку во время первомайской демонстрации и был помят лошадьё. В больнице обнаружилось, что по мере улучшения физического состояния умственное все ухудшалось и ухудшалось. Несколько лет он лежал на кровати, вставая только в случаях крайней необходимости, и на все вопросы отвечал:

— Я умер. Не будите меня.

Затем наступило значительное улучшение. Он ходил по палатам, разговаривал, как вполне нормальный человек, читал газеты и книги. В такие моменты его ненормальность обнаруживалась лишь в том, что на вопрос:

— Который теперь год?

Он отвечал:

— Тысяча девятьсот пятьдесят первый.

Эта навязчивая идея ни на минуту не оставляла его. Иногда он, в безумии, начинал разговаривать с неодушевленными предметами, называя их странными именами, долбил ни с чем не сообразные параграфы какого-то учебника, в то время как в его руках ничего не было, произносил обвинительные и защитительные речи. Иногда ему казалось, что кто-то преследует его, что его судят, что его приговаривают к смерти.



В последнее время он пользовался некоторой свободой, ему разрешалось выходить на улицу, и он в этих случаях всегда посещал одни и те же места и к назначенному времени аккуратно являлся в лечебницу. Любимыми местами его посещений были Лесной парк, Сампсониевский проспект, Троицкая площадь. Он считал своей обязанностью участвовать во всех манифестациях, присутствовать на лекциях, на спектаклях в рабочем клубе. Если с ним заговаривал кто-либо из посторонних, он давал ясные, логически правильные ответы, но не мог не перекреститься, когда проходил мимо портретов вождей революции; портреты эти он называл иконами. Он следил чрезвычайно внимательно за всеми событиями современной жизни, но судил о них чрезвычайно парадоксально.

Недели за две до смерти он потребовал себе чернил и бумаги и не отрываясь писал день и ночь, ни на минуту не выходя из палаты и ни с кем не разговаривая. Записки его показали больничной администрации подозрительными и несомненно были бы уничтожены, если бы случайно не попали в руки автора этих строк.

Кроме некоторых моментов, записки эти не грешат против логики и здравого смысла, и я думаю, что они будут небезынтересны современному читателю.

**МИХАИЛ КОЗЫРЕВ**

**МОСКВА, 3 ОКТЯБРЯ 1925 Г.**

## **ПЕРВАЯ ГЛАВА**

### **ВСТУПЛЕНИЕ. МОЯ БИОГРАФИЯ**

Через две недели меня не будет в живых. Стены моей тюрьмы крепки, законы государства строги, исполнители действуют с точностью и безжалостностью машины. У меня нет надежды ни на бегство, ни на помилование. Мне дана только двухнедельная отсрочка для того, чтобы я описал историю моего преступления. Эту историю думают они напечатать тиражом в несколько миллионов экземпляров в качестве неопровержимого свидетельства бесплодности всех попыток свержения существующего порядка.

Я уже дал подписку, что отрекаюсь от всех своих заблуждений, и думаю, что наличность ее избавит мой труд от прикосновения цензорского карандаша: в дальнейшем мною будет руководить только стремление к возможной точности в описании событий, какими закончилась моя слишком длинная и богатая впечатлениями жизнь.

Я — рабочий завода «Новый Айваз», находившегося на Выборгской стороне неподалеку от Лесного. Эти названия, может быть, ничего не скажут моему читателю, но к новым названиям я не успел привыкнуть, а сейчас не нахожу ни времени, ни возможности навести соответствующие справки; пусть сам читатель на свободе сделает это.

На завод я поступил тринадцатилетним мальчишкой. Первое время мои обязанности были весьма и весьма не-

сложны: я должен был подметать мастерскую и бегать за водкой для мастера. Но к двадцати семи годам, когда произошла катастрофа, речь о которой впереди, я мог уже занимать должность старшего подмастерья. Моего читателя может удивить подобная карьера, но в то время переход из одного состояния в другое был значительно легче, чем теперь, и притом судьба благоприятствовала мне. Четырнадцать лет встретился я с товарищем Коршуновым, тогда студентом технологического института, и его старания, вместе с моей настойчивостью и некоторыми способностями, дали мне возможность выбиться, как говорили тогда, в люди.

Но в «люди» я так и не выбился. Одно время, правда, я пытался кое-что сделать для этого: так, я хотел держать экзамен на аттестат зрелости, с тем, чтобы поступить в политехнический институт, но попытка не удалась мне. Санктпетербургский градоначальник категорически отказал мне в выдаче свидетельства о политической благонадежности — это понятие, надеюсь, знакомо каждому. И градоначальник был по-своему прав.

Дело в том, что мой учитель, а впоследствии близкий друг и товарищ — Коршунов (я не называю его настоящего имени, потому что имя это является ныне одним из наиболее чтимых имен) — был видным деятелем социал-демократической партии, стремившейся к ниспровержению существовавшего тогда строя. Он вовлек меня в партийную работу,

и еще мальчиком во время революции 1905 года я был арестован за участие в неразрешенной демонстрации и при аресте даже оказал сопротивление полиции; факт этот и процесс подробно описаны в истории революционного движения, и догадливый читатель сам сможет навести справки. Дело сошло для меня вполне благополучно, но политическая благонадежность потеряна была навсегда.

Неудача на легальном поприще заставила меня окончательно и целиком отдаться партийной работе. В течение четырех предшествовавших катастрофе лет я был членом партийного комитета, деятельным агитатором, активным участником партийной газеты, организатором профессиональных союзов и больничных касс. За эту деятельность я подвергался неоднократным репрессиям, сидел в участке, в знаменитых по тому времени «Крестах», был высылаем последовательно: на родину, в Архангельск и, наконец, в Сибирь.

Из Сибири мне удалось бежать, и, вернувшись в Петербург, я продолжил нелегальную работу на том же самом «Айвазе», куда был опять принят на работу в качестве слесаря. Для объяснения этого невероятного с современной точки зрения факта я должен напомнить, что административная машина в то время не была так хорошо налажена, как теперь: люди убегали из тюрьмы иногда накануне казни, а получить подложный паспорт и поступить с этим паспортом на завод не представляло ни малейшей трудности.

Прибыл я в Петербург как раз накануне первого мая. Тот час связавшись со своей организацией, я принял деятельное участие в подготовке праздника.

Две недели, проведенные мной в Петербурге со дня возвращения из Сибири до роковой катастрофы, я до сих пор люблю вспоминать и считаю их самыми светлыми днями моей прежней жизни. Вынужденные «отсиживаться» накануне крупного выступления, я и мои товарищи собирались по вечерам в комнатке легального студента, жившего где-то на проспекте Шадрина — то есть в районе почти недосягаемом для полицейского ока. Там я в первый раз влюбился, и, к сожалению, почти безнадежно, в белокурую голубоглазую курсистку: надо сказать, что, лишенный с малолетства женского общества, в роли влюбленного я был до смешного робок и наивен. Я только таращил глаза на предмет моей страсти и глупо краснел, когда она обращалась ко мне с каким-либо вопросом. Да и чего было ждать от человека, для которого слово «свидание» напоминало о тюремной решетке, а никак не об условленной заранее встрече с любимым существом? Описать предмет своей страсти я не решаюсь. Звали ее Марусей, а студент (и мой счастливый соперник) называл ее Мэри.

Вечера наши проходили в оживленных беседах, темой которых была, конечно, та новая жизнь, за которую мы боролись.

В каких розовых красках представлялась нам эта новая жизнь! Мы не сомневались, что все экономические противоречия будут уничтожены; мы не сомневались, что в новом обществе не будет голода, холода и нужды — нас занимали в то время совсем другие вопросы: семья, брак, любовь — вот что интересовало нас. В этом счастливейшем общежитии будут ли урегулированы те сложные человеческие взаимоотношения, которые мы называем любовью?

«Свободная любовь» — отвечала теория. Ну, а несчастная любовь? Возможна ли она? А если возможна — где же полное счастье?

Все попытки разрешить эти вопросы, опираясь на материалистическое мировоззрение, оканчивались неудачей: был какой-то дефект в самом мировоззрении, но в этом мы не решались сознаться. Если читатель примет во внимание, что среди спорящих трое были влюблены, причем один из них явно безнадежно, то он поймет, до какой степени длинны, горячи и бестолковы были наши споры.

Только Коршунов не принимал участия в этих беседах.

Он предпочитал, спрятавшись в угол, спокойно пить чай, изредка отвечая своим собственным мыслям едва заметной иронической улыбкой.

— А вы что думаете? — спросили мы его однажды. Он усмехнулся и ответил:

— Я думаю, что все это — пустая болтовня.

Мы стали горячо возражать ему. Он заметил:

— Мы ничего не можем знать о будущем.

— Тогда за что же мы боремся?! — выкрикнул я.

— Мы не можем желать того, чего не знаем, — поддержала меня Мэри.

— Мы боремся за новые экономические взаимоотношения, — ответил Коршунов, — а там посмотрим, что вырастет на почве этих новых отношений. А наше дело — борьба.

Я, а может быть, и другие услышали в этих словах нечто вроде упрека: вы занимаетесь пустой болтовней и забыли о самом главном! Разговор перешел на другие предметы, но в душе каждого из нас остался неприятный осадок.

## **ВТОРАЯ ГЛАВА**

### **КАТАСТРОФА**

Две недели прошли незаметно. Завтра первое мая. Я рисковал больше, чем все мои товарищи, — за мною был самый длинный хвост «преступлений», мне грозила в случае неудачи или Сибирь или виселица.

Думал ли я об этом? Мало. Меня занимали два вопроса: выступление и... любовь. Ночь перед выступлением я провел в квартире того же студента. Мэри была особенно ласкова со мной, и мне стоило большого труда уйти, не сказав ей ни слова. Я бы, возможно, и сказал, если бы не присутствие Коршунова: его холодный взгляд и сухая ироническая улыбка.

ка преследовали меня и отравляли мое едва народившееся чувство. Если бы это продолжалось дольше, я возненавидел бы Коршунова...

Но — довольно. Вот и день выступления. Сборный пункт назначен в Парголовском лесу. С утра поодиночке стали собираться рабочие; клочки бумаги и разноцветные тряпочки, развешанные по деревьям, указывали дорогу. Когда почти весь народ был в сборе, я встал на пень и развернул красное знамя. Кто-то затянул «Марсельезу», другие подхватили, мощные звуки революционного гимна взметались все выше и выше, возбуждая, опьяняя и сплывая в одну бурную лавину разрозненные до того толпы рабочих.

Я начал говорить. Я говорил о будущей революции, о мощи рабочего класса. Я говорил, что час нашей победы недалек.

Я не могу передать этой речи, но по силе революционного чувства это была лучшая из моих речей. Я видел, каким огнем загорались глаза моих слушателей, я чувствовал — они встанут все, как один, и пойдут на гибель, на лишения, на смерть...

И вот — обычное для того времени явление: близкий конский топот, захрустел валежник. Кто-то крикнул:

— Спасайтесь! Казаки!

Заплясали кони, засвистали нагайки. Крики, проклятия, стоны.



Я крепко держу в руках знамя. У меня даже мелькнула тщеславная мысль — «умру со знаменем в руках». Чем смерть со знаменем в руках лучше всякой другой смерти — я не смогу объяснить читателю. Конечно, это было безрассудством, но в нашей среде безрассудство называлось героизмом.

Я помню: лошадиные копыта, бородатая физиономия казака с выпученными, налитыми кровью глазами — и... ничего больше.

Очнулся я в тюремной больнице. Открыв глаза, я первым делом бросил взгляд на висевшую над моей койкой дощечку, и каков был мой ужас, когда я увидел на ней свою настоящую фамилию! Бежавший с каторги! Мне предстояло теперь или длинное путешествие в Сибирь, или очень короткое, но еще более неприятное путешествие в иной мир при помощи самой обыкновенной веревки и двух обыкновенных столбов с обыкновенной перекладиной.

Но я был молод и не умел предаваться отчаянию. Если у меня нет плана спасения, значит, мне нужно время для обдумывания этого плана — бежать из больницы все-таки легче, чем бежать из тюрьмы. Я притворился более слабым, чем был на самом деле, и постарался оттянуть время.

Случай помог мне.

Рядом со мной на соседней койке лежал длинный худощавый человек со смуглым до черноты лицом, большими чер-

ными пронизывающими глазами и черной колючей бородой. Что это за человек, за что он посажен в тюрьму, какова его профессия, его национальность? Но все мои старания были тщетны. Незнакомец заметил мое внимание к его особе и обратился ко мне с незначащим вопросом. Голос и акцент окончательно сбили меня с толку, и я прямо без обиняков спросил его: кто он, чем занимался и как попал в это неприятное место.

Незнакомец и не думал скрывать своего имени и профессии. — Я — знаменитый индийский факир, — сказал он.

Имени его я повторить не могу, но помню, что афиши с этим именем не раз попадались на улицах. Оказалось, что он произвел не совсем удачный опыт с распарыванием живота одного «желающего из публики» и одновременно поранил самого себя.

Я был рад случаю потолковать с таким интересным человеком. Пользуясь отсутствием сиделок, кстати сказать, мало обращавших внимания на больных, мы беседовали целыми днями. Факир рассказал мне о своем прошлом, знакомил с индийской мудростью и даже показал несколько опытов, подтверждающих правильность его учения. Он говорил, что современный европеец не умеет пользоваться силами, живущими внутри нас, и не хочет научиться этому, а вот индусы настолько изучили свою брентную оболочку, что могут не обращать внимания на прихоти своего тела. Он — знаменитый

факир — может три месяца не прикасаться к пище и может на любое время остановить действие своего сердца. Я не поверил этому.

— Можно показать на примере, — возразил индус.

И вот через две-три минуты я заметил, что мой сосед умер. Он даже вытянулся, как покойник, и похолодел. Я готов был крикнуть сиделку — как вдруг покойник зашевелился, открыл глаза и произнес как ни в чем не бывало:

— Я мог бы пролежать так любое количество времени. Год, два...

После этого опыта я не спал целую ночь. Еще бы! Видеть такое зрелище не с галерки цирка, думая, что все это в конце концов шарлатанство, а рядом с собой, да еще в тюремной больнице. Но скоро, по свойственной мне практичности, я стал думать о том, как бы использовать необыкновенные знания факира в своих собственных интересах.

И, наконец, я придумал.

— А не можете ли вы, — сказал я факиру, — сделать и меня мертвым?.. Ну хотя бы на полчаса...

— На любое время, — ответил факир. — Не хотите ли попробовать?

Я выразил согласие.

— Посмотрите на солнце.

Я заметил местонахождение солнца по тени, падающей от решетки.

Не знаю, что он сделал со мной, но когда, как мне показалось — через секунду, я открыл глаза, солнце стояло значительно ниже.

— Прошло полтора часа, — сказал мне факир, — у вас очень податливая организация, вам стоило бы родиться в Индии.

Тогда я познакомил его с моим планом. План этот был прост до гениальности: факир умерщвляет меня дня на два — по моим расчетам большего не требовалось. Доктор свидетельствует мою смерть, меня выносят в мертвецкую, а оттуда — на кладбище. Я хорошо знаю тюремные обычаи: телега, запряженная клячонкой, на телеге гроб, на гробу сторож, мирно раскуривающий сигарку: мертвец — самый спокойный из арестантов. Проснувшись, я сильным ударом открываю крышку гроба, выскакиваю и убегаю на глазах перепуганного возницы.

— Но ведь могут произвести вскрытие? — вспомнил я.

— Не беспокойтесь, — ответил факир, — как только к вам прикоснется нож, вы проснетесь.

Следовательно, я ничем не рисковал. Самые мрачные предположения были ничто в сравнении с той участью, которую готовили мне судья и палач.

Десятого мая мой план был приведен в исполнение.

Я помню: сознание мое затуманилось, промелькнули смутные видения — как бы в дремоте — и все...

## **ТРЕТЬЯ ГЛАВА**

### **ЛЕНИНГРАД**

Проснулся я от свежего весеннего ветерка. Первое инстинктивное движение — поднять руку и протереть глаза. Но рука моя уперлась во что-то твердое. Я вспомнил все, снова толкнул крышку и потерял сознание.

Когда я открыл глаза, я увидел солнце, опускающееся к западу, распаханное поле и деревушку вдали. С трудом поднявшись, я осмотрелся и заметил в стороне дымящие фабричные трубы.

Неужели меня не довели до кладбища и бросили посреди поля? Где мой возница?

Но тут я заметил, что мой полуистлевший гроб со всех сторон засыпан землей. Значит, меня зарыли. Почему же так неглубоко? Сколько времени провел я в могиле?

Но долго раздумывать было некогда. Я чувствовал слабость, мне надо было как можно скорее найти пищу и ночлег. Город невдалеке — это, конечно, Петербург, я думал только, что вижу его с незнакомой мне окраины, — и направился к городу.

Миновав безлюдное поле, я выбрался на широкое шоссе. Навстречу мне изредка попадались люди, одетые в лохмотья, подобные моим. Они исподлобья поглядывали на меня.

«Это нищие выбираютя из города», — подумал я и, подойдя к одному из них, спросил:

— Как мне пробраться в Лесной?

Нищий удивленно посмотрел на меня. «А что, если это не Петербург?» — промелькнула быстрая мысль, и я спросил его:

— Какой это город?

Тот недоверчиво осмотрел меня с головы до ног и ответил:

— Ленинград.

Этот ответ изумил меня. Я напряг всю свою память, но не мог вспомнить такого города ни в России, ни за границей.

Но, так как нищий понимает по-русски, — это Россия, сообразил я, и все-таки название города смущало меня. Я бы подробнее расспросил нищего, если бы он не убежал от меня с быстротой, свидетельствующей о его малом доверии к моей особе. Постояв несколько минут в раздумье, я направился к городу, — будь что будет.

У меня появилась надежда пробраться на вокзал и с первым же поездом доехать до Петербурга. Не может быть, чтобы такой большой город не был связан с Петербургом железной дорогой.

Я вышел на обширный болотный пустырь с двумя десятками покосившихся деревянных домиков, окруженных палисадниками и чахлыми болотными березками. Домики эти были расположены с удивительной правильностью, как будто бы кто-то задумал построить здесь дачный поселок, а по-

том бросил постройку: в этом окончательно убедила меня огромная вывеска с полустершимися от времени буквами: «Город-сад имени Н. А. Семашко». Теперь мне стало ясно, что лежавший передо мной большой город был построен тем же самым строителем, который планировал, хотя и неудачно, город-сад. Может быть, я где-либо в окрестностях Петербурга?

Скоро достиг я и городских окраин. Серые захудалые домишки разочаровали меня: нет, этот город построен очень давно. Несмотря на сравнительно ранний час, на улицах никого не было. Редкие встречные с такой подозрительностью поглядывали на меня, что я не решался заговорить с ними и шел как бы ощупью, с завязанными глазами.

Дома стали появляться все чаще и чаще, шоссе кончилось — началась длинная широкая улица, застроенная большими каменными домами. Тут меня ждало небольшое испытание: на перекрестке я заметил фигуру в фуражке с малиновым кантом и револьвером на боку. Чутье старого революционера подсказало мне, что это полицейский. Заметил он меня или нет? По счастью, он смотрел в противоположную сторону, а я немедленно шмыгнул в один из близлежащих переулков.

Встреча с полицией не могла радовать меня по многим причинам: во-первых, я не знал, кто я и откуда явился, во-вторых, я — бывший арестант, в-третьих, у меня нет паспорта. Пошарив по карманам, я нашел нечто вроде паспор-

та: входной билет завода «Новый Айваз» с моей фотографической карточкой. Но, быть может, этого мало? На всякий случай я выбирал самые темные переулки.

Но скоро таких переулков стало немного. Я вышел на застроенный многоэтажными домами проспект и не замедлил узнать, что он называется: проспект Семнадцатого июля. Это название опять-таки ничего не сказало мне.

Над одним из домов я заметил большой, как мне показалось, золотой флаг с золотым гербом; сам герб я не мог рассмотреть, но это не был двуглавый орел. Я терялся в догадках, но спросить первого встречного о том, где нахожусь, боялся: хорошо одетые солидные господа, наполнявшие эту улицу, могли принять меня за нищего и позвать полицейского. И притом они так подозрительно смотрели — не только на меня, но и друг на друга.

Улица эта была, по-видимому, одной из самых главных. Мимо меня прошел трамвай, красный, испещренный надписями и рисунками, которые на ходу невозможно было разглядеть. Я пытался читать вывески — но и это занятие не помогло: странные, часто бессмысленные слова глядели на меня. Мне было тем более не по себе, что в глазах рябило, окружающее то всплывало, то исчезало — может быть, я не могу как следует прочесть эти вывески? Со мною и прежде не раз бывало так, и я знал, что это кончится ужаснейшей головной болью.



Изредка я закрывал глаза и, открыв их часто на одну секунду, чувствовал себя в Петербурге. Вот этот высокий дом, облицованный красным изразцом, — кажется, я когда-то видел его. Вот церковь — опять что-то знакомое. Вот переулок — кажется, я когда-то был здесь — но когда? Может быть, во сне? А вот название переулка, вывеска, золотой флаг на церкви вместо креста — нет, здесь я никогда не был. Знакомый магазин — кажется, только вчера я заходил сюда, — а над ним странное бессмысленное название «лепт» — то ли это владелец магазина, какой-нибудь француз, то ли название товара. Иногда вместо названия — номер, иногда — только инициалы.

Но чем дальше я шел, тем чаще и чаще мне казалось, что я в Петербурге. Почему же так изменился город? За сколько лет он мог так измениться? Может быть, все мои знакомые и друзья давно умерли, и я — только странная и смешная тень прошлого? От осознания этого у меня больно сжималось сердце, а слабость и невероятная головная боль еще более усиливали безнадежность моего положения.

И вот — я стою на тротуаре. Мне надо перейти второй, еще более широкий проспект; усиленное движение регулируется полицейским — я угадал, что человек в малиновой фуражке — полицейский. Вот он поднимает палочку, и я вместе с другими перехожу дорогу. Посреди улицы — второй поток экипажей. Я останавливаюсь, я имею возможность огля-

даться. Смотрю: четыре бронзовых коня неподалеку и в самом конце проспекта блестящая золотом игла.

Сомнений не было:

— Да, это Невский проспект.

Меня не смутила надпись: «Проспект 25 Октября». Теперь я знал, что я в Петербурге.

Свободно вздохнув и по-прежнему стараясь избегать полицейских, направился я к Выборгской стороне.

Мое спасение, казалось мне, было недалеко.

#### **ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА**

##### **НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ**

Здесь я вынужден сделать небольшой перерыв. Я не помню, каким образом добрался до Выборгской стороны, как перешел Литейный мост и, главное, как не попал в руки полиции. Я знаю только одно: очнулся я в сквере неподалеку от нобелевского завода, не сразу вспомнил, где я и что со мной произошло, а вспомнив, быстро поднялся и направился к Лесному. Там у меня была собственная комната, а если комната была кем-либо занята, то я во всяком случае мог разыскать знакомых: большинство их работало на заводе «Новый Айваз» или «Лесснер» и жило в этих краях.

Улицы были еще пустынные, городские и сторожа мирно спали каждый на своем посту. Я без труда разыскал завод, который сравнительно мало изменился, скоро я нашел и тот

дом, в котором жил до катастрофы. Он сильно постарел, подгнил и, как казалось мне, готов был ежеминутно обрушиться. Из окна моей комнаты выглянуло женское лицо и тотчас же спряталось. Я постучал. За дверью долго шевелились, спорили, и наконец, не открывая двери, женский голос спросил: — Что вам нужно?

Я назвал свое имя, потом имена лиц, которые бывали и жили в этом доме, но в ответ получал недоуменные взгляды.

— Но ведь я сам жил здесь недавно, — сказал я.

— Когда? — заинтересовалась женщина. — По крайней мере мы уж двадцать лет безвыездно живем в этой квартире.

Двадцать лет! Неужели я пролежал в могиле два десятилетия?

— Скажите по крайней мере, где я могу видеть дворника — я прописан по книгам...

Женщина добивалась точной даты:

— Вы скажите, когда именно вы жили здесь?

— Ну, в девятьсот тринадцатом, — нехотя ответил я.

— В девятьсот тринадцатом? — Она произнесла это таким тоном, что я мог представить широко раскрытые глаза. Дверь полуотворилась, и я увидел испуганное и удивленное лицо.

«Она не верит мне, она принимает меня за сумасшедшего».

— А разрешите спросить, какой год теперь?

— Пятидесятый, — просто ответила она и, чтобы мне было понятнее, добавила: — тысяча девятьсот пятидесятый.

Было о чем подумать мне в эту минуту... Тридцать семь лет! Что могло произойти за эти тридцать семь лет? Но думать о чем-либо я не был способен: чувство голода пересиливало все остальное.

— Дайте мне хоть кусочек хлеба, — простонал я. — Я не ел уже тридцать семь лет.

Женщина рассмеялась и вынесла мне сухую корку черного хлеба, которую я тут же принялся уничтожать. Представляю себе, какое чувство возбудил я в наблюдавшей за мной женщине: оборванный, грязный, еле стою на ногах и с жадностью собаки грызу черствую корку...

— Уходите как можно скорее, — сказала женщина, — я подала милостыню, а это запрещено законом. Советую вам вернуться туда, откуда вы пришли...

Она была уверена, что я бежал из больницы Николая Чудотворца. Но, к сожалению, я не мог последовать совету доброй женщины и, поблагодарив ее, отправился в парк Лесного института.

У меня было достаточно времени, чтобы, отдыхая на скамейке парка и доедая скудный завтрак, обдумать свое положение.

Прошло тридцать семь лет. Все мои преступления покрыты давностью, если бы даже меня узнала полиция... Но по-

лиция меня не может узнать. Следовательно, я вполне свободный и благонадежный гражданин. А с другой стороны: у меня нет знакомых, моим рассказам никто не поверит и, пожалуй, меня упрячут в сумасшедший дом. Что же мне делать? Никому не рассказывать о своей истории!

Можно выдумать что-нибудь более правдоподобное, ну хотя бы что я приехал из дальней деревни и ищу работу. Проще всего обратиться на тот же самый завод. Разве там не нуждаются в хороших слесарях?

Меня беспокоил только костюм, но, вспомнив о нищих, встреченных мною на шоссе, я нашел, что мой костюм, если его хорошенько почистить, будет вполне приличным костюмом для безработного.

Щетка из еловых веток помогла мне привести в порядок пиджак и брюки, в пруду я постирал рубашку, умылся сам и направился на поиски работы.

Я подошел к заводу в тот момент, когда раздался второй гудок и к закопченным воротам потянулись худощавые, плохо одетые люди с голодным блеском в глазах и признаками чахотки на лицах.

В наше время рабочие были здоровее, — подумал я, но, вспомнив, что почти за сорок лет приток свежих сил из деревни должен был сократиться, а потомственный рабочий, да еще петербуржец, не может не быть чахоточным, я мало тому удивлялся.

Подойдя к воротам, я спросил сторожа:

— Можно ли видеть заведующего?

— А вам на что? — удивился сторож.

В его глазах забегал недоверчивый огонек.

— Я приехал из деревни, ищу работы... Моя специальность — слесарь.

Эти слова часто открывали передо мной двери заводов. Но только не на этот раз.

— Зачем же вам заведующий? Он ничего не может сделать...

С большим трудом я узнал, что дело найма рабочих сосредоточено в особых учреждениях, ведающих учетом рабочей силы. Тем лучше, я запишусь в очередь, и у меня через неделю будет работа. А может быть, это бюро выдает и пособия безработным?

Но и тут меня ожидало разочарование. На дверях бюро висела записка, предупреждавшая об отсутствии свободных мест на заводах и фабриках Ленинграда.

— Кто вас направил сюда? — спросила барышня, скучавшая в обширных залах бюро. — Где ваша командировка?

Я не мог ответить на этот вопрос. У меня не было никакой командировки.

— Ну так поезжайте назад, откуда приехали...

Откуда приехал! Если бы она знала, откуда я приехал!

От поисков места по специальности пришлось отказаться. Я отправился в гавань: в мое время каждый мог найти

там, правда, не особенно легкую и плохо оплачиваемую работу по разгрузке кораблей и барж. Но в гавани было тихо: две-три разбитых баржи, остов большого корабля, рыбацкие лодки. Я прошел в контору и получил вежливое разъяснение, что контора не нуждается в рабочей силе, конечно, до поры до времени, пока не восстановится экспорт. Я не расспрашивал, почему прекратился экспорт, что причиной запустения этого в мое время такого живого места, — мне было не до того.

После безрезультатных поисков работы я вернулся в Лесной парк, на ту скамейку, которая заменяла мне квартиру. Заморосил обыкновенный петербургский дождь — ночевать на улице было небезопасно. Надо было найти комнату. Кто сдаст комнату беспаспортному оборванцу? Я не подумал об этом и долго бродил по Лесному, отыскивая зеленый билетик. По моим расчетам, в это время свободные комнаты должны быть в каждом доме. Их не было. Идти в гостиницу? Но являться в гостиницу без документа просто смешно.

Поневоле придется ночевать на улице.

Я опять вернулся к своей скамейке и вдруг почувствовал, что дьявольски хочу есть: еще бы, я с утра ничего не ел, и только другие, более важные заботы заглушили на время чувство голода.

Где достать хлеба? Просить? У кого? Но это — последнее дело. Может быть, на мое счастье у меня сохранились день-

ги? Я долго рылся в карманах, обшаривал подкладку — не завалялась ли где случайная монета. Наконец после долгих поисков нащупал небольшой кружок. Медь или серебро?

С каким трепетом я распарывал подкладку и как был обрадован, когда взял в руки почерневшую от времени серебряную монету. Теперь я буду по крайней мере сыт!

Разыскать булочную не представило большого труда. Мне даже отвесили три фунта черного хлеба, и я уже подошел к кассе и бросил на стекло свою драгоценную монету. «У нее настоящий серебряный звон, она не фальшивая». Но кассирша была другого мнения. Она долго рассматривала ее, вертела в руках, а потом безапелляционно заявила:

— Не годится!

Я вышел из булочной без хлеба, но зато с раздраженным аппетитом и бросил злосчастную монету на тротуар.

Голод по-прежнему мучил меня и особенно был ощутителен здесь, рядом с пахнущей свежеспеченным хлебом пекарней. Я не уйду отсюда. Может быть, кто-нибудь сжалится надо мной и даст мне хоть один кусок.

Люди один за другим входили и выходили, унося домой французские булки, пахучие ковриги черного хлеба, мягкие куски горячего ситного. Я боязливо протягивал руку, но никто не обращал на меня внимания. Прошла женщина, показавшаяся мне симпатичнее других. Я жалобно простонал:

— Подайте Христа ради...



Она недоверчиво посмотрела на меня и только ускорила шаги. Тогда я начал просить у каждого выходявшего из дверей, и все настойчивее и настойчивее: их бессердечие раздражало меня. Но никто не обращал внимания на мои просьбы. Люди бережно несли свои фунты и полуфунты, и разве только силой можно было отнять у них хоть маленький кусочек.

Неужели я умру с голода?

У меня очень богатое воображение. Картина голодной смерти до такой степени ярко предстала передо мной, что заслонила все остальное.

«Но я хочу жить, черт возьми!» — подумал я и решил во что бы то ни стало раздобыть хлеба.

Преступление? Но разве не было случаев, что преступление заставляло обратить внимание на человека... И притом какое же это преступление? Право на существование и на хлеб имеет каждый...

Лучше попасть в руки полиции, чем умереть от голода.

В тот момент, когда я пришел к этому решению, из булочной вышел тщедушный молодой человек, довольно-таки прилично одетый. Он нес под мышкой фунта два черного хлеба. Я обратился к нему с вежливой просьбой — он как будто не слышал моих слов. Я пошел сзади и стал просить все настойчивее и настойчивее. Он молчал и только ускорял шаги. Я не отставал. Я возненавидел этого человека за его скупость и черствость. Я готов был наброситься и задушить его...

Но я не сделал этого. Я только толкнул его и вырвал из его рук драгоценную ношу.

Он упал и закричал не своим голосом, как будто его по крайней мере резали. Я же с остервенением вгрызся в мягкий пахучий кусок — я был опьянен его запахом и ничего не чувствовал, кроме желания есть без конца...

Раздались тревожные крики, свисток полицейского. Нас обступила толпа. Кто-то взял меня под руку и повел куда-то, а я с удовольствием грыз вожденный кусок хлеба...

Когда я пришел в себя, мне бросились в глаза железные решетки на окнах, белые стены, ряды больничных кроватей. — Какой страшный сон, — сказал я и взглянул на соседа, ожидая увидеть худощавое черное лицо своего приятеля-факира.

Но на его кровати спал кто-то другой.

— Значит, и факир — только сон.

Я взглянул на карточку, висевшую над моей кроватью: «Неизвестный».

Где я? Что сон и что явь? Все перепуталось в уставшем от впечатлений мозгу. Я обратился к сиделке:

— Где я? Давно я здесь?

— Около недели, — ответила она.

— Меня задержали на демонстрации? — продолжал я спрашивать ее.

Сиделка удивилась:

— На какой демонстрации? Вас арестовали за грабеж...

Расспросив ее, я узнал, что все происшедшее было отнюдь не сном, что я действительно арестован за нападение на улице и что я был накануне смерти, как это ни странно, от обжорства: мой желудок не выдержал такого количества свежего хлеба после почти сорокалетней голодовки.

Мне оставалось только ждать своей участи. Я даже радовался такому исходу: в больнице меня будут кормить и, конечно, не выбросят на улицу.

## **ПЯТАЯ ГЛАВА**

### **ПЕРЕД СУДОМ**

В больнице я узнал, что меня будут судить.

— Что же грозит за мое преступление? — смеясь спросил я у сиделки.

— Лет десять изоляции, — просто ответила она. Имея дело с тюремными жителями, она неплохо разбиралась в законах. — Вас будут судить за бандитизм...

Десятилетнее заключение за то, что голодный отнял у сытого кусок хлеба? Бандитизм? До чего дошла наглость эксплуататоров! Во мне снова заговорило чувство бунтовщика и революционера. Я не боюсь суда — им же будет хуже. Я скажу большую речь о собственности, о социализме...

Я начал припоминать цитаты из книг моих великих учителей. Я составлял сногшибательно резкую речь. Она долж-

на быть обвинительным актом против капиталистического строя, против эксплуатации человека человеком. Яркими красками готовился я описать изможденные лица рабочих у завода «Новый Айваз», роскошь магазинов на Невском и Литейном, сытых буржуев и их жестокие законы. Я чувствовал, что моя речь будет иметь успех, и заранее радовался...

Но мне пришлось пережить неожиданное, на этот раз приятное разочарование.

Расскажу по порядку.

Когда я немного поправился, меня перевели в одиночную камеру. Там я мог достать карандаш и бумагу и около недели работал над своей речью. Кормили меня не особенно хорошо, но я не ждал худшего и был доволен. Когда моя речь была готова, я устроил репетицию. Встав в позу оратора и вообразив перед собой вместо сырых стен тюрьмы каменные лица судей, я шепотом произнес эту речь. Мне казалось, что даже стены были потрясены моей речью. И когда на другое утро железные двери раскрылись передо мной и под конвоем я проследовал в суд, я чувствовал себя не преступником, ожидающим справедливого наказания, а героем, ожидающим триумфа.

Скамья подсудимых. Напротив — накрытый красным сукном стол. За столом судьи: один худощавый, с вытянутым пергаментным лицом, другой толстенький, как я решил — буржуйчик, и изящно одетая дама. Эти типичные представи-

тели господствующего класса слишком толстокожи, чтобы на них могла подействовать моя горячая речь.

«Но зато тем больший отклик будет она иметь в сердцах слушателей», — подумал я.

Рядом со мной сидел потерпевший — у него еще не зажили синяки: оказывается, я так неловко и так сильно толкнул его, что он упал лицом на фонарный столб. Он был жалок, и во мне зашевелилось нечто вроде чувства раскаяния. Но что же делать? Он не виноват — но не виноват и я!

Виноваты возмутительные порядки.

Обычные вопросы:

— Имя, отчество, фамилия. Год и место рождения.

Я ожидал, что меня будут расспрашивать о мотивах моего преступления, о том, как я решился на такой шаг, и т. д. Не тут-то было. Меня спрашивали о другом.

Кто был мой отец и чем занимался, кто была моя мать, имела ли она кроме заработка какие-либо нетрудовые доходы, не служил ли мой дед в стражниках, не был ли он женат на дочери городского... Я отвечал правду, но судьи не верили моим словам, задавали по два раза один и тот же вопрос. О подробностях моей биографии я решил умолчать, мое прошлое могло только повредить мне.

— А где вы были в семнадцатом году?

Я ответил, что не могу точно сказать, где я был в семнадцатом году. Судьи переглянулись.

— Ну а до семнадцатого года?

— До семнадцатого года я работал на заводе «Новый Айваз» в качестве слесаря.

Сухощавый судья проскрипел:

— Доказательства!

Я вынул из кармана билет и подал судье. Билет долго рассматривали все члены суда, передавая из рук в руки. Наконец полная дама спросила:

— Так вы рабочий?

В тоне этого вопроса я с удивлением почувствовал признак некоторого уважения к этому званию и поспешил ответить утвердительно. Судья сухо сказал:

— Достаточно!

Недоумевая, я сел на скамью.

Судьи перешли к допросу потерпевшего. Его допрашивали так же, как и меня. Я узнал, что отец его был портным, а сам он — конторщик.

— А ваш отец, — спросил его толстый судья, — состоял на службе или имел собственное заведение?

Потерпевший смутился, покраснел, обвел глазами присутствующих, словно ища у кого-либо поддержки, и шепотом пробормотал:

— Нет. То есть — да... собственное...

— Достаточно, — проскрипел худощавый судья, — можете сесть.

Суд удалился на совещание.

Я был удивлен и раздосадован. Когда же мне дадут возможность произнести мою горячую защитительную речь?

— Почему они не допрашивают меня? Почему не спросили, какое преступление я совершил? — спросил я конвойного.

— А они и так знают, — ответил конвойный.

Это было сказано так резонно, что я стушевался.

Ожидание длилось недолго. Минут через пять сухощавый судья скрипучим, как испорченное перо, голосом прочитал длинейший обвинительный акт и, наконец, заключение, которое одно я в сущности только и слышал:

— Ввиду пролетарского происхождения — оправдать.

Такое решение удивило меня. И еще более, чем решение суда, меня удивило то, что судья, закончив чтение, объявил перерыв и, подойдя ко мне, сделал приветственный знак рукой и спросил, каким образом попал я в столь тяжелое положение. Я рассказал.

— Это невозможно, — ответил он.

Из публики выделились два человека и оба подошли ко мне.

— Вы — рабочий? — спросил один.

— Вы — партийный? — спросил другой.

Я говорил им то, что написано на первых страницах этой правдивой повести. Они удивлялись, наперебой приглашали меня к себе, кто на обед, кто на ужин. Мне оставалось только записывать адреса.

Скоро я очутился в прекрасно обставленной гостиной наедине с молодым человеком, очень заботливо угощавшим меня самым изысканным ужином. Я не понимал, что со мной происходит.

— Да скажите же, наконец, в чем дело? — спросил я.

Этот молодой человек будет в дальнейшем играть некоторую роль в нашей повести, и я должен описать его. Он был чисто выбрит, со впалыми щеками, вытянутым лицом и носил монокль. По внешности он больше всего напоминал лицеиста.

— Спрашивайте, — сказал он, — я весь к вашим услугам.

Я заметил, что он даже картавит, как настоящий лицеист. Я собрался с мыслями и стал задавать вопросы.

## **ШЕСТАЯ ГЛАВА**

### **Я НА ВЕРХУ БЛАЖЕНСТВА**

— Скажите, почему вы и все остальные на суде приняли во мне такое участие? Кто эти люди?

Молодой человек закинул ногу на ногу.

— Рабочие! — ответил он.

— Рабочие? — удивился я.

— Ну да! Разве вы не знаете, что сорок лет назад у нас произошла победоносная пролетарская революция?

Это известие ударило меня, как обухом по голове. Я перестал что-либо понимать во всей этой бестолковщине.



— Пролетарская революция?

— Ну да, — самодовольно ответил Витман — так звали моего собеседника. — Пролетариат выдержал отчаянную борьбу и победил. По крайней мере, в нашей республике...

Он кратко познакомил меня с тем, что произошло в течение этих сорока лет. С каждым словом мое удивление росло, и вместе с тем росла моя радость. То дело, которому я отдал лучшие годы своей жизни, наконец восторжествовало: я в рабочем социалистическом государстве, где все законы написаны рабочими и на пользу рабочим, где рабочие стоят на вершине, управляют фабриками, заводами, государством...

У меня закружилась голова.

— А буржуазия? — спросил я.

— Буржуазия? — переспросил Витман. — Этих кровопийц, — очень хорошо выходило у него это слово при его картавом выговоре, — этих кровопийц мы заставили нести самую тяжелую и неприятную работу... Мы заняли их особняки и дворцы, а их переселили в подвалы... Да, это полная и окончательная победа.

Признаюсь, я был на вершине блаженства в этот вечер. Я забыл обо всем, что пришлось мне пережить за последние дни, и только одно угнетало меня: почему в этой великой борьбе я был лишен возможности принимать личное участие? И из-за чего? Из-за какой-то глупой случайности...

Но скоро во мне заговорило сомнение:

— Как могло выйти, что в социалистическом государстве я чуть не умер от голода, и никто не хотел помочь мне?

— Вы начали не с того конца... Вы действовали по-старому. Вы пошли искать работы. Как глупо! В то время, когда каждый человек на учете и у каждого есть свое место, вы ищите работы! Вы должны были выяснить сначала свое социальное происхождение, а вы стали просить подаяния на улице у прохожих. Вторая глупость: кто же вам подаст? Наши граждане отлично знают, что если у вас нет хлеба, значит, вы того заслужили, и не дело частного лица вмешиваться в распоряжения государства...

Оказалось, что государственная машина слишком хорошо отлажена, ни одно событие не ускользает от этого аппарата, и все мое несчастье заключалось в том, что я не мог попасть на зубчик машины, которому надлежало ведать моим делом.

— Поймите, что ваше положение было более чем необыкновенным.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Теперь ошибка будет исправлена... Вы увидите, какая у нас прекрасная организация и как хорошо живет теперь рабочему человеку...

Со своей стороны он расспрашивал меня о нашей работе в царское время, о забастовках, спрашивал, с какими из известных вождей я был знаком, и очень удивился, когда я сказал, что был одним из друзей товарища Коршунова.

В его квартире я остался и на ночь.

— А завтра мы позаботимся о том, чтобы у вас был собственный угол.

На следующее же утро при содействии Витмана я был одет в новенькое, с иголочки, платье, в кармане у меня был паспорт и партийный билет. К обеду у меня была уже квартира.

— Отличная квартира, — говорил Витман. — Она была до сих пор занята остатками одного буржуазного семейства, всячески пытавшегося скрыть свое происхождение. Только вчера их вывели на чистую воду и теперь переселят в подвал. Вам очень повезло, — добавил он, — теперь так трудно получить приличное помещение...

Мы поехали осматривать квартиру. Она помещалась в доме номер семь по Большой Дворянской улице. Я очень любил это место: чугунные узоры на ограде дворца Кшесинской, голубой купол мечети, Петропавловская крепость и вздыбивший кошачью спину Троицкий мост. А исторические воспоминания? Александровский парк — отсюда девятого января шли толпы рабочих к царю, здесь озверевшие солдаты и казаки расстреливали пытавшихся спрятаться за деревья мальчишек. Помню, в детстве сюда приводил меня отец показывать домик Петра Великого — память о том времени, когда героическими усилиями народа был построен этот город — окно в Европу.

Местность изменилась мало, как будто сорок лет прошли без следа. Все было так же, как и тогда, если не считать одного несущественного обстоятельства: новых названий. Названия эти очень щедро давались в первые годы революции и должны были напоминать о наиболее важных моментах в истории революционной борьбы. Мне хотелось познакомиться с происхождением некоторых из них, но когда я спросил Витмана, кто такой Блохин, именем которого названа одна из улиц, тот, поморщившись, сказал:

— Зачем вам это знать? Никто не знает!..

Меня заинтересовало, как далеко зашло это переименование, не переименован ли и домик Петра Великого, но от этого вопроса я воздержался.

Во дворе дома номер семь увидел я двух женщин: старушку в очках, очень бедно одетую, и милую девушку лет двадцати двух, показавшуюся мне красавицей. Она напомнила мне... Ну да я не буду говорить, кого она мне напомнила... Такие же ясные глаза и белокурые волосы... Они посторонились, чтобы пропустить нас. Я снял шляпу и раскланялся. Девушка не ответила на мое приветствие, а Витман с удивлением посмотрел на меня. Девушка отвернулась, и я заметил, что на глазах ее показались слезы.

— Это выселенное буржуазное семейство, — шепнул мне Витман. Мне стало жаль девушку, и я, подойдя к ней, сказал:

— Уверяю вас, что я не хотел сделать вам неприятности...

Но Витман не дал мне кончить начатой фразы — он отвел меня в сторону и предупредил, что я не имею права разговаривать с этой девушкой. Я удивился.

— Ведь она из другого класса, — объяснил он.

Это объяснение мало удовлетворило меня, я понял только, что надо до поры до времени не возражать и не расспрашивать.

Мы прошли в квартиру.

Вещи не были вынесены, и во всей обстановке чувствовалась рука заботливой хозяйки. Большие книжные шкафы, картины на стенах, безделушки на полочках.

— Все это останется вам, — сказал Витман, заметив, с каким вниманием разглядываю я обстановку.

— Но ведь это их имущество?

Витман презрительно поморщился:

— Предметы роскоши... Буржуазия не имеет права владеть ими.

Мне пришлось согласиться, но с тайной мыслью, что я передам эти вещи их прекрасной хозяйке. То, что я не мог прямо сказать об этом моим друзьям и чувствовал, что они не поймут меня, несколько омрачало мою радость. Была какая-то грань между ними и мною, и я даже несколько побаивался этих чрезвычайно любезных, но в то же время чрезвычайно черствых людей. И все-таки я сделал одну попытку: когда после ужина в моей новой квартире Витман развалился на оттоманке с дорогой сигарой во рту, я сказал ему:

— А все-таки мне жаль эту милую барышню...

Он ответил мне:

— Вот еще... Ведь они пили нашу кровь!..

И при этом так ужасно картавил, что мне стало противно. Этого чувства я и впоследствии не мог преодолеть.

## **СЕДЬМАЯ ГЛАВА**

### **ГОРОД ЗНАКОМИТСЯ СО МНОЙ**

Если забыть эту маленькую неприятность, я был счастлив. Засыпая в теплой и мягкой постели, в уютной, убранной женской рукой спальне, я не мог поверить, что только вчера был бездомным бродягой и уголовным преступником. Что-нибудь одно было сном: или мои невзгоды, или мое неожиданное счастье, и я скорее склонялся ко второму предположению. Закрыв глаза, я боялся вновь открыть их — а вдруг я снова очнусь в арестантской больнице?

Спал я плохо, меня мучили кошмары. Мне снилось, что я арестант и меня ведут вместе с партией других таких же арестантов этапным порядком в Сибирь; рядом со мною идет Мэри, только черты ее лица напоминают скорее черты лица той девушки, кваргиру которой я занял. Она закована в кандалы, она спотыкается, она плачет. Угрюмый конвойный подталкивает ее в спину прикладом. Я хочу ей помочь, я хочу с кулаками броситься на конвойного, но руки мои в кандалах...

Я говорю Витману, который идет тут же:

— Нельзя ли помочь ей?

— Они пили нашу кровь, — отвечает Витман.

И я только тут замечаю, что на Витмане солдатская шинель, а в руках у него нагайка.

Тут я проснулся.

Встав с постели, я несколько минут ходил по комнате, стараясь убедиться, что я действительно не сплю.

«Но ведь тогда все великолепно!» — сказал я вслух. Опять лег в постель, заснул и снов уже не видал.

Утром я нашел на ночном столике газету и с жадностью принялся за чтение.

«*Известия* Совета рабочих и крестьянских депутатов», — прочел я заголовок.

Значит, не сон!

Я долго глядел на этот заголовок, на знакомый мне лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и вспомнилась другая газета, с тем же заголовком и с тем же лозунгом, маленькая, скверно отпечатанная в подпольной типографии...

И мне опять стало досадно, что я буквально проспал столько великих событий.

Первое, что бросилось мне в глаза: статья о моей собственной особе. Я с интересом принялся читать ее. Я прочел сообщение о процессе, в котором очень подробно описывались мои показания, а также показания потерпевшего, изла-

галось постановление суда. Говорилось, что я удивился приговору, и — в виде беседы со мной — сообщалась моя краткая биография.

Что это была за биография — судите сами.

Я с удивлением узнал, что за свой короткий век был раз двадцать ссылаем в Сибирь, что мне при каждой ссылке вырывали ноздри и ставили на лоб по клейму, что семь раз я был приговорен к повешению и даже проснулся будто бы с веревкой на шее; снимок этой веревки был помещен тут же с надписью: «Орудие убийства царских палачей». Наконец, я был сдан насильно в рекруты и отбывал военную службу в арестантских ротах.

Я не говорю об удивительных моих приключениях во время подпольной работы, которые шли в этом же номере газеты в виде подвала. Этот фельетон мало задел меня, но что сказать о статье, в которой с моих будто бы слов утверждалось, что рабочие в царское время проводили на заводе двадцать четыре часа в сутки, а иногда и больше, а чтоб они не убежали, их заковывали на ночь в кандалы. Меня, знавшего действительную тяжесть заводской работы в старое время, эта наивная ложь только рассмешила, но какое впечатление произведет такая статья на читателя? Он тоже посмеется или отбросит газету и не поверит ни одному ее слову?

О моих личных качествах сообщались столь же невероятные вещи: оказалось, что я не умею ни читать, ни писать



(царское правительство, как известно, не давало рабочим возможности учиться), а через две-три строки я уже оказывался редактором подпольной газеты. Дочитывая последние строки, я потерял способность смеяться. Наглая, бесстыдная ложь корреспондентов возмутила меня.

Сейчас же напишу опровержение.

«Редакция, — писал я, — доверилась интервьюеру, не потрудившемуся не только поговорить со мной, но и навести, хотя бы в словаре, необходимые справки. Он основывался исключительно на своем собственном вымысле».

Дальше я подробно изложил историю своей жизни, не прибегая к преувеличениям, так как положение рабочего, и в особенности революционера, было настолько тяжело, что не нуждалось в наивных и глупых прикрасах. «Вся сила наших старых подпольных газет, — писал я, — была только в правде.

Лгать — значит вредить делу пролетариата и лить воду на мельницу наших врагов. Кто же поверит той бессмыслице, которая, конечно, случайно попала на страницы вашей газеты...»

Когда я заканчивал последние строки, вошел Витман. Я поспешил поделиться с ним моим негодованием. Он молча слушал, нетерпеливо стряхивая пепел с сигары. Мое воодушевление значительно ослабело от такого приема, и я поспешил закончить свою речь.

— Я уже написал опровержение, — сказал я.

— Зачем? — холодно спросил Витман.

— Да ведь это ложь, явная и вредная ложь...

— Вы ничего не понимаете, — поморщившись, пробурчал Витман, — во-первых, газет никто не читает, а во-вторых, это нужно для пропаганды...

Я не послушал Витмана и отнес свое опровержение в редакцию. Замечу, кстати, что оно не увидело света.

Завтракал я вместе с Витманом в столовой. Это было довольно-таки хорошо обставленное просторное помещение, напоминавшее первоклассный ресторан. В отличие от ресторанов, стены столовой были украшены плакатами и лозунгами: «Не трудящийся да не ест», «Владыкой мира будет труд», «Долой горшки, да здравствует коммунизм». Прислуживали молчаливые официанты. Посетители — в большинстве своем солидные господа и дамы — разглядывали меня с таким же интересом, с каким я — обстановку первой увиденной мною коммунальной столовой. Как это мало походило на наши харчевни у Нарвской или Невской заставы, в которых любили собираться рабочие. Вы понимаете мое чувство: завтракать в такой обстановке, поесть в неограниченном количестве самые отборные кушанья — и сознавать, что я не эксплуатирую никого, что я не отнимаю куска у голодного... Капиталисты никогда не испытывали подобного чувства.

Я поделился своими соображениями с Витманом. Он одобрительно наклонил голову.

— Вы должны показаться в клубе нашего союза, — сказал он, — вами все интересуются...

«Ну и разочаруются же они», — подумал я, вспомнив, каким красавцем изобразили меня утренние газеты.

Клуб находился через дорогу в помещении бывшей церкви. Крест с церкви был снят, колокола тоже, а внутри рядами стояли стулья, как в театре. Но что меня удивило, так это иконостас. Иконостас сохранился в полной неприкосновенности: иконы с золотыми и серебряными окладами, золоченые хоругви... Неужели не могли убрать или хоть завесить, подумал я. Но ближе взглядевшись в лица святых, я не узнал ни одного, и что более всего поразило меня, так это современные костюмы изображенных на иконах людей.

Я тотчас же сказал об этом Витману.

— Что вы, — удивился он, — да ведь это портреты вождей революции.

Тут только я понял свою ошибку. Разглядывая портреты, я увидел несколько знакомых мне лиц, в том числе и своего старого друга — Коршунова.

Знакомое лицо — и на иконе. Это было так странно.

— Зачем же, — сказал я Витману, — так похоже...

Витман не успел ответить. Из алтаря вышел священник и встал за аналоем. Я неточно выражаюсь, это был не свя-

щенник, а скорее лютеранский пастор. Из объяснений Витмана я узнал, что это был заведующий клубом, он же старший инструктор по внешкольному образованию.

Но все-таки я с трудом мог отделаться от мысли, что нахожусь на протестантском богослужении. Мы все хором пропели «Интернационал», напев которого несколько изменился, так что он скорее напоминал церковное песнопение, чем бравурный марш парижских коммунаров, затем последовала проповедь. Проповедник рассказывал о победе рабочего класса над капиталом и подробно остановился на сегодняшнем дне, объясняя его значение для мировой революции. В довершение сходства никто не слушал проповедника, но все сидели смиренно и только изредка перешептывались.

После проповедника получил слово я. Зал тотчас же ожил. Говорил я недолго, предупрежденный Витманом, что не следует вступать в пререкания с анонимным газетным сотрудником. Я выразил свое восхищение героями, доведшими до конца дело пролетариата, и свою веру в торжество этого дела. Иначе и нельзя было говорить в такой торжественной обстановке.

После моей речи присутствующие почтили вставанием память революционеров, которым был посвящен этот день, опять хором пропели «Интернационал» и чинно разошлись по домам.

Витман был доволен моим выступлением — я же решил и впредь не нарушать правил приличия, не мною выработанных и имеющих, может быть, особенное, для меня непонятное значение.

Из клуба меня провезли в высшую государственную коллегию, где я сделал очень подробный доклад о своей особе. Меня выслушали внимательно и поручили в двухнедельный срок письменно изложить мою историю для отдельного издания. Я был доволен, что хоть таким образом опровергну невероятные сплетни, распускаемые газетами. Признаться, меня больше всего мучил такой пустяк, как двадцать раз вырванные ноздри; но сознайтесь, читатель, и вам было бы не особенно приятно фигурировать на столбцах газет в качестве каторжника, да еще с вырванными ноздрями.

## **ВОСЬМАЯ ГЛАВА**

### **Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ГОРОДОМ**

Первые дни моей новой жизни проходили как бы в фантастическом сне. Я не успевал вбирать в себя впечатления, которые вдруг нахлынули и заполнили меня. Я ездил с собрания на собрание, читал лекции, отвечал на многочисленные вопросы, и, признаюсь, мне настолько нравилось быть в центре общественного внимания, что я даже мало наблюдал окружающую обстановку. Да, как мне показалось, особенных изменений и не произошло: чудеса техники, о которых так мно-

го говорили романисты, нисколько не удивляли меня. Я видел отправление воздушного поезда с грузоподъемностью несколько тысяч тонн, я имел возможность, сидя в своей комнате, не только слушать концерт, но видеть артистов и даже разговаривать в антрактах со знакомыми, которые, подобно мне, сидели у себя дома и в то же время были в театре. Но все это удивляло только одно мгновение, а затем почувствовалось несовершенство диковинных аппаратов. Вы поймете это, если вспомните, что обыкновенный телефон являлся в свое время для многих чудом природы, чтобы затем сделаться предметом одних неприятностей. Когда вы стоите у телефона и тщетно вызываете барышню, или когда слышите из трубки хрипение чужих звонков и чей-то незнакомый голос, или когда, наконец, ваш оживленный разговор будет неожиданно прерван — вы не почувствуете изумления перед чудом науки и техники, а выругаетесь самым допотопным образом.

Так и со всеми изобретениями.

В наше время все увлекались воздухоплаванием, я сам как-то сконструировал в тюрьме весьма затейливый аппарат, чертежи которого отобрал у меня один жандармский полковник, — и что же? Прошло сорок лет, и эти сорок лет убедили меня только в преимуществах сухопутного сообщения: все-таки спокойнее, дешевле и безопаснее.

Только одно ценное наблюдение сделал я — и наблюдение несколько неожиданное — все технические усовершен-

ствования имели тенденцию идти от более сложного к более простому: паровые машины кое-где были вытеснены обыкновенными ветряными мельницами, и эти ветряные двигатели стоили так дешево, что любая швея могла приставить их к своей машинке. К сожалению, этих аппаратов еще не умели делать в России, а заграничные почему-то продавались по невероятно дорогой цене.

Внешний облик города изменился мало. Если отбросить огромное количество новых названий, то все остальное сохранилось в полной неприкосновенности: город за это время почти не вырос. Объяснялось это отсутствием той торговли с границей, которую вел в свое время Петербург. Теперь внешняя торговля значительно сократилась — отчасти вследствие натянутых отношений с границей, до сих пор не желающей признавать первую коммунистическую республику, отчасти вследствие того, что центр внешней торговли перебрался на крайний север, где на месте прежнего Мурманска вырос большой, широкого значения порт.

Что еще? Магазины, продавцы, покупатели, празднующиеся на улицах — все было таким же, как и в мое время, вплоть до нищих, предупредительно открывавших перед тобой дверь магазина, оборванных ребятишек с папиросами и спичками, назойливых, жуликоватых, со следами преждевременных пороков на лицах.

Присутствие нищих в столице победившего пролетариата было непонятно мне, но первое время я мало задумывался над подобными вопросами: я был в каком-то чаду, и этот чад старательно поддерживали все окружающие.

Возвращался домой я очень поздно, усталый, взволнованный, и тотчас же садился писать мемуары. Часов в одиннадцать мне приносили анкету, где услужливо написано было мое имя, фамилия, а от меня требовалось только, чтобы согласно вопросам я дал отчет обо всех событиях своего трудового дня. Этот обычай очень понравился мне, я писал, ничего не скрывая, обо всем: и что я делал, и о чем я думал (был и такой вопрос).

На какие средства я жил? Мне была назначена пенсия в размере жалования по семнадцатому разряду союза металлистов — самого влиятельного и получавшего наибольшие ставки. Получив удостоверение о том, что я мастер одного из заводов, я собрался было идти на работу, но мне объяснили, что все равно мне там нечего делать. Производительность труда поднялась настолько, что люди моего возраста могут совсем не работать.

Я узнал, что теперь рабочие вообще проводят на заводах мало времени: два часа в сутки, и этого вполне достаточно. Зная из книг, что так и полагалось бы в социалистическом обществе, я нисколько не удивился краткости рабочего дня: я бы больше удивился, услышав обратное. А так как мой



возраст был довольно-таки преклонен — шестьдесят шесть лет, я мог ничего не делать и первое время не чувствовал скуки, слишком заполнена была моя жизнь новыми впечатлениями. Выглядел же я совсем молодым человеком: сорок лет, проведенные в могиле, нисколько не отразились на моем здоровье.

Итак, я был молод, обеспечен, окружен друзьями, меня знала вся страна, я видел воплощенными свои мечты о радикальном переустройстве общества...

Чего мне оставалось желать? О чем думать?

Одним словом, я был вполне счастлив, как только может быть счастлив человек на земле.

## **ДЕВЯТАЯ ГЛАВА**

### **НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА**

Когда судьба хоть на одну минуту бывает милостива к человеку, он способен не замечать несчастий другого. Сейчас, сидя в тюрьме, накануне неминуемой смерти, я не понимаю, каким образом мог я не заметить тех противоречий, которые скоро заставят меня выйти из колеи и дойти до того положения, в каком нахожусь сейчас...

Но это, конечно, излишнее отступление.

Останусь строго последовательным, иначе тот или иной факт ускользнет от описания, и моя повесть тем самым делается неполной и, следовательно, неправдивой.

Поселился я в доме номер семь по Большой Дворянской (если хотите знать новое название этой улицы, купите за три копейки справочник, а я не помню). В этом доме, населенном, как я узнал, исключительно рабочими, было все необходимое: и столовая, и прачечная, и продовольственный магазин, и клуб. Можно было жить, не выходя из дома, особенно если принять во внимание, что радиоаппараты были поставлены в каждой квартире, и можно было слушать любое театральное представление. Каждое утро доставлялась газета, вероятно, той же самой невидимой рукой, которая ежедневно подбрасывала анкету. Для прогулок и дальних поездок у ворот дома стоял автомобиль: когда уезжал на нем один из жильцов дома, подкатывал другой, так что ходить пешком или ездить на трамвае мне не приходилось. Может быть, этот способ передвижения отчасти способствовал тому, что я ни разу не подумал о тех исхудалых, чахоточных рабочих, которых я ведь собственными глазами видел у ворот завода «Новый Айваз». Что это за люди? Преступники? Военнопленные? Рабы?

Вокруг себя я видел только благополучие. Сколько я ни встречал людей — на лестнице, во дворе, в клубе, в магазине, — это все были хорошо упитанные господа и дамы, приветливо раскланивающиеся друг с другом, всегда довольные, изысканно вежливые. Скоро я завел более близкие знакомства среди людей из этого круга.

Однажды я проснулся раньше обыкновенного. Срок окончания заданной мне работы приближался, и мне приходилось наверстывать потерянное в постоянных разъездах время.

Надо сказать, что к работе своей я относился со всей тщательностью человека, первый раз пишущего для печати, и мне не хотелось ударить в грязь лицом перед моими новыми знакомыми и перед правителями рабочего государства.

Я сидел за письменным столом, обдумывая довольно-таки сложный период, разбухший помимо моей воли от большого количества придаточных предложений. И вдруг я услышал слабый скрип двери и чьи-то слишком мягкие и поспешные шаги. «Воры!» — подумал я и, бросив перо, выбежал в коридор, захватив тяжелую бронзовую лампу,

— Кто здесь? — крикнул я и, заметив маленькую фигурку, чуть не обрушил на ее голову это тяжеловесное оружие.

— Извиняюсь, — пролепетал тихий, немножечко хриплый, немножечко сладкий голосок, — извиняюсь, но это моя обязанность...

— В чем дело? — громко спросил я, держа лампу наготове.

Маленький человечек засмеялся.

— О, да вы не знаете наших порядков, — сказал он, — я политрук-проводитель вашего дома...

Я пропустил странного гостя в свою комнату. По одежде его нельзя было принять за вора, а в манерах было что-то ко-

шачье, одновременно хищное и до приторности ласковое. Я попросил его присесть на минутку и объяснить свое поведение.

— Я доставляю вам анкеты и беру их обратно, — сказал он. — Делается это для того, чтобы никто не мог прочесть вашего дневника. Вы пишете его ночью, когда никого нет в квартире, и рано утром я уношу его... Ведь правда, неприятно, если ваши интимные излияния прочтет посторонний человек.

Я не понимал:

— Но ведь вы читаете их?

— Хе-хе! Это моя обязанность! Как в ваше время можно было обо всем говорить священнику, так теперь можно обо всем говорить мне... Вы можете положиться на мою скромность...

— А ключ? — заинтересовался я.

— У меня есть ключи от каждой квартиры...

Мне стало неприятно. Этот непрошенный гость может нагрязнить в любое время ночи... и что, если... Он понял мою мысль:

— Если вы не делаете ничего противозаконного, то вас это не должно беспокоить... И притом мы редко пользуемся своими правами... Вы видели, что я делал? Я вошел в коридор и дальше — ни шагу... Конечно, когда обстоятельства требуют того, — сурово добавил он, — я могу войти, и не один!

Вышел он так же тихо, как и вошел, почти не шаркая мягкими туфлями, съежившись и выставив вперед маленькую мордочку с тонкими черными усиками.

Этот незначительный случай расстроил меня. Весь день я просидел дома. Меня вызывал Витман — я сослался на нездоровье. Мне звонили некоторые из знакомых и большей частью товарищи Витмана — студенты Коммунистического университета, но я твердо решил не выходить из дома. Мне хотелось выяснить все обычаи, чтобы в дальнейшем не было никаких неожиданностей, вроде внезапного визита таинственного политрука.

В десять часов я пошел в домовый клуб, где мог увидеть почти всех жильцов дома. Они тихо дремали в своих креслах, слушая проповедь, подобную той, какую я слышал в клубе союза металлистов, испещренную ссылками на вождей революции, цитатами — а в общем даже для меня слишком элементарную и скучную.

Надо ли говорить, что в проповеднике я узнал своего непрошеного гостя? И тотчас же мне вспомнились его слова о священнике и исповеди.

«Да ведь он и есть священник!» — подумал я.

Слушать проповедь у меня не было никакой охоты. Я стал рассматривать публику и заметил, что публика занимается тем же: большинство из них смотрит на меня, кто с любопытством, кто с недоверием. Одна пожилая женщина, заме-

тив мой взгляд, не могла сдержать улыбки. Я ответил ей легким поклоном. Она расцвела и победоносно оглядела окружающих. Я понял, что она не прочь завязать со мною более близкое знакомство, и по окончании службы подошел к ней. — А ведь мы соседи, — сказала она, когда я отрекомендовался, — почему же до сих пор вы чурались нашего общества?

Я поспешил сослаться на срочную работу.

— Вы прежде всего должны были связаться с нами, — ответила она, — и через нас у вас установился бы контакт с широкими массами, населяющими наш дом.

Во мне нашлось достаточно такта, чтобы не удивиться напыщенности ее языка. Я принял приглашение провести сегодняшний вечер в ее семье.

— У нас будет тесная смычка, не правда ли? — кокетливо улыбаясь, сказала она на прощанье.

Я ответил любезным поклоном. Чтобы не забыть, отмечу: она, подобно всем женщинам, живущим в этом доме, носила коротко остриженные волосы, была несколько небрежна в costume, но зато подкрашивала губы и щеки.

## **ДЕСЯТАЯ ГЛАВА**

### **КВАРТИРА НОМЕР ДЕВЯТЬ**

В тот же вечер я поспешил воспользоваться приглашением. Вся семья была в сборе, и ждали только меня. Кроме дамы,

ее мужа — толстенького смешливого человечка, директора какой-то фабрики, и двух дочерей, были еще и гости. Признаюсь, войдя в квартиру, я почувствовал неловкость: надо сказать, что я не привык к буржуазной обстановке. Где я жил? В деревенской избе, в углу, вместе с другими рабочими, в казарме, в тюрьме, в студенческой комнате — и до сих пор нахожу, что каждое жилище из перечисленных выше, не исключая и тюрьмы, имеет свою прелесть, или, если так можно выразиться, поэзию. Но все эти виды жилищ лишены одного — буржуазного комфорта. Даже теперешняя моя квартира, обставленная хорошо, если не сказать богато, по сравнению с квартирой номер девять казалась бедной студенческой комнатой. Здесь меня поразило огромное количество тяжелых, громоздких и ненужных предметов: шкафы, буфеты, широкие диваны, стулья и стульчики, кресла и креслица, этажерки, фигурки, картины в золотых рамах, статуэтки и статуи делали эту квартиру похожей на антикварный магазин. Сходство усугублялось тем обстоятельством, что владелец этих вещей не заботился о том, чтобы выдержать какой-либо стиль: здесь были собраны предметы всевозможных эпох и стилей, и в то время как некоторые из вещей поражали меня своей неуклюжестью, другие, наоборот, ласкали взгляд изяществом и тонкостью линий.

Задавленный количеством предметов, я, вероятно, был очень неловок, так как девицы, увидев меня, переглянулись,

и одна из них шепнула что-то другой, — вероятно, весьма неодобрительное о моей особе. Моя неловкость увеличилась, я покраснел от смущения и постарался бы скрыться, если бы хозяйка не вывела меня из затруднения, предложив сесть и заняв меня разговором о погоде.

Усевшись в глубокое кресло, я имел возможность подробнее осмотреть гостиную. Я заметил, что большинство картин написаны на революционные сюжеты, причем предпочтение отдавалось героическим темам: девятое января, расстрел рабочих, еврейский погром. Статуэтки изображали рабочего с молотом или крестьянку с серпом. В углу, как и во всех квартирах, висело несколько икон, над которыми красными по золоту буквами была сделана надпись: «Ленинский уголок».

Я не знал, о чем говорить с хозяйкой. Перетрогав все темы и не найдя ни одной подходящей, я сказал, что очень рад видеть благосостояние рабочего класса и жалею, что не участвовал в революции. При этих словах я заметил, что лица хозяйки и ее дочерей странно изменились: они вытянулись, стали постными, суровыми, и водворилось неловкое молчание, после которого хозяйка, вздохнув, продолжала говорить о пустяках. Впоследствии я понял, что разговор о подобных вещах, вполне приличный в клубе, так же странен в обществе, как в наше время разговор на религиозные темы во время веселой пирушки.



В столовой нас ждали изделия Госспирта, Винсиндиката и Винторга (названия современных фирм) и обильные закуски. Языки развязались, хозяева и гости оказались весьма милыми собеседниками. Они изумительно хорошо передразнивали политрука, рассказывали пикантные анекдоты и перетряхнули все косточки каждого из жильцов огромного дома. Один этот вечер дал мне больше, чем предыдущие две недели, проведенные в автомобиле и на докладах: я был за два часа посвящен во все тайные подробности жизни этих людей, во все их интересы. Наряды, легкий флирт, борьба честолюбий, мелкая зависть и мелкая ненависть — все сохранилось в неприкосновенности, несмотря на прошедшие сорок лет и несмотря на глубокие социальные изменения.

После ужина мы играли в карты. Я тоже присоединился к обществу, узнав, что играют в преферанс: этой игре я научился в ссылке. Но каково было мое удивление, когда вместо карт я получил картонки с лозунгами и изречениями Маркса, Ленина и других вождей революции. Я растерялся и заявил, что в эти карты не умею играть.

— Пустяки, — сказал хозяин, — сейчас вы поймете.

Игра оказалась очень занимательной. Это был преферанс, но роль карт выполняли тексты из писаний отцов революции (именно так выражались мои новые знакомые). Тексты были подобраны по мастям, причем большая карта каждой масти являлась ответом на меньшую — покрывала ее и в то

же время заключала вопрос, покрываемый высшей картой. Масти соответствовали вопросам партийной программы, продвижения, диалектического марксизма, революционной тактики: вопросы менялись соответственно уровню развития играющих и располагались от самого простого — шестерка — до самого сложного — туз. Козырная масть носила название «фронт», вопросы ее именовались ударными, и она покрывала любой из предложенных вопросов.

Мне приходилось немало ломать голову, прежде чем я научился находить карту, соответствующую заданному вопросу, но скоро я привык — обращался с этими картами, как с обыкновенными.

— Отличное изобретение, — сказал один из гостей, — мы таким образом усваиваем полный курс политграмоты!

При этих словах лица моих партнеров вытянулись, минутное молчание, вздох — и игра продолжалась по-прежнему.

Я понял, что гость поступил нетактично, и только мое присутствие оправдывало его.

Надо ли говорить, что я был в восторге от этого остроумного изобретения. Игра в карты стала орудием пропаганды!

Но пропаганда пропагандой, а когда игра закончилась, мне пришлось уплатить около десяти рублей моим более счастливым партнерам. Весьма понятно, что хозяин крепко жал мою руку и приглашал заходить в любое время.

Пришел я домой около половины одиннадцатого и в первый раз, заполняя анкету, на некоторые вопросы постарался ответить как можно короче и общими словами.

«Что думал я от десяти часов вечера до одиннадцати», — значилось в анкете.

Я написал: «Думал о преимуществах нового строя над старым».

А на вопрос, что я делал в этот же промежуток времени, мною еще раньше было написано: «Играл в преферанс по маленькой».

## **ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я НАЧИНАЮ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ**

Моя книга закончена и сдана в печать. Никто больше не интересуется мной, никто не хочет слушать моих докладов и речей. Я в первый раз чувствую пустоту, ненужное время, которое так или иначе надо убить. Это было совсем новое для меня чувство: подвергаясь постоянным опасностям, в лишениях и в борьбе я никогда не скучал. Правда, приходилось скучать в тюрьме, но это совсем не то... Эта скука была совершенно новым для меня явлением — скука от пресыщения.

Но довольно, я буду излагать только факты.

Вышеописанный вечер оказался образцом для нескольких таких же вечеров. Когда мои соседи узнали, что я был в гостях в квартире номер девять, каждый пожелал пригласить

сильно меня к себе. Квартиры, и люди, и способы проведения времени были всюду одинаковы: казалось, что они боятся в чем-нибудь выказать свою оригинальность. Если в квартире номер девять на стенах висели изображения девятого января, расстрелов и погромов, то и в квартире номер десять, и в квартире номер одиннадцать можно было найти то же самое; соперничество ограничивалось только рамами, и рамы действительно были где хуже, где лучше, но всюду чрезвычайно широки, но всюду чрезвычайно блестящи. Если в квартире номер девять играли в преферанс по копейке, то можно быть уверенным, что в квартире семьдесят девять тоже играют в преферанс, но, может быть, по полкопейки. Если в квартире номер девять говорят о погоде, о кушаньях и сплетничают о соседях, то и в квартире сто девять вы не услышите иных разговоров.

Надо ли говорить, что мои новые знакомые быстро наскучили мне. Я решил бросить бесцельное хождение по гостям и заняться самообразованием — подумать только, как я отстал за эти сорок лет. И вот я в книжном магазине, я выбираю самые новые исследования по общественным вопросам, чтобы освежить и пополнить мои знания. «Опыт революции, — думаю я, — не прошел бесследно, сколько интересных мыслей, сколько новых открытий...»

Но первая же попавшаяся в мои руки книжка разочаровала меня: это была переполненная цитатами из Маркса и Ле-

нина компиляция о заработной плате. Я взялся за другую книгу — опять жестокое разочарование: снова цитаты, снова компиляция. Авторы как будто сговорились: я брал книжку за книжкой по самым разнообразным вопросам, и все они одинаково повторяли наиболее ходовые даже в наше время изречения учителей социализма. Я вспомнил Коршунова — насколько живее и интереснее умел он излагать то же самое!

За этим занятием застал меня Витман. Он пришел немного навеселе.

— Э, полно, — сказал он пренебрежительно, отбросив книги, — оставьте... Это все для маленьких детей...

Я, признаться, с большим удовольствием отбросил книги и поехал вместе с Витманом на празднование годовщины Коммунистического университета. Это учреждение, насколько я мог понять, было учреждением привилегированным: там обучались дети старых партийцев, их подготавливали на ответственные административные посты. Витман представил меня нескольким молодым людям, щегольски одетым, беспечным, пресыщенным и весьма иронически относящимся ко всему на свете.

— Они имеют за собой пять поколений истинных пролетариев! — сообщил он мне.

Но несмотря на то, что я находился в таком избранном обществе, мне было не по себе. Молодые люди разговаривали о собаках, о скачках, о женщинах — и обо всем одинако-

во, так что трудно было понять, чьи ноги они расхваливают: собачьи, лошадиные или женские. Я не принимал участия в их беседе, они тоже мало обращали внимания на мою особу. Я сердился, дулся и, признаюсь, был бы более доволен, если бы они стали расспрашивать меня о моем прошлом, выражать свое удивление и сочувствие... Но они, очевидно, успели забыть о том, кто я такой.

Вечер начался, как и полагается, молебном. Старенький политрук отчитал скучнейшую проповедь об основателе Коммунистического университета, банальнейшую, как и все проповеди на свете. Молодые люди не слушали проповедника и, правда, немного потише, продолжали свой разговор.

Общее пение «Интернационала», звонок. Открывается занавес, и начинается театральное представление. Витман объяснил мне, что пойдет живая газета.

Это было весьма интересное зрелище. Представьте себе обыкновенную сцену небольшого провинциального театра, уставленную трапециями, лестницами, обручами, барьерами и увешанную иконами. Артисты в трико под пение революционных песен выскакивают из-за кулис, взбираются на лестницы, прыгают через барьеры, ходят на руках, вертятся колесом, ходят по проволоке.

— Что это такое? — спросил я Витмана.

— Это иностранные державы хотят погубить нашу республику, — ответил Витман.

Я ничего не понял из этого ответа и продолжал смотреть. Артисты кувыркались все энергичнее и энергичнее, их движения становились быстрее и быстрее. И вот, наконец, задняя часть сцены осветилась ярким красным огнем. Артисты завyli. Огонь разгорается все ярче и ярче. Артисты стараются спрятаться, залезают в люки, в суфлерскую будку, взбираются на потолок и ходят по потолку вниз головой.

И вот — на задней стене образ женщины с ярко горящим факелом в правой руке и звездой на лбу. За ней новая толпа артистов, хор исполняет «Интернационал».

— Это наша республика, — сказал Витман.

Женщина на переднем плане сцены. Звуки органа. Откуда-то появившийся священник произносит громогласную проповедь, достоинство которой в том, что она коротка, — и занавес.

Мне понравилась эта смесь циркового представления с церковной службой, и я не преминул осведомить об этом Витмана.

— Это же обычное вечернее представление в наших клубах, — ответил он, — неужели вы ни разу не видели?

Я должен был признаться, что по вечерам ни разу не посещал клуб. И хорошо: это же самое зрелище видеть каждый день. Как осточертеет оно!

Конечно, последнюю мысль я сохранил при себе: мало ли что мог подумать после этого Витман?

Вечер закончился ужином.

Это был лучший из ужинов, какие только бывают на свете: тропическая зелень и фрукты, дорогие иностранные вина, какие-то безобразнейшие раки и улитки, к которым противно было прикоснуться. Мои знакомые уничтожали этих раков и улиток с большим аппетитом, я, наоборот, искал на столе что-нибудь более вкусное и питательное и налег на обыкновенную ветчину.

За столом прислуживало несколько лакеев, очень предупредительно ухаживавших за гостями. Я обратил внимание на их лица — бесстрастные, спокойные, но с затаенной скорбью, а может быть, и ненавистью в полуопущенных глазах. Мне стало не по себе.

Выпив стакана два шампанского, я пустился в философию: я доказывал своему соседу, что бедняги уже отработали свои два часа, и надо же наконец дать им отдых. Витман отодвигался от меня и со смущенной улыбкой отвечал, что они в этот вечер отработают за две недели. Но мой сосед справа оказался более откровенным.

— Нам, чистокровным пролетариям, нет дела до предпринимателей, обогащавшихся нашим потом-кровью, — заявил он.

Я начал философствовать о поте и крови, но мне налили один за другим два бокала очень крепкого вина, и я не мог больше пошевелить языком.



Как во сне помню: поездка в автомобиле, раскрашенные женщины, разбитая посуда, голый Витман, танцующий на краешке стола. Было все это или нет, я не мог бы утверждать под присягой — до такой степени смутно помню я происшедшее в эту ночь. Дело, конечно, в свойствах вина.

Я очнулся на другой день с головной болью, скверным вкусом во рту и смутной тяжестью. Только постепенно стали вырисовываться в моем представлении отдельные моменты: ресторан, растрепанные физиономии соседей, я произношу тост, я говорю речь — и насмешливо-скорбное лицо лакея, наклоненное надо мной с вежливым вопросом.

«Вот! — подумал я. — Здесь есть какое-то...»

Но мысль тотчас же убежала от меня, и я снова заснул.

## **ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Утром опять явился Витман, справлялся о моем здоровье, и мы поехали доканчивать вчерашний ужин. Выпив вина, я развесялился и, вспомнив неловкое выступление, стал подражать в разговоре и отношении к вещам своим новым знакомым: так же безапелляционно высказывал суждения о женских ножках, собаках и лошадях, так же грубо обращался с лакеями и пытался безумными выходками затмить самого Витмана.

Вспоминать эту полосу жизни теперь мне всего более неприятно. Золотая молодежь пролетарского общества, бес-

печная, самовлюбленная, порочная, ничем не отличалась от молодежи буржуазно-дворянской. Ночные кутежи, цыгане, женщины, издевательства над цыганами и женщинами — и притом полная уверенность в своей правоте, полное отсутствие хотя бы проблеска сознания, что так жить нельзя...

И я жил так, я во всем этом участвовал...

А что мне оставалось делать? Работы никакой, жизненные блага сваливались мне на голову неизвестно откуда и неизвестно за что, общественная работа больше не нужна, бороться не с кем, в клубах — скучные проповеди днем и ежедневная живая газета вечером, газета, наполненная всегда одним и тем же материалом... Книги — но я уже говорил, что это были за книги! Но я все-таки не мог удержаться от того, чтобы, проходя мимо магазина, не захватить с собой какую-либо новинку. И что же? Эта новинка оказывалась читаной-перечитаной. Стихи, рассказы, романы, повести — все было наполнено доказательством одной несложной мысли, что мы живем в самом хорошем государстве, что мы счастливы, что все хорошо... Тенденциозность насквозь пропитывала каждую вещь, и после прочтения десятка книжек мне стало тошно смотреть даже на обложки — чрезвычайно красивые обложки, сделанные лучшими художниками.

Когда я сказал Витману, что не могу читать современных книг, он с обычным для него цинизмом ответил:

— Только круглые идиоты читают теперь книги. Порядочные люди любят обложки.

И у него самого в кабинете была полка, заставленная неразрезанными книгами в самых лучших обложках.

Театр.

Мои товарищи смотрели только балет. Я не любил и не понимал балета, я мало любил оперу, а на драму, опять-таки, можно было только взглянуть.

Как ни пытались авторы и режиссеры разнообразить свои сюжеты и постановки — брали темы из индийской, китайской, египетской жизни и из жизни каменного века, но все пьесы и все постановки были похожи одна на другую: буржуи египетские, с папирусами и зонтами, буржуа китайские, буржуи каменного века — голые с каменными топорами — притесняли рабочих, которые восставали и в последнем акте пели «Интернационал». Целые вечера посвящать выслушиванию подобных пьес — это значило обречь себя на неслыханную пытку. Единственно, что было интересно в драме, — декорация, но и ее пестрота очень скоро надоедала.

Что же оставалось делать мне, привыкшему к неустанной работе, рассчитывавшему часы и минуты каждого дня своей жизни?

Пьянство, кутежи, цыгане, женщины...

Надо было произойти чему-то исключительному, чтобы я снова мог встать на правильный путь. И это исключительное событие не замедлило произойти.

Толчком послужило обычное в этом обществе явление. Однажды после сытного ужина в квартире номер девять я не сел играть в карты, а остался с мамашей и ее дочерьми. После ничего не значащего разговора мамаша пожелала вести беседу о моей особе.

— Вам, вероятно, скучно одному? — спросила она.

Я сознался, что не знаю, куда употребить излишек свободного времени.

— О, все дело в том, что вы одиноки, — ответила она. — И вы ведете неправильную жизнь, я должна это сказать вам, как молодому человеку...

— Я старше вас, — напомнил я ей, — по паспорту мне шестьдесят шесть лет.

— Что вы говорите! Вы еще молоды, вам нельзя дать больше тридцати. Вам нужно подумать о том, чтобы найти себе женщину...

Я смутился.

— Полноте, — сказала она, — мы судим об этих вещах очень просто. Вам необходимо удовлетворять половую потребность, а у меня есть дочь, которая нуждается в том же...

Я взглянул на одну из ее дочерей, но та нисколько не смутилась.

— Ах, я и забыла, что вы полны буржуазных предрассудков, — сказала дама, заметив мое смущение, — вы думаете о любви, вы хотите романтики, но ведь все это отрывок чу-

ждой нашему классу идеологии... Мы смотрим на дело проще и хотим поделиться с вами тем, что имеем в избытке...

Она опять показала на дочерей.

— Хорошо, я подумаю, — ответил я, краснея как вареный рак. Я почувствовал, что готов провалиться от стыда — не за себя, нет, но за эту женщину и за ее дочерей.

Дама просто приняла мой ответ и тотчас же перешла на пустяки.

Что же? Согласиться на бесцеремонное предложение? Если стоять на точке зрения существующего порядка — да. Но я не согласился.

За картами — я имел достаточно такта, чтобы не уйти тотчас же — я спросил своего партнера:

— Вы были когда-нибудь влюблены?

— О нет, — ответил он, — нам нет дела до этого. События развертываются так быстро, так много активности в нашем обществе, что нам некогда заниматься психологической пачкотней...

По его торжествующей физиономии я понял, что он произнес самую длинную и самую трудную цитату, какую ему когда-либо приходилось произносить.

Кстати — привычка к цитатам. Меня сначала удивляло, что все мои знакомые не могут слова сказать без цитат, и только потом я убедился, что это особый способ мышления, вероятно, внедренный воспитанием в головы моих но-

вых современников. Меня коробило только одно — малое соответствие этих цитат действительному положению дел. Ну какие, скажите, события могут быстро развертываться в жизни моего собеседника, половину своего времени проводящего за картами, а другую половину позевывающего и плюющего в потолок?

Дома у меня было достаточно времени для размышлений. Конечно, надо серьезно отнестись к предложению. В этом обществе никогда не шутили и не умели шутить. Юмор был вытравлен из них — они все были серьезны, как индюки. Что же? Соединить свою жизнь с судьбой деревянной девицы, бренчащей на фортепьяно и знающей десяток-другой цитат из произведений отцов революции; разжиреть, играть по вечерам в карты, ходить в клуб, вздыхать, когда кто-либо в моем присутствии назовет одно из сакраментальных имен или упомянет о революции? Нет, я не могу пойти на это!

Вести образ жизни каплуна и говорить, что активность мешает мне заниматься психологической пачкотней? Удовлетворять половую потребность?

Лежа на кровати, я закрыл глаза ладонью, и вот мне представилась студенческая комната, белокурая девушка, отчаянно спорящая о преимуществах свободной любви... Да, любви...

И с необычайной яркостью — другая картина: у дверей моего дома такая же белокурая девушка, милая, нежная,

несчастливая... Она отвернулась от меня, чтобы скрыть свои слезы.

Я быстро вскочил с кровати и хлопнул себя по лбу: а ведь я мерзавец! Я обещал вернуть этой девушке ее вещи — и что же? Я забыл! Быстрый темп моей жизни помешал мне вспомнить о ней — как сказали бы мои знакомые...

Небольших трудов стоило мне узнать в домкоме адрес прежней жилицы и собраться к ней. Для первого раза я захватил с собой пачку книг: этого никто не заметит, а там, по-немножку, я перенесу и остальные вещи.

Для меня это было тем более просто, что в большинстве вещей я не нуждался совсем.

## **ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **ЕЕ ЗОВУТ МЭРИ**

Ехать пришлось на Выборгскую сторону. Я не заглядывал в эту часть города с тех пор, как меня постигла странная перемена судьбы, — и вот теперь, как в смутном сне, припомнилось мне мое первое путешествие. И припоминались еще какие-то стертые образы. Стоило только мне увидеть закопченный корпус фабрики Эриксона, насыпь Финляндской дороги, станцию на возвышении невдалеке, как я вспомнил то роливо пыхтящий паровозик, себя на империале, пышущий пламенем завод Лесснера — и мной овладело беспокойство, подобное тому, какое испытывает человек, преследуемый

тайной полицией. Нужен был сильный волевой нажим, чтобы перенести себя в новый мир, где, как я знал, тайной полиции не существовало. Конечно, теперь никто не следит за мной, хозяином жизни. Я выпрямлялся, победоносно оглядывался по сторонам, но странно: в плечах у меня оставалось чувство преследуемого человека.

Мой автомобиль пролетел под мостом Финляндской дороги, повернул к Лесному парку и остановился у небольшого деревянного домика на углу Болотной и Песочной улиц. Место это было памятно мне по моей прежней жизни, и с тех пор оно мало изменилось, только значительно постарело и вылиняло. Я прошел заросшим жидкой травой двором, по которому теперь, как и прежде, разгуливали бродячие собаки, и постучал в окно.

Мне открыла она сама, пригласила войти, но смотрела на меня с недоверием и односложно отвечала на мои вопросы. Я тоже не знал, о чем говорить, и, как мне показалось, очень глупо улыбаясь, осматривал обстановку.

И было чего осматривать мне, привыкшему к роскоши пролетарских семейств, живущих в центре города. Обстановка была бедна до крайности: поломанный стул, две простых табуретки, деревянная кровать, этажерочка, сделанная самой хозяйкой из досок и обтянутая дешевой материей, — как остро воспринималась мною эта бедность! Но странно — по мере того как я привыкал к этой обстановке, она станови-



лась мне все милее и милее. Вспоминались какие-то забытые давным-давно запахи, и чем-то теплым это воспоминание пронизывало все мое существо...

Да ведь эта комната так похожа на те комнаты, в которых я жил, когда передышка позволяла мне обзавестись собственной квартирой!

— Я принес вам книги, — сказал я, когда первое смущение прошло, и положил на стол толстую связку.

Я заметил, что глаза девушки заблестели, но тотчас же поблекли, и она с прежней недоверчивостью смотрела на меня.

— Я перенесу и остальное, — поспешил добавить я, — ведь я же дал слово...

Несколько пустых фраз, несколько минут молчания, и, не помню как, только через полчаса мы уже разговаривали как старые знакомые. Разговорились мы как раз о книгах. Она сказала мне, что именно эти книги, случайно захваченные мною сегодня, для нее всего дороже. Я не одобрял ее восхищения.

— Это — буржуазная поэзия, — сказал я.

Она на секунду смутилась, но потом стала смело отстаивать свою точку зрения. Я доказывал свое. Я всегда был сторонником гражданских мотивов.

В пылу спора я воспользовался следующим аргументом:

— Разве гражданская поэзия не сыграла своей роли в той великой борьбе, которая закончилась победоносной революцией?

При этих словах глаза моей собеседницы поблекли. Я в недоумении смотрел на нее:

— Разве я вас чем-нибудь обидел?

— Не говорите, пожалуйста, об этом, — насилу выдавила она.

Только тут я воочию убедился, какая пропасть разделяет нас.

Я совсем забыл, что она принадлежит к буржуазному классу и не может сочувствовать революции.

Если не считать этой маленькой заминки, все остальное было великолепно. Да и так ли глубока эта пропасть, думал я, разве в наше время молодые люди из буржуазного класса не становились хорошими революционерами, преданными, самоотверженными?.. Почему бы не сделать из этой девушки не врага, а друга? Да и вся она, худенькая, с большими мягкими глазами и мягкими движениями, не вязалась в моем представлении с понятием классового врага.

— Может быть, пройдемся по парку? — предложил я.

Мы пошли. Были ночь. Мелкие капли дождя скатывались с деревьев. Мы шли по мягкому песку, то и дело наступая на еще более мягкую траву. Она молчала. Мне тоже не хотелось говорить, но я чувствовал себя превосходно.

— Не правда ли, хорошая прогулка? — спросил я, когда мы снова оказались около ее дома.

Она наклонила голову в знак согласия. Я сказал:

— Ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут.

Она смутилась, опустила глаза:

— Можете называть меня так, как называют друзья. Меня зовут Мэри.

При звуках этого имени у меня сжалось сердце. Я долго не мог выпустить ее руки из своей и, вероятно, очень глупыми глазами смотрел на нее, потому что она улыбнулась и немного резко сказала:

— Ну что ж. Вам пора.

Но если к этому прибавить, что она пригласила меня прийти и в другой раз, то вы поймете, как я был счастлив в этот вечер.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, мысленно продолжая разговор с Мэри и убеждая ее в правоте своих взглядов. Увидев заготовленную политруком анкету, я не замедлил заполнить ее, ни словом, однако, не упоминая о моей прогулке в Лесном.

Во сне я видел ее глаза и мокрые тропинки Лесного парка.

## **ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я ПЕРЕЖИВАЮ НЕПРИЯТНЫЕ МИНУТЫ**

Следующий день начался неприятным предзнаменованием: когда я выходил к завтраку, навстречу мне попался политрук. Он пробирался наверх, по обыкновению вытянув вперед голову, словно обнюхивая лестницу. Унюхав меня, он ехидно улыбнулся и почти не ответил на мое приветствие.

В столовой я заметил такие же взгляды и улыбки со стороны совершенно незнакомых людей. Это заставило меня быть более непринужденным, чем когда-либо, я нарочно громко говорил, задавал соседям ненужные вопросы. Отвечали мне неохотно, сторонились меня, как зараженного. Я не понимал, что это значит, но мне все-таки было не по себе.

Часам к двенадцати дня приехал Витман. Он был чем-то озабочен и смотрел на меня с сожалением. Я не понимал ни его озабоченности, ни его взглядов, а он долго не мог начать разговора и начал его издали.

— Поверьте мне, — сказал он, — я ваш первый и лучший друг.

Я ответил, что никогда не сомневался в искренности его дружеских чувств.

— А вы подводите меня, — с упреком сказал он,

Я выразил неподдельное изумление. Витман поднял на меня бесстрастные глаза.

— Вы ничего не знаете? — спросил он. — Вы не знаете, что нарушили один из важнейших законов нашей республики?

— Что вы говорите? Какой закон?

Я искренно не знал за собой никакой вины.

— А ваше знакомство с классовыми врагами?

— Какими врагами?

В первую минуту я не понял, на что намекает Витман.

— Не притворяйтесь, — оборвал он, — вспомните лучше, где вы были вчера вечером!

Я невольно покраснел. Витман победоносно посмотрел на меня сквозь монокль.

— Ну и что же из того? — сухо возразил я.

— Вы не должны больше этого делать, — сурово ответил он.

Меня взорвало:

— Вы мне запретите?

«Жидкая мразь, да я растопчу тебя в одну минуту», — думал я. Меня возмутило вмешательство постороннего человека в мою личную жизнь. И потом — откуда он узнал об этом? Следил, что ли?

Он понял мое настроение:

— Да, я имею право запретить вам. И мне, именно как вашему ближайшему другу, поручено сообщить об этом.

Он сильно напирал на слово «поручено».

«Вот как, — подумал я, — кто-то уже успел обсудить мое поведение и вынести приговор!»

Все это по весьма понятным причинам только раздражало меня.

— А мне плевать на ваше запрещение! — грубо ответил я.

Я думал, что он ответит еще большей грубостью — такие разговоры не были редкостью среди подпольных работников в царское время. И тогда товарищи следили друг за другом и останавливали друг друга, если казалось, что один из них делает ложный шаг. Но тогда шла упорная борьба. Этой борьбе мы должны были отдавать все свои силы, без остатка, — а теперь?

Но мое воодушевление снова пропало даром. Витман не ответил на мою грубость. Вместо этого он вынул из кармана записную книжечку, сделал в ней какую-то отметку и просто сказал:

— А теперь пойдете в клуб. Я выполнил свою обязанность и больше не возвращусь к этому вопросу.

Его хладнокровие до того поразило меня, что я подчинился беспрекословно. Я пошел в клуб, выслушал скучнейшую проповедь, подошел после обедни к даме из девятого номера. Та смотрела на меня с сочувствием — она, вероятно, тоже знала, что я совершил нехороший поступок, но не осуждала, как другие, а жалела меня.

«Вот видите, — как будто говорила она, — до чего доводит одиночество». Я ждал продолжения не оконченного в прошлое свидание разговора и не ошибся.

— А вы подумали о моем предложении? — улыбаясь, сказала она. — Вы обещали подумать...

Я вспомнил деревянную девицу, и этот образ теперь внушил мне еще большее отвращение.

— Нет, — сухо ответил я.

Дама тотчас же оставила меня и, сохраняя ту же приветливую улыбку, стала разговаривать с другими. Я понял, что совершил большую тактическую ошибку: надо было ответить помягче, надо было оттянуть ответ, но вы знаете мое настроение и поймете, что отнестись к этому повторному предложению иначе я не мог.

Я нажил себе врага. Но я в тот момент не жалел об этом так, как жалею теперь; в ту минуту мне хотелось даже сказать этой даме что-нибудь весьма оскорбительное, мне хотелось выругаться, наконец... Каша в голове была чрезвычайная — хуже, чем после похмелья.

И с тем большим нетерпением я дожидался вечера. К ожиданию радостной для меня встречи присоединялось желание вырваться из насыщенной подозрительностью и чуждой мне атмосферы.

Но до вечера было не близко. Поневоле мне пришлось провести весь день с Витманом, который видел мою нервозность, но как будто не замечал ее. Меня злила его невозмутимость и уверенность в своей правоте, меня злило, что он смотрит на меня как на взбалмошного ребенка.

Может быть, теперь мне понятно, что я и был таким в глазах людей, насквозь проникнутых сознанием своей правоты и важности исполняемых ими обрядов, но тогда я не понимал этого. Я сделал еще ряд тактических ошибок: пробовал начать спор с Витманом по поводу какой-то газетной статьи, но он недоумевающе взглянул на меня и что-то записал в книжечку. Книжечка эта стала раздражать меня.

— Что вы записываете? — спросил я.

— Так, — неопределенно ответил Витман, — вспоминаю некоторые дела...

Я был очень рад, когда развязался с этим человеком, и тотчас же стал готовиться к вечернему визиту. Я связал большую пачку книг и хотел уже потребовать автомобиль, но рассчитал, что приеду слишком рано.

— А не пойти ли пешком?

Через пять минут я был уверен, что надо идти пешком. Откуда весь дом узнал о моем путешествии? Ясно, что наболтал шофер. Может быть, он так же, как и я, заполняет анкету, и на вопрос, что он делал в такой-то промежуток времени, он ответил: возил меня в Лесной.

Я выйду из дома пешком, а на Выборгской сяду на трамвай или возьму извозчика.

Но извозчик, встреченный мною на Финляндском проспекте, отказался везти. Он был прикреплен к определенному дому. На трамвай меня не пустили:

— А у вас есть билет?

— Я могу купить.

Кондуктор засмеялся и дернул звонок. Трамвай показал мне хвост, и я отправился пешком в такую даль, и притом с тяжелой ношей за плечами. Но пока я шел, я не думал о дальнем пути и о тяжелой ноше, я думал только о предстоящем свидании.



## **ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ЧТО-ЛИБО ПОНИМАТЬ**

Это была первая прогулка по городу после рокового дня моего пробуждения. Идя через всю Выборгскую сторону пешком, я старался идти тем же самым путем, каким шел тогда. Противоречие между первым впечатлением и рассказами моих новых знакомых время от времени мучило меня, и мне хотелось проверить. Надо сказать, что мое первое впечатление оказалось более верным.

Чем дальше входил я в глубь рабочих кварталов, тем ощутимее была бедность, поразившая меня во время первого путешествия. Нищих здесь было еще больше, чем в центре, — нищих молчаливых, скромных, но от того еще более жалких. Неужели так много людей не попало на зубья усовершенствованной государственной машины? — вспомнил я объяснение Витмана. Но тогда надо сделать какую-то проверку...

У ворот завода толпились изможденные усталые рабочие.

Неужели двухчасовая работа так утомительна?

Все эти наблюдения и мысли разрушали представление о легкой, веселой, хотя и несколько однообразной жизни граждан государства, заменившего царскую Российскую империю. В довершение всего, дойдя до дома Мэри, я узнал от ее матери, что Мэри еще не вернулась с работы.

— А когда она ушла?

— С утра. Она возвращается в пять, но, наверное, осталась на сверхурочные.

Это окончательно добило меня. Я готов был хлопнуть себя по лбу и сказать:

— Эх, дурак, дурак! Эх ты, тупая скотина!

Я поспорил с ней целый вечер о каких-то пустяках и не догадался спросить, где она работает, сколько времени, сколько зарабатывает... Может быть, она нуждается в помощи?

Я присел на скамейку во дворе и не скоро дождался ее. Пришла она в простеньком ситцевом платье, у нее было утомленное измученное лицо.

— Я принес вам книги, — начал я.

— Благодарю вас, — равнодушно ответила она и попросила подождать, пока переоденется. Я с нетерпением ждал ее. Я чувствовал, что сегодняшний вечер даст мне больше, чем два года жизни в том кругу, который я должен считать своим кругом.

Я не ошибся. Каждое ее слово было для меня целым откровением. Я слушал ее с раскрытыми от удивления глазами: такой контраст со всеми внушенными мне представлениями!

Я узнал, что после выселения она некоторое время зарабатывала шитьем на дому, но низкая плата и налог на роскошь заставили ее бросить это занятие и искать работы на фабрике.

— А что вы делали прежде?

Оказалось, она училась в художественной школе и делала большие успехи в живописи. Остался один год, ког-

да ее постигло несчастье: она познакомилась с одним студентом Коммунистического университета, по ее описанию, чрезвычайно похожим на Витмана, если не с самим Витманом. Студенту этому она очень понравилась, он начал ухаживать за нею, сначала робко, потом все настойчивее и настойчивее.

— Вы понимаете, он был так груб, — почти в слезах произнесла Мэри.

Я понимал ее. Если преклонного возраста дама могла так грубо предложить мне свою дочь, то чего ждать от молодого человека, да притом из того круга общества, который я поневоле отлично знал. Ведь они на моих глазах обращались с женщинами как со скотом! А здесь — девушка из буржуазной семьи, воспитанная на старых книгах... Она, наверное, не считала любовь глупым предрассудком...

— Он был противен мне. Я запретила ему показываться мне на глаза.

Что же он сделал? Он стал следить за ней, окольными путями он стал выяснять подробности ее родословной, и ему удалось доказать, что ее дед был офицером царской армии.

Мне непонятно, но Мэри понимала, что иначе и не могло быть — она была исключена из училища за буржуазное происхождение и выслена из квартиры.

После долгих мытарств и голодовки она получила работу в золотошвейной мастерской, где вышивает флаги и портре-

ты вождей. Работа эта очень тяжелая и плохо оплачивается: чтобы платить за квартиру и прокормить мать, приходится работать по шестнадцать часов в сутки.

— А двухчасовой день? — удивился я.

— Двухчасовой день — для рабочих, а я не принадлежу к этому классу.

Мне осталось только руками развести. Еще больше удивило меня то, что за нищенскую квартирку ей приходится платить две трети заработка.

— Ведь это самый дешевый район!

— Теперь это ничего не значит. Я плачу по ставкам, установленным для буржуазии. И кроме того, — моя квартира на три аршина больше установленной жилищной нормы...

Понятие жилищной нормы опять-таки оказалось недоступным для меня.

— Но ведь вы работаете на фабрике, у вас есть союз...

— Союз! Я — буржуйка и не могу пользоваться правами члена союза. Я плачу в союз десять процентов заработка, но ничего от него не получаю.

Я хотел получить более подробные сведения о тех удивительных порядках, которые установились в этом лучшем из государств, но мне помешали гости: молодой человек, отрекомендовавшийся поэтом, и старик, которого Мэри назвала философом.

— Это представители среднего класса, — шепнула она.

Я не понял, что это значит, но расспрашивать при них было неудобно.

У поэта был тонкий профиль, тонкие узкие руки, фигура философа была несколько мужиковата. Широкая седая борода, толстый нос и небольшие серые глазки делали его похожим на Толстого. Если бы не слишком гладко зачесанные волосы на висках и скользкая улыбка, я принял бы его за вставшего из могилы яснополянского мудреца.

На меня эти люди не обратили внимания. Я посидел минут пять и счел за лучшее ретироваться. По дороге я раздумывал о тех открытиях, которые сделал в этот вечер.

Завтра же пойти к Витману и узнать все!

Занятый размышлениями, я не заметил даже, что брошюра, написанная мною по заказу верховного совета государства, уже отпечатана и лежит на моем столе.

## **ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я РАЗГОВАРИВАЮ С ЦЕНЗОРОМ**

Судьбе угодно было поразить меня еще одним испытанием. Проснувшись, я взялся по привычке за газету и в отделе «Рабочая жизнь» с удивлением увидел свою фамилию.

Заметка называлась: «Клеймим презрением изменников общего дела».

«Нужно было рабочему классу сорок лет страдать под красным знаменем, чтобы отдельные субъекты, позорящие

имя честного пролетария, забывали свой классовый долг и изменяли делу мировой революции, как (здесь стояло мое имя). Означенный дезертир и предатель...»

Я не буду повторять тех грязных слов, которыми обзывал меня неизвестный автор заметки, скрывшийся под псевдонимом «рабкор Шило». Скажу только, что я обвинялся в сношениях с лицами, стоящими по ту сторону баррикады, и неведомый автор высказывал предположение, что целью моих посещений является контрреволюционное выступление. «Гепеу, где же ты?» — так кончалась заметка.

Меня интересовало одно: кто следит за мной? Кто ходит за мной по пятам и доносит о каждом моем шаге? В первый раз я подумал на шофера — но ведь я шел пешком.

Тайная полиция?

При этой мысли кровь в моих жилах похолодела.

Я ходил из угла в угол по своей уютной комнатке, и эта комната казалась мне звериной клеткой. Мое возбуждение искало выхода, и этот выход скоро нашелся: нечаянно зацепив за стол, я уронил что-то. Смотрю, а это только что отпечатанная брошюра «Сорок лет назад», написанная мною по заказу верховного совета. Книга отвлекла меня от мысли о незримых доносчиках.

Если читатель вспомнит, что моим намерением было реабилитировать себя, что брошюра заменяла опровержение газетной статьи, распространившей обо мне самые чудо-

вищные слухи, то будет понятно, с каким нетерпением разрезал я ее листы, с какой жадностью принялся я перечитывать свою работу.

Первая страница, точно, принадлежала мне, и я с удовольствием прочел ее. Но дальше! Дальше кто-то, очень хорошо подделавшийся под мой слог, рассказывал самые невероятные вещи, повторяя все те сказки, которые рассказывали обо мне газеты.

Чаша терпения была переполнена, Я торопливо оделся и, не позавтракав, отправился в то учреждение, которому сдал свою книгу. Я набросился на заведующего чуть ли не с ругательствами, но он хладнокровно ответил, что его функция только передаточная. Он даже не читал моей брошюры, а передал в другой отдел. Этот другой отдел заявил мне, что его функция — исправление грамматических ошибок, а за дальнейшее он не отвечает. Третий отдел передал книгу какому-то рецензенту, тот — другому рецензенту, — и только побывав в двадцати двух учреждениях и объездив весь город, я нашел виновного. Это был главный цензор государства. Я немедленно отправился к цензору.

Он принял меня очень приветливо. Высокий, с длинными белокурыми волосами, с широким раздвоенным носом, без всякой растительности на лице, покрытом прозрачной кожей, с ехидно улыбающимися глазками, он напоминал одновременно и провинциального поэта из неудачников,

и старую архивную крысу, если возможно такое противоестественное сочетание.

— Что вы скажете? — ласково произнес он, приветливо поздоровавшись со мной.

Я был взволнован и довольно несвязно изложил суть дела. Цензор слушал и покровительственно улыбался.

— Ну и что же? — спросил он, когда я окончил свою речь.

— Я хочу знать, кто написал такую чепуху и зачем она выпущена в свет под моим именем.

Цензор выразил притворное удивление:

— Что вы? Что вы? Если бы я не знал, с кем имею дело, я мог бы принять вас за представителя враждебного класса. Вы говорите такие вещи, что всякий другой на моем месте привлек бы вас к ответственности за контрреволюционное выступление...

Я смутился.

— Но ведь я же не писал этого... Ведь эта книжка — наглая ложь.

Цензор принял торжественный тон:

— Я думаю, что вас кто-то ввел в заблуждение. Изменения были сделаны цензурой, а цензура есть орган пролетарского государства, и, как таковой, она не может лгать...

Этого я не ожидал. Минутное замешательство — и целый ворох мыслей заполнил мою уставшую от всяческих сюрпризов голову. Разве может цензура изменять смысл представ-



ленной ей книги? Разве она имеет право до такой степени уродовать мою мысль? Пусть она вычеркнет то, что не нравится ей, пусть она запретит всю книгу, но так переделывать!.. И потом — разве в социалистическом обществе может существовать цензура?

Все это я изложил цензору в несвязных и путаных выражениях. Но, по-видимому, ему не в первый раз приходилось вести такие разговоры, он только плотнее уселся в своем кресле и прочел мне целую лекцию.

— Да, конечно, — говорил он, — в социалистическом обществе цензура не нужна. Но поскольку у нас еще сохранилась буржуазия, мы не можем дать и ей полную свободу печати. Мы должны следить за тем, чтобы буржуазная идеология не проникла в нашу печать.

— Но ведь вся печать в наших руках, — возразил я.

— Ничего не значит: буржуазия хитра. Вот хотя бы ваша книга. Вы — настоящий пролетарий, вы имеете почти пятидесятилетний стаж, а ваша книга насквозь проникнута буржуазной идеологией. Она восхваляла старый строй.

Я чуть не вскочил со стула:

— Восхваляла? Старый подпольщик, гнивший в тюрьмах, еле спасшийся от виселицы, — я мог восхвалять старый строй! Мне казалось, что я уничтожал этот ненавистный мне строй каждым словом, каждой запятой своей книги. И вот является цензура и уничтожает весь мой труд...

— Не уничтожает, а исправляет, — поправил меня цензор. — Наше отличие от старой цензуры в том, что мы ничего не запрещаем. Мы выпускаем все, что нам представляет издательство...

— Для того ли мы боролись за свободу печати, — продолжал я, не слушая цензора.

— Вы боролись, и вы добились свободы печати, — прервал меня цензор. — Для революционных произведений у нас полная свобода печати, а ваше — контрреволюционное...

Меня возмутил последний аргумент:

— Но ведь это хуже, чем при старом режиме! — закричал я.

— Не хуже, а лучше, — спокойно поправил цензор, — у нас все лучше, в том числе и цензура.

Переспорить его не было никакой возможности. Я чувствовал, что он и я — люди двух разных миров, мое мышление чуждо и непонятно ему. Я переменял тон.

— Возможно, — сказал я, — виновата моя отсталость. Может быть, вы подробнее познакомите меня с вашей системой?

Он был настолько любезен, что дал подробные объяснения.

Свобода печати существует. Каждый рабочий имеет право писать в газеты обо всех злоупотреблениях, обо всех замеченных им недочетах. Каждый рабочий имеет право написать любого содержания книгу и сдать ее в печать. Но для выпуска книги в продажу существуют некоторые, вынужденные необходимостью, ограничения — и вот тут-то приходит

на помощь рабочему писателю главный цензурный комитет. Не желая лишить каждого права свободно высказаться в печати, он исправляет идеологическую сторону представленной в цензуру книги.

— Ведь это не запрещение, как практиковалось у вас, а помощь автору, который делает ошибку по незнанию или по неумению высказываться.

Каждая рукопись поступала в особый отдел, где специалисты умело перерабатывали рукопись, достигая кристально ясной идеологии. В результате ничто действительно ценное не пропадало, всякое изобретение использовалось, а идеология не страдала нисколько.

— Но каково положение авторов? — спросил я. — Получить книгу и прочесть в ней черт знает что!

Цензор удивился моему непониманию:

— Авторы довольны! Ведь мы им платим высокий гонорар.

Только теперь я понял, почему так скучны и нудны все книги, которые мне пришлось прочесть; я понял, почему они все так бездарно пережевывают одни и те же навязшие в зубах истины, истины, известные даже мне, человеку другой эпохи.

Называть это свободой печати!

Во мне кипело негодование, я способен был броситься на кого-то с кулаками, рвать и метать, но все эти чувства должны были одиноко перекипеть в моей душе. Кому я скажу о них? Кто поймет меня?

Я первый раз пожалел о том, что не остался спокойно спать в своей могиле...

## **СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я НАЧИНАЮ ПОНИМАТЬ**

Вернувшись от цензора, я узнал, что меня вызывают в ячейку — это орган надзора и руководства, имевшийся в каждом доме и в каждом учреждении. В ячейке меня встретил политрук и мягким движением руки предложил мне сесть.

— На вас поступил целый ряд жалоб, — сказал он. — Во-первых, — он загнул один очень длинный и искривленный палец, — вы продолжаете сношения с нашими классовыми врагами, что равносильно государственной измене. Во-вторых, — он загнул второй такой же длинный и искривленный палец, — вы оскорбили человека, сделавшего вам первое предупреждение. В-третьих, вы два дня не заполняли анкету, следовательно, эти два дня делали и думали такие вещи, о которых не можете сказать своему руководителю. В-четвертых, вы произносили контрреволюционные речи в одном из государственных учреждений, о чем мне только что донес главный цензор государства...

Он перечислял мои преступления, методически загибая пальцы и не глядя в мои глаза. Я молча выслушал его речь и, поднявшись с кресла, спросил:

— Ну так что же? Вы посадите меня в тюрьму?

Плавным движением руки он снова усадил меня в кресло: — Нисколько. Мы обсудили ваше поведение и нашли вас идеологически неменяемым...

— Так вы запрячете меня в сумасшедший дом? — продолжал я.

Мне во что бы то ни стало хотелось как-нибудь оскорбить этого невозмутимого человека. Но он разговаривал со мной как с маленьким ребенком.

— Вы опять не поняли меня. Скажите, пожалуйста, вы сдавали когда-нибудь экзамен по политграмоте?

Мне пришлось сознаться, что я не только не сдавал экзамена по этой науке, но даже не прочел учебника, полагая, что эта книга не даст мне ничего нового.

— Ну так вот. Вы не получили самого элементарного образования, необходимого для каждого, и поэтому вы допустили ряд непозволительных промахов. Мы вполне оправдали вас, но с одним условием — вы должны прослушать полный курс политграмоты, сдать экзамен, а до того вы не будете появляться в обществе, чтобы не наделать более грубых ошибок.

— Что же это? Домашний арест? — спросил я.

— Нет, это временная изоляция.

О словах спорить не приходилось. Изоляция или арест, но я должен сидеть дома и зубрить какую-то политграмоту — не подчиниться этому постановлению я не мог. Не забыв, ко-

нечно, уведомить Мэри о том, что со мной произошло, я принялся за работу.

Меня посадили в самую низшую группу, рядом с детьми в возрасте от десяти до двенадцати лет, мне дали потрепанный, испещренный детской мазней учебник, мне задавали уроки «от сих до сих», совершенно не принимая в расчет ни моего возраста, ни уровня моего развития.

Получив книжку, я не замедлил прочесть ее от крышки до крышки в первый же вечер. Это была небольшая брошюра, составленная в форме вопросов и ответов подобно филаретову катехизису, с которым я познакомился, собираясь сдавать экзамен на аттестат зрелости. Истины, заключавшиеся в этой книжке, были не новы, многое я слышал от своих знакомых, которые, как оказалось, очень часто пользовались цитатами из этой книги, что неудивительно, если принять во внимание, что истины эти касались всех сторон жизни, от государственного устройства до правил, как вести себя во время свидания с любимой женщиной, Приведу несколько вопросов и ответов из этой замечательной книги:

*Вопрос:* Что должен делать рабочий, встретив другого рабочего в доме или на улице?

*Ответ:* Должен обратиться к нему с коммунистическим приветствием.

*Вопрос:* Что такое коммунистическое приветствие?

*Ответ:* Это не бессмысленное козыряние, а напоминание о том, что в пяти странах света угнетенные борются за освобождение и что ты должен ставить интересы класса выше своих личных.

Дальше следовали указания, как держать себя с друзьями и с врагами, причем указывалось, что у рабочего не может быть иных врагов, кроме классовых. При встрече с классовым врагом надо было пройти мимо него с гордо поднятой головой и ни в коем случае не отвечать на его поклоны, а тем более запрещалось вступать с ним в какой бы то ни было разговор. «Очень легко, — говорилось в книжке, — подпасть под влияние буржуазии, тем более что живем мы в буржуазном окружении».

Предусматривались и недоразумения между рабочими, которые могли закончиться ссорой и даже более или менее крепкими словами. Список подобных слов приводился тут же.

*Вопрос:* Какие самые страшные ругательные слова?

*Ответ:* Меньшевик и социал-предатель.

*Вопрос:* В каких случаях подобное оскорбление допускается законом?

Выучив наизусть всю книжку, я мало продвинулся в понимании существующего порядка: она не давала ответа ни на вопрос о цензуре, ни на вопрос о шестнадцатичасовом рабочем

дне. Усиленно вбивалось в голову одно: что существующий строй есть самый лучший строй, что рабочий класс добился того, за что боролся, и что обязанность каждого рабочего — охранять этот строй. И вместе с тем говорилось, что трудящийся обладает при этом строе всеми политическими правами, что каждый рабочий имеет право высказывать все приличные рабочему мысли в любое время и в любом месте.

*Вопрос:* Какие мысли приличны рабочему?

*Ответ:* Все те мысли, которые направлены к защите его классовых интересов.

*Вопрос:* Какие основные классовые интересы рабочего?

Если бы не идиотская форма филаретова катехизиса, то учебник можно было бы признать неплохим. Он удовлетворительно излагал теорию классовой борьбы, он знакомил с государственными учреждениями и законами. Правда, была и ненужная регламентация поведения каждого рабочего, но если принять во внимание, что наука эта преподавалась детям, которым нужно знать правила приличия, то и с этой регламентацией можно было согласиться.

Прочитав книжку, я решил завтра же сдать экзамен.

Но меня постигла полная неудача. Выслушав мое заявление, политрук улыбнулся, раскрыл книжку и задал мне следующий вопрос:



— Почему это последнее важно для пролетариата?

Я смутился и сказал, что не понял вопроса. Инструктор повторил его еще раз, я опять не понял. Тогда он закрыл книгу и сказал:

— Вы не можете сдать экзамена. Вам следовало ответить на этот вопрос: потому что это необходимые условия для победы.

Нет, не отвертись! Надо выучить всю эту книжку наизусть и уметь отвечать на все вопросы буквально по учебнику, как подряд, так и вразбивку.

*Вопрос:* Отчего необходимо полное и точное знание катехизиса?

*Ответ:* Чтобы произвольным расположением слов и произвольным их толкованием не впасть в какой-либо из нежелательных уклонов.

*Вопрос:* Какие суть нежелательные уклоны?

*Ответ:* Троцкизм, меньшевизм, правый мелкобуржуазный уклон и эсерство.

*Вопрос:* Какие уклоны не вменяются в преступление?

Но память моя еще не ослабла: я в две-три недели усвоил все бездны филаретовой премудрости и мог при случае свернуть в разговор ту или иную цитату.

Мои успехи в политграмоте дали возможность несколько ослабить режим моей изоляции. Так, ко мне снова, после

долгого перерыва, заехал Витман. Я обрадовался ему и поспешил воспользоваться его присутствием, чтобы разъяснить некоторые неясные для меня вопросы. Не помню, с чего начался разговор, но только я, между прочим, спросил его:

— Скажите, пожалуйста, почему в этом городе так много нищих?

Он уклончиво ответил:

— Среди рабочего класса нет нищенствующих.

— Позвольте, очень трудно представить, что нищенствует буржуазия.

— Но ведь мы отобрали у них все имущество и заставили их работать.

— А раз они работают, значит, они трудящиеся, а не буржуи, — возразил я.

Витман мне ничего не ответил. Он снова вынул из кармана книжечку и что-то записал в нее. Я знал по прежнему опыту, что такая запись не предвещает ничего доброго, и от дальнейших расспросов отказался.

Признаюсь, я с некоторой тревогой ждал завтрашнего дня. Теперь я знал, что может повлечь за собой неосторожный вопрос. Может быть, новый экзамен, может быть, просто сумасшедший дом. И то и другое мало радовало меня.

## **ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я УСВАИВАЮ ВЫСШУЮ МУДРОСТЬ**

Утром к воротам моего дома подкатила наглухо закрытая карета, двое вооруженных людей усадили меня, и карета двинулась. Куда? Мне не объяснили. Может быть, бросят в Петропавловку, может быть, отправят в Сибирь, а может быть...

Впрочем, не все ли равно. Моя жизнь становилась день ото дня все интереснее и интереснее.

Высадили меня из кареты около большого серого дома, провели темным коридором и оставили одного в пустой комнате, посреди которой стоял покрытый черным сукном стол с эмблемами власти. Я ждал несколько минут, рассматривая портреты вождей в траурных рамках, висевшие по стенам этой таинственной комнаты. Наконец явился застегнутый в черный сюртук человек и предложил мне сесть. Я подчинился.

— Мне поручено сделать вам выговор, — произнес он глухим голосом. — В вашем поведении мы заметили нечто странное, заставляющее нас сомневаться в вашей нормальности или, что еще страшнее, в вашей принадлежности к рабочему классу. Того, что мы заметили в вашем поведении, не случалось уже двадцать лет в нашей практике, — продолжал он и, понизив голос до шепота, добавил: — вы обнаружили склонность к самостоятельному мышлению в области тех вопросов, которые подлежат компетенции высших органов государства...

Как я ни был напуган мрачной обстановкой судилища, но при этих словах я даже подпрыгнул в кресле:

— Разве можно запретить думать?

— Свобода мысли — буржуазный предрассудок, — ответил тот. — Вы можете думать обо всем, кроме некоторых вопросов, о которых думать разрешается только двадцати пяти лицам в государстве.

Видя мое изумление, он утешил меня:

— Об этих вопросах вы можете думать, но ваши мысли не должны противоречить мнению высшего органа государства.

— Но позвольте, — начал я...

— Я не могу вам позволить возражать мне и той коллегии, которую я представляю.

— Как же можно не думать? — не унимался я.

Мой собеседник усмехнулся:

— А зачем вам думать? Ведь все эти вопросы уже разрешены и обдуманы до конца. Зачем вам утруждать свой мозговой аппарат? Сознайтесь, что бесплодно ломать голову над разрешенными вопросами.

— А если эти вопросы разрешены ошибочно? — не унимался я.

— Тридцать лет как не найдено ни одной ошибки. Верховный совет из уважения к вашим заслугам поручил мне передать вам список тех вопросов, о которых вы не имеете права ни думать, ни рассуждать с другими людьми.

Он торжественно протянул мне небольшую в черном переплете книжку. Я тотчас же открыл ее и убедился, что это тот самый катехизис, который я знал назубок, слово в слово.

Я с негодованием отбросил книжку и сказал:

— Товарищ, давайте действовать начистоту. Я знаю многое, что противоречит этой книжке. У меня накопилось много вопросов, и ни одна из ваших книжонок не ответит мне. Или вы удовлетворите мое законное любопытство, или я буду постоянно тревожить вас своим поведением.

— У нас есть достаточно средств, чтобы заставить вас замолчать, — возразил собеседник.

— Ну так что же, посадите меня в тюрьму, убейте меня, наконец...

Я не буду рассказывать о том, какие мытарства мне пришлось перенести на пути к уяснению истинного положения дел в этом удивительном государстве. Мое упорство превозмогло все: мне наконец-то объяснили то основное, чего до сих пор я никоим образом не мог понять и до чего не мог додуматься сам без посторонней помощи, что ясно для каждого из вас. Оказалось, что я просто не понимал слова «рабочий».

По моему мнению, «рабочий» — это профессия. Тот, кто продает свой труд за заработную плату, является рабочим. Тот, кто покупает чужой труд, — капиталист. Великая революция перевернула все понятия: рабочим называется теперь

тот, кто владеет средствами производства, а буржуем — тот, кто продает свой труд.

Это был ключ к уразумению того строя, который вырос и укрепился за последние десятилетия. Пролетариат действительно победил и первые годы фактически правил страной, но путем долгой и незаметной эволюции верхушка пролетариата оторвалась от масс и присвоила себе все завоевания революции. Рабочие, выдвинутые на административные посты, на должности директоров фабрик и трестов, составили новую аристократию, которая удержала за собой звание рабочего. Дети их, выросшие в совершенно новых условиях, уже забыли о том, что значит слово «рабочий», и вкладывали в него те же понятия, что в наше время вкладывались в слово «дворянин». За ними были закреплены те высокие посты, которые занимали их родители.

С другой стороны, рабочие, оставшиеся на производстве, смешавшись с городским мещанством, постепенно были лишены всех своих прав, а так как в их число случайно попало несколько бывших капиталистов, у которых было отобрано имущество, и так называемых нэпманов, которые с уничтожением частной торговли должны были искать работы на заводах и фабриках, и притом работы самой черной, вследствие их неподготовленности, то этот низший класс общества получил наименование буржуазии. Это было тем более удобно, что буржуазия по законам не пользовалась никаки-

ми правами. Этот закон, таким образом, распространялся и на рабочих, оставшихся на производстве.

Среднее сословие, носившее официальное название «расхлябанной интеллигенции», составилось из тех людей, которые, как при царизме, так и в первые годы революции, были служащими или занимались свободными профессиями.

И вот — только первая группа пользовалась всеми провозглашенными конституцией правами, только первая группа фактически управляла государством, заводами и фабриками, только члены этой группы имели двухчасовой рабочий день, право на автомобиль, на квартиру с неограниченной площадью.

«Расхлябанная интеллигенция» — этим термином пользовалось и законодательство, — а равно и мещане были значительно урезаны в правах: у них был шестичасовой рабочий день, а в некоторых случаях и восьми-, высших должностей они не имели права занимать, а если фактически и занимали как «спецы» (одна из наиболее привилегированных подгрупп), то юридически ответственным за их действия лицом являлся один из членов первой группы. За квартиру, ограниченную санитарной нормой, они платили смотря по заработку, но не свыше довоенной квартирной платы.

Низшее сословие или так называемая буржуазия имела неограниченный рабочий день, очень низкую жилищную норму и платила за квартиру в тройном против довоенного

размере: эта группа включала в свой состав всех лиц физического труда, работающих по найму на фабричных и заводских предприятиях.

Конечно, мне стоило большого труда привыкнуть к этим перевернутым понятиям. Законы о рабочих, права рабочих — все эти слова получили теперь совершенно новое значение. Но зато я теперь перестал многому удивляться: Мэри работает шестнадцать часов, я не могу ходить пешком и не имею права нанять извозчика, — и то и другое обусловлено нашим социальным положением. Нечто подобное, вспоминалось мне, было когда-то в истории, кажется, в средние века — наследственная аристократия и наследственное рабство...

Но и мое положение — положение члена высшего класса — во многом обязывало меня. Я мог потерять это положение в любой момент, коль скоро не уберегусь от какого-то вредного уклона из указанных в катехизисе. Я был связан этим катехизисом по рукам и ногам во всех своих мыслях и поступках. И тем более трудно было уберечься от падения мне, которому все эти нормы не были внушены с детства... Лучше всего было не думать, не рассуждать, лучше всего — заучить наизусть эти несложные правила и твердо исполнять их...

Так и делали все мои новые знакомые. Я теперь перестал возмущаться их поведением, мне стало даже жаль их —



этих несчастных, принужденных, как попугаи, повторять чужие, ими самими не продуманные и непонятные им самим мысли.

И я твердо решил немедленно начать борьбу с искажениями революционных учений, начать борьбу за подлинный социализм, за подлинный коммунизм, за подлинное рабочее государство. Но начать борьбу надо было во всеоружии знаний. В один прекрасный день я заявил, что от всех своих прежних заблуждений отрекаюсь, что считаю порядки непреложными и правильными и, чтобы впредь не ошибаться, я желаю усвоить высшую мудрость, доступную для человека моего класса.

В ответ на это я получил назначение в университет.

#### **ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА В УНИВЕРСИТЕТЕ**

Каждый мой шаг в этом странном обществе ознаменовывался большим или меньшим сюрпризом. Кажется, я уже знаю все, кажется, я никогда не совершу ни одной ошибки, — и вот жизнь дает мне оплеуху за оплеухой...

С трепетом вступал я под крышу старинного здания на Васильевском острове. С молодыми, почти юношескими надеждами... Университет. Разве не о нем мечтал я в пору своей первой жизни на этой земле, разве не было моментов, когда я — подпольщик и революционер — все бы отдал за то, что-

бы под крышей этого здания углубиться в науку? А теперь? Разве не радостно бьется мое сердце в предчувствии полной трудов, волнений деятельной общественной работы среди еще не погрязшей в мещанском болоте молодежи? Свободная наука, полное благородными мечтами студенческое товарищество — та среда, в которой я найду первых последователей и первых борцов за правое дело.

Надо ли говорить, что мои мечты не оправдались. О студентах я буду говорить потом, а сначала скажу несколько слов о той науке, которая там преподавалась. Прежде всего меня спросили, кем я хочу быть, так как университетская наука приняла давно уже практическое направление. «Чистая» наука оказалась буржуазным предрассудком. Я сказал, что хочу быть юристом. Мне предложили на выбор: курс наук, подготавливающий на должности политруков при домах и учреждениях, курс наук, подготавливающий судебного работника, и курс административный.

Я попросил программу и убедился, что первый курс мне ничего не даст: студенты усваивали на этом курсе политграмоту и революционные святцы. Каждый политрук должен был твердо знать, в какой день какое революционное событие празднуется, и краткие биографии лиц, особенно выделившихся в этом событии, а также ритуал клубной работы или, что понятнее для меня, — богослужения. Я не хотел быть богословом и я не хотел быть администратором. Я вы-

брал судебную часть — меня прельщало то, что в программе значились две достаточно интересные для меня науки: классовый кодекс и диалектика.

Занятия производились в классах, напоминающих больше классы наших гимназий, чем университетские аудитории, состав слушателей по умственному развитию тоже показался мне стоящим чрезвычайно невысоко. Меня утешало в этом отношении только одно — что это слушатели первого курса, они разовьются под влиянием университетской науки после одного года научной работы, но и это утешение оказалось фальшивым...

Дело в том, что наука, преподаваемая нашими профессорами, не столько развивала молодые умы, сколько притупляла еле-еле начинающую зарождаться самостоятельную мысль. Начнем с диалектики.

Это была наука, учившая логически мыслить и защищать в спорах свои мнения. Обучение состояло в следующем: обычно бралось какое-либо положение из творений одного из отцов революции, и студент должен был выводить при помощи правил логики целый ряд новых понятий, вытекающих из первого, причем считалось чуть ли не преступлением, и во всяком случае грубейшей ошибкой, если окончательный вывод в чем-либо расходился с заученным мной в школе политграмоты катехизисом. В первое время ученик, чтобы не сбиться, пользовался логической машиной, кото-

рая, вбирая в себя написанные на узких лентах бумаги тезисы, выбрасывала механически готовые выводы.

— Зачем же самому продумывать все это, если машина может дать единственно правильный ответ? — спросил я на первом же уроке у профессора.

— Не будете же вы всюду носить с собой машину, — резонно ответил мне профессор.

Этого было достаточно, чтобы я окончательно разочаровался в диалектике. Сама наука несколько не увеличила моего умственного багажа, другое дело — в отношении содержания и понимания некоторых тезисов.

Я с интересом отдался такому занятию: заготовив дома выдержки из творений отцов революции, я приходил еще до начала занятий в аудиторию и одну за другой отправлял эти выдержки в машину. Оттуда выползали ответы, которые я прочитывал с жадностью новичка и с изумлением человека совершенно другой культуры. Понятно, что первые вопросы, заданные мною, касались событий моей собственной жизни. Прежде всего я отправил в машину такое положение, вычитанное мною в катехизисе: «Нравственно то, что служит на пользу рабочему классу». И задал вопрос: можно ли отнять кусок хлеба у голодного? Ответ гласил: можно, если он принадлежит к низшему классу. Логическое развертывание идеи: низший класс — наш классовый враг. Вредить ему — значит помогать своему классу. Голодный он или нет — это для машины значения не имеет.

Так был объяснен мне смысл суда над моей особой: я отнял хлеб у человека и толкнул его, причинив телесное повреждение, — я совершил преступление. Но так как этим я спас себя — представителя высшего класса — от голодной смерти, я был прав, а не он.

Так же несложен был и кодекс гражданских и уголовных законов. Главное место в нем занимали правила определения классовой принадлежности индивида: для судьи важнее всего было определить, с кем он имеет дело, и уже от этого зависело решение. Предполагалось, что так называемый рабочий прав, прав всегда, когда не доказано противного, а так называемый буржуй всегда неправ, даже когда доказано противное.

— Раньше законы писались в пользу буржуазии, — объяснил мне профессор, — теперь законы написаны рабочими и в пользу рабочих. Мы не придерживаемся буржуазного лицемерия, — пояснил он, — и не утверждаем, что наши законы равны для всех.

— Следовательно, они пристрастны? — спросил я.

— Да... Но они пристрастны в пользу трудящихся, а это не одно и то же, — ответил профессор.

Втайне я не разделял этого мнения, но горький опыт уже научил меня не возражать. Я слушал все, что говорили мне мои учителя, и повторял за ними слепо, не рассуждая, все утверждаемые ими истины. Моя понятливость, мое при-

лежание, мои способности были оценены по достоинству, и мне был назначен экзамен на полгода ранее, чем то полагалось по уставу.

На экзамене мне были предложены следующие задачи:

«Некто А, отец которого был в семнадцатом году помощником присяжного поверенного, поступил в двадцать втором году на завод и работал там в качестве слесаря. Каково социальное положение внука этого А, если он работает на том же заводе?»

Я смело ответил:

— Буржуй.

И это было единственное правильное решение вопроса.

И другая:

«Рабочий ситценабивной мануфактуры имел сына, торговавшего на базаре сеledками. Кто его внук?»

Ответ:

— Рабочий от станка.

Я получил диплом, и опала моя кончилась. Снова я на свободе, как и в первые дни моей новой жизни. Мои учителя и наставники пророчат мне будущность. Снова знакомые встречают меня приветственными улыбками, я получаю доступ в лучшие дома и квартиры. Узнав глубину премудрости, я цепко держался за свои права и привилегии, которые, казалось мне, могут помочь задуманному мною делу.

Но я забыл одно обстоятельство...

## **ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **Я ПРОДОЛЖАЮ БЫВАТЬ У МЭРИ**

Своей свободой я прежде всего воспользовался для того, чтобы навестить Мэри. Теперь я понимал, что нельзя брать автомобиль или переносить вещи, я должен был воспользоваться опытом подпольной работы, принимая во внимание, что теперешний сыск, как и цензура, были куда лучше царских.

Строгая конспирация прежде всего.

Я сел в автомобиль и приказал везти себя в один из негласных публичных домов, носивший солидное наименование балетной студии. Заведение это считалось весьма нравственным и не возбуждало ничьих подозрений. Там я, предварительно сговорившись с лакеем, занимал комнату с отдельным, ведущим во двор ходом и заявлял, что остаюсь в этой комнате до утра. Одежда лакея и его трамвайный билет помогали мне неузнанным добраться до Лесного, а возвращался я ночью и, как ни в чем не бывало, на собственном своем автомобиле приезжал домой.

Как видите, маневр был чрезвычайно сложный, но зато конспирация обеспечена.

Мэри совсем перестала дичиться меня. Ее постоянные гости — поэт и профессор — тоже очень скоро привыкли ко мне и относились уже безо всякого следа былой подозрительности.

Кстати, о подозрительности: я только теперь мог объяснить и оправдать эту особенность населения Ленинграда, так поразившую меня в первые дни пребывания в новом государстве. Положение гражданина лучшей из республик мира так было связано всякого рода правилами, часто весьма трудно выполнимыми, что очень легко человек мог сорваться в социальную пропасть, из которой выхода уже не было. Зависть, мелкие корыстные расчеты заставляли людей ловить друг друга, доносить о малейших проступках, а за доносом неминуемо следовал суд. Усугублялось все это тем, что донос не считался безнравственным и доносчик, кроме того, получал известное вознаграждение от государства. Разговаривая с человеком, даже дружески настроенным, нельзя было ручаться, что он завтра же не передаст разговор куда надо. Ясно, что люди опасались друг друга, ясно, что подозрительность и недоверчивость стали с течением времени основными свойствами характера, особенно среди людей, принадлежавших к высшему классу. Все были, кроме того, чрезвычайно нервны, вздрагивали при каждом звонке, при каждом шорохе — следствие тайных посещений политруководителей и добровольных шпионов, имевших право затребовать в домике с особого разрешения властей ключи от любой квартиры. Знакомства налаживались с трудом, и притом только между лицами, равными по социальному положению, так как равенство положе-



ния исключало чувство зависти, тоже весьма свойственное гражданам города.

Продолжаю рассказ.

В одно из моих посещений я не застал Мэри, а встретился в ее комнате с поэтом, который тоже дожидался ее. Я двойственно относился к этому человеку: с одной стороны, он был мне бесконечно симпатичен, а с другой — мне казалось, что Мэри предпочитает его общество моему... Конечно, я ревновал.

Некоторое время мы оба неловко молчали.

Я первый почувствовал неловкость и начал разговор:

— Мы с вами встречаемся довольно часто, — сказал я, — мне вас представили как поэта, но вы до сих пор не показали мне ваших стихов.

— А я собирался сегодня прочесть новое стихотворение, — ответил он.

Мы разговорились. Я, как сторонник гражданской поэзии, поспешил изложить свои взгляды и думал, что начнется спор, подобный тому, который мы вели с Мэри. Но, к моему удивлению, поэт не спорил.

— Это верно, — сказал он, — но нас, поэтов, все-таки больше интересует техника, чем содержание. Я сам люблю писать на гражданские, как вы говорите, темы...

Это заинтересовало меня.

— Может быть, вы подарите мне вашу книгу.

— Нет, — отмахнулся он, — моя книга еще не вышла из печати. И сомневаюсь, что она когда-либо выйдет...

При этих словах он погрузился в горестное раздумье. Только появление Мэри развеселило его. Я понял, что и на этот раз оказался нетактичным, и при Мэри разговора не возобновлял. Мы пили чай, болтали о пустяках, пока сам поэт не вспомнил об обещании...

Какие это были стихи! Таких стихов я не слышал никогда. Они были написаны на исторические темы — греческие, римские, французские, — но все одинаково были пропитаны гневом, ненавистью, пафосом революции. Я был так растроган, что чуть не обнял его, когда он кончил читать, и обнял бы, если бы не вспомнил правила катехизиса, запрещавшего объятия и поцелуи как антигигиенический обычай...

Этот проклятый катехизис — он вечно будет мешать мне...

Поэт скромно, но с достоинством принял мои восторги, однако скоро снова впал в задумчивость. Я спросил его о причинах этой задумчивости.

С горечью, почти с отчаянием он воскликнул:

— Да ведь эти стихи никогда не увидят света!

И я был настолько осведомлен в законах, что сам догадывался почему...

— И это в так называемом пролетарском государстве, которое слово «революция» склоняет во всех падежах, — сказал я, в возмущении вставая со стула. — Так не должно продолжаться!

Этот возглас произвел на моих друзей неодинаковое впечатление: поэт посмотрел на меня с надеждой, а Мэри — с сожалением. Между этими двумя взглядами надо было выбирать, и я скоро сделал этот выбор.

Но об этом после.

— Что же вы можете сделать? — спросил поэт.

Признаюсь — в тот момент я и сам не знал, что ответить.

## **ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА** **Я НАЧИНАЮ ДЕЙСТВОВАТЬ**

Вернувшись домой, я бросил под стол анкету, оставив ее незаполненной. Слишком долго я оставался равнодушным ко всем мерзостям и безобразиям окружавшей меня жизни.

— Да ведь это старый режим наизнанку, — говорил я сам себе. — Если я боролся со старым режимом, то неужели должен отступить теперь?

Мне кажется, что моя задача теперь значительно проще. Что случилось? Верхушка рабочего класса оторвалась от масс и присвоила себе наименование и права рабочего класса в целом. Надо восстановить истинное положение, надо назвать вещи их настоящими именами — и это будет уже половина дела, тем более что все изучали политграмоту, все имеют понятие о марксизме, о классовой борьбе, существуют профсоюзы, советы рабочих депутатов.

В старые формы надо влить новое содержание.

И почему бы не начать борьбу совершенно легально, пропагандируя свои взгляды в высшем классе общества? Разве им так хорошо живется? Пусть их кормят, как свиней, пусть они ничего не делают, но ведь угроза нищеты висит над каждым из них: достаточно пустого доноса, чтобы вчерашний хозяин стал бесправным рабочим, не смеющим поднять голос. Наконец, они лишены права думать!

Я буду вести работу среди этих людей, на следующих выборах мои сторонники получат большинство, и самые вопиющие безобразия будут уничтожены...

Теперь все эти рассуждения мне самому кажутся наивными, но в то время казалось, что и этот план может иметь успех. С чего же начать? Говорить об этом с Витманом? С нашим политруком? Проповедовать в клубе нашего дома среди тупых и жирных мещан?

Я решил выступить в университете. Молодежь всегда была чутка и отзывчива, она поймет меня. Навербовать среди них десяток сторонников, а там... Собственно, я мало думал, что будет в этом таинственном *там*. Но разве, устраивая первомайскую демонстрацию, явно рассчитанную на неуспех, я задумывался о последствиях?

Где выступить? Поскольку я представлял себе студенческие аудитории, я знал, что выступать там невозможно. Общественная жизнь была развита слабо, каждый старался поглубже уйти в свою скорлупу, и студенты не составля-

ли исключения. Да и что могло тянуть людей в общество? Общество интересно, когда идет борьба мнений и интересов — без этого на любом собрании люди останутся тупыми равнодушными посетителями, исполняющими скучную повинность. Разве не видел я это ежедневно в каждом клубе? Сонные лица, стремление как можно скорее уйти домой...

Я сравнивал клуб с церковью, но ведь и в церкви было время, когда в ней жил дух ересей и борьбы. Ведь, говорят, на вселенских соборах дело доходило до драки. И вот, если в пеструю, скучающую толпу посетителей клуба бросить острую мысль, как они заговорят, как они будут возбуждены...

Конечно, надо выступать в клубе, притом — в студенческом. Это выступление, казалось мне, имело все шансы на успех.

В воскресенье я отправился в клуб университета. Был какой-то маловажный революционный праздник, слушателей было сравнительно немного, и я с особенной радостью заметил, что Витмана не было среди присутствующих, — признаться, я побаивался его и в его присутствии вряд ли решился бы заговорить. Проповедник тянул что-то весьма нудное и ненужное.

Слушатели тупо позевывали.

По окончании проповеди я попросил слова. Мне дали. Свобода слова для меня существовала: никто не знал, что я буду высказывать еретические мысли.

Я не буду повторять своей речи. Скажу только, что она была переполнена страстностью и иронией. Я клеймил людей, забывших заветы великих учителей социализма, которым они курят фимиам, я говорил, что мертвая буква заслонила от нас живую жизнь, я говорил о лицемерной морали, о мертвой схоластике, заедающей наши души, — и так далее, и так далее.

В середине речи я неожиданно почувствовал, что спадаю с тона. К концу я говорил медленно и вяло. Отчего? Значит, мои слова не доходят?

Я кончил. Я ждал хоть малейшего отзвука — я не говорю уже о бурных аплодисментах, на которые вначале рассчитывал, — гробовая тишина.

Я медленно сошел с трибуны и заметил только зевок проповедника, равнодушно взглянувшего на меня. Слушатели встряхнулись, встали, пропели «Интернационал» и спокойно разошлись по домам.

Я был настолько обескуражен, что остался в клубе один и, стоя за колонной, долго не мог сообразить, что же такое произошло. Я не заметил, как кто-то подошел ко мне и положил мне руку на плечо. Подняв глаза, я с удивлением увидел перед собой старика философа, с которым встречался у Мэри.

— Я вполне согласен с вами, — тихо произнес он, — я думаю то же самое, что и вы...

Я обрадовался, увидев неожиданного союзника. Может быть, их больше, чем мне казалось до сих пор? Крепко пожав ему руку, я сказал:

— Мы будем работать вместе...

Но старик не разделял моего энтузиазма.

— Нет, нет, — ответил он, — я подошел к вам для того лишь, чтобы предупредить... Я стар, — он показал на свою седи-ну, — я пережил революцию от начала до конца, я слышал много речей, подобных вашей... Я сам верил этим речам, я, тогда молодой человек, яростно рукоплескал ораторам... Я ждал от выполнения их программы всего, чего только мож-но ждать на этой земле...

Старик задумался и провел рукой по волосам:

— Да, прошло много лет с тех пор. Я видел, как постепенно тускнели речи тех же ораторов, как постепенно уходило из их слов живое содержание, и тем пышнее продолжали цве-сти эти слова... Но то был пустоцвет. Я видел, как разраста-лись сорные травы и приносили дурные плоды...

Он остановился на минуту и добавил:

— Такие пышные цветы, а их плод — сорные травы.

Я не понимал, к чему, собственно, разводит он эту фило-софию.

— Так было, а будет иначе, — ответил я. — Если каждый со-знательный человек будет помогать мне, то мое дело увенча-ется успехом. Иначе на кого же я буду рассчитывать?

— Вам не на кого рассчитывать, — ответил философ. — Я вижу, что ваш путь ведет вас к гибели. Эти люди не послушали вас, и они правы.

— Они не слышали ни одного слова, — сказал я с горечью, — это непроходимые тупицы.

— Не тупицы, а защищены от вашей агитации хорошим воспитанием. У них закрыты уши на все ваши разглагольствования. Они более правы, чем мы с вами...

Я поспешил не согласиться с его мнением.

— Они хотят сохранения существующего порядка, вы — насильственного переворота. Вы хотите крови и жертв, чтобы в результате ничтожное меньшинство оседлало большинство и правило по своему усмотрению.

Он изложил мне в кратких словах историю революций во Франции, в Риме, Египте, Китае. Он отлично знал историю — и везде, по его словам, было одно и то же. Хуже или лучше, но новый строй копировал старый до мелочей.

— Так что же делать? — в отчаянии спросил я.

— Когда-нибудь мы еще раз поговорим с вами на эту тему, — уклончиво ответил философ. — Наш длинный разговор может возбудить подозрения. Одно скажу: примиритесь и живите так, как живете сейчас...

— Но ведь так нельзя! — воскликнул я.

— Да, — ухмыльнулся философ, — это правда. Я сам раньше думал это, а вот видите — живу...



В его словах почуялось мне что-то знакомое. Я вскинул глаза — и мне резко бросилось: толстый нос, серые узкие глаза и длинная пушистая борода. Как он похож на Толстого...

— Об этом я слышал давно, — резко ответил я, и мы расстались.

В самом деле, разве можно жить с такой безнадежной философией? Что бы ни говорил выживший из ума старик — мы еще поборемся. Мы еще поборемся.

Старик, как мне показалось, с сожалением смотрел на меня от дверей клуба.

Уходя, он крикнул:

— Подумайте! Еще не поздно отказаться от вашего замысла.

Но я не послушался его. Может быть, он и прав, но я не жалею, что не принял его совета.

## **ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА НА МЕНЯ НАПАДАЕТ ПРЕССА**

Странно, но факт. Мое выступление в университетском клубе прошло незамеченным. Не только не узнали о нем Витман или политрук — о нем не узнал никто. Все, кроме философа, приняли мою речь за обыкновенную проповедь, клеймящую недостатки старого режима...

Но все-таки моя жизнь не была лишена довольно крупных неприятностей.

На меня неожиданно стала нападать пресса.

Каждое утро, развертывая газету, я находил в отделе «Рабочая жизнь» две или три заметки о своей особе. Кто-то чрезвычайно интересовался моей личностью и торопился о каждом моем шаге сообщать в газету.

Сначала обвинения были пустяковые: один корреспондент утверждал, что видел у меня на шее нательный крест, и предавал меня анафеме, как подверженного религиозным предрассудкам. Другой корреспондент обвинял меня в неумеренном потреблении спиртных напитков. Третий — в посещении подозрительных ресторанов. Последнее было правильно, но уголовного преступления не представляло.

Дальше — больше. Обвинения становятся все более тяжелыми и все более нелепыми. Сообщалось, что я в своей квартире устраиваю по воскресеньям тайные богослужения, в чем мне помогает бывший поповский сынок (имярек); то говорилось, что я занимаюсь по ночам спиритизмом; то доказывалось, что я вовсе не рабочий, что моя бабушка была просвирной в церкви Николая на курьих ножках и потому я, как принадлежащий к духовенству, должен быть немедленно подвергнут остракизму.

Ну да не стоит повторять всех этих мерзостей. Меня удивляло и возмущало одно: как газета может уделять столько места подобным пустякам? Перечитывая ее всю, я скоро убедился, что она вся наполнена подобными пустяками.

Вот ежедневное содержание газеты: в передовой — шипящая злобой статья о том, что надо возбуждать классовую ненависть, подтвержденная фактами вроде того, что такой-то или такая-то — всегда полное имя — поддерживают буржуазию, что выразилось в том, что они дали малолетнему правнуку капиталиста две копейки. «Мы в буржуазном окружении, — вопиет статья, — мы должны всегда помнить, что наше слабодушие подрывает нашу силу».

В фельетоне — длинная статья о приходящемся на этот день революционном празднике, причем в связи с восхвалением героя обливались помоями деятели, часто известные мне и мною уважаемые по прежней подпольной работе. Пусть они ошибались, но разве смерть не покрыла все их грехи? Безвестные фельетонисты не жалели для них бранных слов: иуды, предатели, мерзавцы, сволочи и идиоты.

За передовой — самая тоскливая часть газеты: съезды, конференции и речи вождей. Обычно это было разрешение ряда задач, с которыми так искусно справлялась логическая машина. Я сам решал эти задачи в общем недурно и, конечно, отчетов и речей не читал никогда.

Дальше — телеграммы из разных городов; ядовитые доносы на некоторых провинциальных деятелей; критика, театр, музыка — ряд небольших доносов на авторов, режиссеров, драматургов и композиторов, и даже на самого главного

цензора — и он, оказывается, не удовлетворял идеологической чистоплотности корреспондентов.

Но самое отвратительное — отдел «Рабочая жизнь». Если в первых отделах газеты отмечались только преступления или проступки, то в этом помещались обычно ни на чем не основанные сплетни. Здесь газета вторгалась в частную жизнь отдельных граждан и смешивала с грязью их репутацию. Газета заканчивалась громогласным заявлением редакции, что по всем присылаемым заметкам прокуратурой производится расследование. Сколько же работы было у прокуратуры?

По отношению к заметкам, касающимся меня лично, мне интереснее всего было знать: кто доносит. Кому нужно сочинять эти маловероятные сказки? По-видимому, весьма мало осведомленный человек, иначе бы он пронюхал о моих путешествиях в Лесной и о моих знакомствах с лицами, принадлежащими к враждебному классу...

Обстоятельства очень быстро натолкнули меня на решение этого вопроса.

После двух-трех путешествий в прокуратуру я был оставлен в покое. И в первое же утро, не омраченное чтением очередной нелепости, я получил приглашение от дамы из девятого номера на чашку чая. Она так любезно улыбалась, была так ласкова, что отказаться было нельзя. Часов около пяти я был уже у нее. После длинного перерыва обстановка ее

квартиры, эта убогая роскошь, эта безвкусная мазня на стенах, слишком тяжелая мебель, раскрашенное лицо хозяйки, тупое — хозяина и деревянные — обеих девиц, — все показалось мне безнадежно скучным: скука, казалось, застилала улыбки, скука приглушала звуки голосов...

Боже мой, куда бы я бежал от такой жизни!..

— Как вы провели это время?.. Что делали? Я вас давно, давно не видела.

В тоне хозяйки я почувствовал легкий оттенок ехидства:

— Кажется, вас беспокоили наши рабкоры?

Лица деревянных девиц исказились гримасой, похожей на улыбку.

«Те-те-те, — подумал я. — Так вот где разгадка!»

— Да, — стараясь оставаться спокойным, ответил я, — признаюсь, эти заметки очень раздражали меня... Я не знаю, до чего можно довести человека таким путем.

— И доводили, — ответила хозяйка. — Правда, это было очень давно, а иногда бывает и теперь, но не в такой форме. Вы слышали об убийствах рабкоров? Эти мученики долга, — она завела глаза к потолку, — эти мученики долга умирали от руки кулаков и бандитов...

— Позвольте, — возразил я, — не знаю, так или иначе было в те времена, о которых вы говорите, но если оклеветанному человеку негде найти защиты, в чем я вполне убедился на своем собственном опыте, то вполне естественно...

Я не ожидал, что эти слова произведут такое действие на мою собеседницу: она сделала такие большие глаза, она так глубоко вздохнула, она с таким ужасом посмотрела на меня, что я склонен был полагать, не выросли ли у меня на лбу рога, — иначе чем бы еще я мог привлечь такое внимание со стороны столь равнодушной особы, как моя собеседница.

— Что вы! Что вы! — шепотом и дрожа от страха произнесла она. — Мы здесь в своем кругу, но если кто-нибудь услышит...

— Я не сказал ничего особенного.

Еще большее удивление. Деревянные девицы покраснели и поспешили уйти. Неужели я сказал что-нибудь неприличное? Но ведь девицы были не из таких, чтобы краснеть от неприличного слова!

Дама успела оправиться.

— О, вы дитя... Вы — совсем дитя... Вы, сами того не зная, оскорбляете святое святых каждого пролетария. Но вы не бойтесь, — добавила она, — я не дам вашему делу дальнейшего хода.

Уж не думает ли она донести? Так и есть!

— Я никому не скажу о вашем поступке... Ни слова! Ни одна душа не будет знать, но и вы со своей стороны...

Она на минуту замялась и, глядя мне прямо в глаза:

— Вы помните о моем предложении?

Так она продолжает навязывать мне эту деревянную особу под угрозой доноса? Хорошо!

— Нет, не помню! — резко ответил я и быстро поднялся.

— Разрешите вам пожелать всего хорошего!

Если бы вы видели ее лицо! Оно как живое стоит перед моими глазами...

В этот же вечер я посетил Мэри. Было столько вопросов, накопилось столько негодования. И кому-то назло я не принял никаких предосторожностей.

— Зачем вы рискуете? За вами следят, — встретила меня Мэри.

Я ответил, что не могу выносить такой жизни и готов идти на что угодно. Пусть меня переводят в низший класс:

— Ведь тогда я буду иметь возможность чаще видеться с вами...

Она опустила глаза, и я заметил легкую краску на ее лице. Откровенно рассказав ей обо всем, что мучило меня, я между прочим спросил:

— Зачем эта женщина так некрасиво навязывает мне свою дочь?

— Очень, просто, — ответила Мэри, — у вас хорошая квартира. Вполне понятно, что она заботится об участии дочери.

Опять новое открытие. В городе нет квартир. Постройка идет слишком медленно, чтобы могло разместиться увеличивающееся население. Молодожены ютятся у родителей, пока специальное учреждение не подыщет им комнатку,

освободив одну из квартир, до сих пор занятых так называемой буржуазией. Но этот фонд постепенно иссякает, буржуазия, привыкшая к урезанным жилищным нормам, строит для себя не дома, а клетушки — не вселять же в эти клетушки семейство рабочего? И вот идет борьба за жилищную площадь, борьба, в которой стороны не брезгают никакими средствами.

— Не проще ли было построить несколько сотен новых домов?

— Что вы! Если бы захотели построить, все равно не хватило бы строительного материала. Гораздо проще выселить буржуа, а тот уж сам позаботится о своем жилище.

Остаток вечера мы провели за чтением старинных стихов, а потом спорили о религиозном вопросе. Я с азартом отрицал религию как вековой дурман. Мэри полагала, что можно верить в Бога или не верить в него, а в самой религии не находила ничего предосудительного.

— Я сама не знаю, верю или нет. Но, понимаете, иногда бывает такое чувство... Ну, одним словом, бывают минуты, когда я хочу, чтобы Бог существовал.

Во время спора пришел поэт и тоже встал на мою сторону. Мы почти убедили Мэри в том, что она не права, но, когда, разгорячившись, я несколько грубо задел существо религии, она испугалась:

— Не надо, не надо, это страшно!



Наивную девушку можно было убедить в чем угодно, но после всего она оставалась при своем мнении. И это правильно: меня не раз убеждали во вреде куренья, а я все-таки продолжал курить. Так и с религией. Я высказал эту мысль вслух, и мое сравнение показалось Мэри забавным.

Потом мы бродили по парку. Я влезал на самые высокие деревья, вспоминая годы своего детства. Настроение у меня было отличное и, вернувшись домой, я не только не заполнил анкету, но и не прочел груды повесток, лежавших на столе.

«Утро вечера мудренее», — решил я.

## **ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА**

### **НАКАЗАНИЕ**

Повестки были чрезвычайно важные и исходили от самых разнообразных учреждений. Прежде всего, наш политрук предлагал явиться и дать объяснение по поводу незаполненной анкеты; домовая ячейка сообщала, что вопрос о моем поведении в квартире номер девять будет сегодня поставлен на обсуждение и что я могу явиться для самозащиты; гепеу требовало немедленной явки, конечно, без объяснения причин; наконец, Витман в дружеском письме сообщал, что мои сношения с лицами враждебного класса заставляют его, Витмана, временно прекратить знакомство со мной.

Куда идти? Перед кем оправдываться? Вероятно, я не пошел бы никуда, если бы специальный автомобиль не отвез

меня в высшее контрольное учреждение, следящее за идеологической чистотой пролетариата.

По дороге я обдумывал речь, в которой как дважды два доказывал, подкрепляя свою речь цитатами из катехизиса, что я прав, — что же делать, это моя застарелая привычка. Никаких защитительных речей в этом государстве не говорят, нет даже допроса, и большинство дел, касающихся преступлений высшего класса общества, рассматривается в отсутствие обвиняемого. Как юрист, я должен был знать, что мое дело, как важное, рассматривается в открытом заседании суда только в том случае, если процессу придан показательный характер.

Полчаса просидел я в небольшой приемной. Передо мной была наглухо закрытая дверь с надписью: «Во время заседания вход воспрещен». Там, за дверью, сейчас разбиралось мое дело.

Осмотревшись, я заметил на другой скамье молодого человека, почти мальчика, который смотрел на роковую дверь, иронически улыбаясь, и подмигивал мне. Я подхватил его улыбку, таким образом мы познакомились.

Я узнал, что он — рабфаковец, осмелившийся поставить в тупик своего преподавателя каверзным вопросом: «Скажите, пожалуйста, профессор, почему один мой знакомый владеет рыбным магазином, а у него в паспорте значится: рабочий от станка? Не лучше ли было бы написать: рабочий от прилавка?»

Этот вопрос дал основание привлечь несчастного мальчика к суду за то преступление, в каком я сам был повинен, за попытку к самостоятельному мышлению.

Звали этого мальчика Алексеем.

Наш разговор был прерван худощавым секретарем, явившимся объявить решение. Меня переводили в средний класс «за мещанство, выразившееся в отказе от сожительства с гражданкой — следовало имя девицы из девятого номера, — за оскорбление института рабкоров и за сношения с лицами, принадлежащими к другому классу». Отныне я терял право на звание рабочего и получал новое звание — расхлябанного интеллигента. Приговор оказался чересчур мягким; что здесь повлияло — мои ли заслуги перед революцией, исключительность ли биографии или чье-то заступничество — сказать не могу. Алексей был наказан значительно строже: его причислили к буржуазному классу, и он в течение пяти минут должен был решить, на какую работу он переходит. Я заявил секретарю, что хотел бы работать на заводе «Новый Айваз»; Алексей, которому по молодости лет было безразлично, где работать, тоже попросил назначения на этот же завод. Я одобрил его решение, и секретарь не возражал.

Так я приобрел нового товарища.

Постановление суда не опечалило меня, а, наоборот, обрадовало. Я почувствовал, что вместе со званием рабочего

тяжелый груз свалился с моих плеч: ведь я наконец свободен! Я мог передвигаться по городу на трамвае, я мог сам выбирать себе знакомых, тем более что лица среднего класса были вхожи и в дома пролетариев; наконец, я получал настоящую работу, а это наиболее действенное средство от скуки.

Я поспешил поделиться своей радостью с Мэри, но застал ее в слезах: она сегодня была переведена на низшую ставку, и, насколько я мог понять, — из-за меня. Знакомство со мной ей вменили в преступление.

— Моя обязанность — возместить вам потерю, — сказал я.

Она была настолько умна, что не отказалась от помощи и принимала мои подарки просто — без жеманства и без излишней благодарности. Не раз хотелось мне заговорить с ней о главном — о том, что я люблю ее, что она должна стать моей подругой, но я не умел начать, я стеснялся.

Притом мне казалось, что у меня есть более счастливый соперник, и я безмолвно уступал ему дорогу.

Итак, в моей жизни началась новая полоса. На другое же утро я оделся в простой рабочий костюм и в девять часов стоял у ворот завода «Новый Айваз». Дальше — обычные формальности: пройти в контору, заполнить несколько анкет, содержащих большое количество вопросов, иногда не имеющих, на мой взгляд, прямого отношения к делу: об отце, о дедях, о прадедах, о том, пристрастен ли я к алкоголю и в ка-

кой степени. Директор принял меня чрезвычайно любезно, выразил желание, чтобы опала моя была временной, и даже обещал впоследствии похлопотать перед властями. Я понял, что это не более чем простая вежливость, и поблагодарил его за беспокойство о моей участи. На анкете директор поставил резолюцию: должность старшего подмастерья, тринадцатый разряд.

В мастерской я увидел Алексея, он ждал меня — своего непосредственного начальника. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало меня.

Мы немедленно принялись за работу.

В мастерской произошло очень мало изменений. Некоторые машины были заменены новыми, усовершенствованной конструкции. Я попросил рабочего пустить эти машины в ход. Рабочий с недоверием посмотрел на меня и подошел к машине. Он долго возился над ней, вставляя кусок металла, повернул выключатель. Машина сделала несколько оборотов, заскрипела, загрохотала — и встала.

— Ну что же? — спросил я.

— Ничего, — недовольным тоном ответил рабочий. — Она всегда так: пустишь, а ее заест... Да мы ведь больше на старых работаем.

Машины эти оказались изобретением одного русского инженера, для них требовались некоторые части, которые на наших заводах изготавливать не умели, а в покупке ча-

стей за границей было отказано. Кое-как сделали эти части на русском заводе, но произошла какая-то ошибка в расчетах, и машины не работали.

— Давно они так стоят? — спросил я рабочего.

— Да уж лет десять стоят, — ответил он.

Я тотчас же принялся за разборку машины, приспособив к этой работе Алексея, и решил во что бы то ни стало пустить станки в ход: они экономили работу процентов на пятьдесят.

— А куда смотрели инженеры? Что думал директор?

Рабочий только рукой махнул.

Обстановка заводской работы осталась та же. Правда, кое-где сохранились следы чьей-то заботы о санитарных условиях работы: стоял бак с испорченной водой, испорченный вентилятор, но, несмотря на это, в воздухе — облака пыли, пол не мыт года два, а при выходе из мастерской я услышал из-за двери раскатистое матюганье своего помощника.

Обо всем этом я в тот же день доложил директору.

— Завод не бережет рабочую силу, — сказал я. — Рабочие скоро устают, часто заболевают, производительность труда падает.

— Не рабочие, а буржуазия, — поправил меня директор, — рабочие у нас в мастерские не заходят... А зачем нам заботиться о здоровье этих кровопийц?

Я понял, что спорить бесполезно. Для меня эти измученные чахоткой, темные и забытые люди оставались рабочи-

ми: трудно было поверить, что они — потомки фабрикантов и купцов. Да как и оказалось в действительности, большинство из них были настоящие рабочие, потомственные, подобно мне, но не сумевшие вовремя выдвинуться на административные посты.

Я решил действовать на свой страх и риск, провести все необходимые в работе улучшения, хотя бы и за свой счет. У меня был еще выход — недели через две пустить новые станки, и тогда все улучшения я проведу за счет экономии рабочей силы.

«Да, здесь я принесу самую реальную пользу», — думал я. И если бы мне предложили в этот момент вернуться к прежнему положению привилегированного тунеядца, я вряд ли бы согласился.

Вечером меня ждал небольшой сюрприз. Вернувшись в свою квартиру, я нашел ее дверь запертой на замок. Постояв несколько минут у двери, я обратился в домоуправление.

— Вас выселили по постановлению суда, как лицо, не занимающееся физическим трудом, — ответили мне в домоуправлении, — ведь этот дом — рабочая коммуна.

— Где же мне ночевать?

Больших трудов стоило добиться разрешения переночевать. На другое же утро я получил ордер на новую квартиру. Комнаты мои были заняты девицами из девятого номера — они добились своего.

## **ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА**

### **Я РАБОТАЮ НА ЗАВОДЕ**

И вот я живу на Большом Сампсониевском проспекте, занимаю комнату в шестнадцать аршин — моя норма, работаю восемь часов в сутки. Ни Витмана, ни даму из девятого номера я не имею счастья считать в числе своих знакомых. Обедаю в недорогой столовой, завожу знакомства с лицами среднего и низшего классов общества.

Одна неделя — и я был уже в курсе всей заводской работы, и как свои пять пальцев знал быт и нужды рабочих — буду называть их своим именем, вопреки официальной терминологии. Положение их не улучшилось, а в некоторых отношениях даже ухудшилось по сравнению с тринадцатым годом. Правда, официально провозглашенный в первые дни революции восьмичасовой день не был отменен; правда, заработок был несколько выше прежнего, но хлеб и мясо вздорожали в значительно большей пропорции, а предметы промышленности по своей цене были недоступны не только рабочему, но и высшим служащим, получавшим вдвое-втрое больше рабочего.

Через две недели, придя в контору за получкой, я имел возможность убедиться, что такое заработок рабочего. Мне причиталось получить сто тридцать рублей. Я подхожу к кассе, получаю деньги и уже собираюсь уходить.

— Позвольте, — останавливает меня молодой человек, сидящий у кассы, — членский взнос в союз...



Я не возражал, с меня взяли в пользу союза пять процентов. Но этим дело не кончилось. Рядом с молодым человеком сидела барышня, потом еще барышня, еще молодой человек, и так далее, и так далее. Все они предъявили претензии на мой кошелек: я должен был внести в шефское общество, на беспризорных детей, подоходный налог, сбор на дома отдыха для рабочих, гербовый сбор и членство в целом ряде добровольных обществ. Только тут я узнал, что я член добродетеля, авиахима, доброармии, общества ликвидации неграмотности и общества русско-турецкой дружбы.

— Позвольте, я вовсе не хочу состоять в этих обществах.

— Вас никто не приневоливает, — возражали мне, — общества добровольные... Но тем самым, что вы поступили на наш завод, вы записались и во все эти общества. Вы заполняли анкеты.

Мне пришлось сознаться, что анкеты заполнял, не читая заголовков.

— Ну, а теперь вы не можете отказаться.

Спорить было бесполезно: остающихся денег мне при моих скромных потребностях будет достаточно. Но как живут рабочие, получающие тридцать рублей? Десять рублей? — ведь есть и такие! Наконец, классовая ставка за жилплощадь поглощает последние гроши — поневоле добровольно превратишь восьмичасовой день в шестнадцатичасовой и еще будешь радоваться возможности подработать.

При заводе была школа для детей «рабочих». В этой школе бесплатно обучались дети высшей администрации завода, а буржуазия, то есть рабочие должны были платить за обучение своих детей. Из каких средств? Понятно, дети рабочих (настоящих рабочих) росли неграмотными, и только время от времени неграмотность их ликвидировалась особыми отрядами учителей, на содержание которых и делались вычеты из скудного жалованья рабочих. При заводе был клуб, где читались лекции по политграмоте, но заманить туда рабочих было невозможно: они предпочитали пивные, где и оставляли до половины заработка. Около пивных в рабочих районах частенько происходили драки, в дело вмешивалась полиция и отводила виновных в участок.

Как мало я знал, сидя в дорогом ресторане и разговаривая с Витманом о торжестве социализма!

Весь опыт старого подпольщика я мог применить здесь.

Прежде всего, мне нужны были сообщники. В первый же воскресный вечер я затащил к себе Алексея. Он оказался чрезвычайно понятливым мальчиком, он был молод, сердце его еще не очерствело, и он был способен на самопожертвование — чего еще можно было желать? Я сравнивал свое положение относительно Алексея с положением Коршунова в отношении меня: так же, как когда-то Коршунову, мне приходилось охлаждать безрассудные порывы Алексея.

Но одного помощника было маловато. Надо было привлечь новых сторонников, предпочтительно занимающих одно положение со мной: прямо идти в низы было опасно.

Случай скоро представился, так как дом, в котором я поселился, был населен именно таким элементом.

Однажды вечером ко мне зашел сосед по квартире и попросил спичку: магазины заперты, а он не успел запастись этим предметом первейшей для курильщика необходимости. Возможно, что это был только предлог, тем более что он остался у меня на целый вечер. Он оказался помощником бухгалтера нашего же завода.

Конечно, мы разговорились на общую для нас обоих тему — о заводской работе. Он жаловался на хамское отношение администрации, на вычеты, на обилие ничего не понимающего в делах начальства. Потом он перешел на заводские сплетни, рассказал о целом ряде злоупотреблений, происходящих на заводе:

— Мелкие попадают в печать, — сказал он, — а крупные никому не видны. Попробуй написать, тебя так взгреют, что до смерти не забудешь...

— А что же делают рабкоры? — спросил я.

— Когда они узнают о крупных «делишках»? Явятся к тому, кто в этом деле замешан, и получат с него порядочный куш.

Ведь рабкоры сами принадлежат к высшей администрации.

Жаловался он и на заводские порядки:

— Шесть директоров приезжают каждый на два часа, и все никуда не годятся.

— А инженеры?

— Разве им дают работать?!

Из этого разговора я заключил одно: помощник бухгалтера недоволен. Наверное, недовольны и конторщики. Вероятно, недовольны инженеры. А недовольство — лучшая почва для моей агитации.

Я заикнулся было о положении рабочих, но помбухгалтера поморщился и так же, как когда-то директор, сказал:

— Ну что говорить об этих буржуях!

И принялся их ругать за грубость, невежество, пьянство.

— Мы же сами виноваты, — возразил я.

Вместо ответа он принялся ругать администрацию.

Дня через два я отдал ему визит и на этот раз застал у него целое общество: в гостях у него сидели двое инженеров, конторская барышня и двое молодых людей — по-видимому, родственники. При входе в квартиру я был поражен одним обстоятельством: на стене у него висела картина, изображающая ленский расстрел, а в углу был маленький «Ленинский уголок».

Это была квартира номер девять в миниатюре.

## ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

### ЗАМЫ

Это странное название носят независимые в силу своих знаний люди, которыми дорожат и за которыми иногда ухаживают. Оба инженера были *замдиректорами*, — в сущности, фактическими заправилами нашего завода.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Когда вы попадете на фабрику, на завод, в учреждение, где от служащего требуются специальные познания, то там вы не найдете инженера, мастера, заведующего и так далее: вы найдете заминженера, заммастера, замзава. Должности семнадцатого разряда замещались исключительно рабочими, получившими образование в объеме курса политграмоты, — естественно, что они никуда не годились на этих должностях, и им в помощь назначались специалисты, носившие наименование замов. Заведующие являлись только комиссарами, контролирующими, а чаще всего лишь тормозящими работу этих замов. Насколько была рациональна подобная организация, вы увидите после.

Возвращаюсь к рассказу. Когда я пришел, вечеринка была в полном разгаре, и вино уже успело произвести свое действие на языки гостей.

— А, мертвец! — закричал помощник бухгалтера. — Имею честь представить существо, вылезшее из могилы. Вы не поверите — ему шестьдесят семь лет.

— Что вы? Неужели?

Я сразу стал центром внимания.

— Это вам двадцать раз вырывали ноздри? — спросил один из гостей.

Я смутился:

— Чепуха! Ничего этого не было!

— Мы отлично понимаем, отлично, — ответил толстенький инженер в очках, — мы ведь тоже немножко знакомы с историей. — И тут же начали ругать правительство. Я по опыту знал, к чему могут привести подобные разговоры.

— Да вы не беспокойтесь, — сказали они, заметив мое смущение, — мы здесь в своей компании. Шпионов нет.

— Кого они хотят обмануть? Народ? Западную Европу?

— Сказки для детей младшего возраста!

Потом перешли к заводским порядкам и особенно обрушились на директоров:

— Сидели бы дома, получали жалованье...

— А разве на одно жалованье проживешь?

— Они работают два часа, а вот один ухитрился ускользнуть от контроля и проводил на заводе не больше пяти минут. Так вот, когда ему сказали, что он вводит завод в убыток, знаете, что он ответил? «Если бы я сидел на заводе два часа, было бы еще больше убытку».

— Верно! Они только разрушают дело! Возьмем хотя бы у нас...

Инженер в очках начал перечислять причины, от которых разрушается дело. Я не буду вдаваться в подробности, но он насчитал около десятка таких промахов, каждый из которых в наше время довел бы предприятие до банкротства. Я удивился:

— Почему же все-таки завод сводит концы с концами?

— Отсутствие конкуренции. Ведь ввоз из-за границы запрещен.

— Запрещен? — удивился я. — А ведь мне говорили, что он теперь просто не нужен.

— Ну да, не нужен! — засмеялись все. — Да вы с луны, что ли, свалились? Ах, да ведь вы выходец из могилы!

И опять все бесцеремонно захохотали. Не знаю, верили они мне или считали ловким шарлатаном. Во всяком случае эти люди были не так настроены, чтобы верить чему бы то ни было. Они были полны самой бесшабашной иронии.

— Но если вы видите недостатки, почему не стремитесь исправить? Ведь многое зависит от вас?

— Очень нужно! — ответил один инженер.

— Попробуйте! — возразил другой.

За попытки вмешаться в управление некоторые слишком беспокойные люди были сосланы в очень отдаленные места — «ловить рыбку», как выражались инженеры.

— А мы предпочитаем ловить рыбу в мутной воде, — сослал помбухгалтера, кладя на тарелку кусок осетрины.

Может быть, в его шутке больше правды, чем кажется ему самому. Ведь все покупки, все распоряжения администрации, все, наконец, злоупотребления происходят не без их участия. Они виноваты во многом. В таком приблизительно смысле я высказался в ответ на замечания моих собеседников. Толстый инженер принял серьезный тон:

— Не так опасно украсть, — сказал он, — как опасно возразить директору.

Так было и при старом режиме, с тою лишь разницей, что тогда директор понимал кое-что и притом был заинтересован в благосостоянии предприятия. Теперь другое: директора отбывают повинность, инженеры — тоже, ну а рабочие — рабочие, как и прежде, — только живые машины, о которых заботятся много меньше, чем о машинах неживых.

— Вот если бы мы... Вот если бы я...

Таким припевом кончались разговоры спецов. Интересно знать, перейдут ли эти люди от разговоров к делу, примирились они со своим положением или нет. Я закинул удочку:

— Меня очень удивило то обстоятельство, — сказал я, — что рабочие поставлены в невозможные условия. Неужели мы не можем им чем-нибудь помочь?.. А тогда они помогли бы нам...

Удочка была закинута именно туда, куда нужно. Несмотря на то, что гости достаточно выпили, они подошли к вопросу очень серьезно. Водворилось молчание. Потом инженер в очках неуверенно сказал:



— Но ведь они абсолютно бессознательны.

— Они забиты и запуганы, — подтвердил другой инженер, — они ненавидят всех, кто устроился лучше их...

— Мы можем поделиться с ними своими знаниями, — возразил я.

Мое предложение вызвало длинные разговоры. Конечно, все соглашались, но, с другой стороны, боялись рисковать. Из этих разговоров я понял, что моим собеседникам не улыбалось спуститься вниз по социальной лестнице.

А все-таки их можно использовать — до поры до времени, решил я. Конечно, они попытаются оседлать движение, как только оно возникнет, но тогда их можно будет и осадить. Чтобы не терять удобного момента, я предложил им завтра же начать действовать: организовать просветительское общество и устроить в рабочем клубе ряд лекций. Они согласились.

— Но ведь нас заставят проповедовать политграмоту!

— Чем же нам повредит политграмота? Даже она, если ее хорошо усвоить, повышает культурный уровень, — возразил я.

Серьезного желания работать я не заметил ни у одного из присутствовавших на вечеринке. Только толстый инженер после ужина, развалясь в кресле, сказал мне:

— Если вы серьезно, то мы вам поможем... Начинайте...

Плотно покушавший человек всегда настроен филантропически.

Но для моей цели большего не требовалось. Для замов я свой человек, и если они не помогут, то во всяком случае не будут мешать. А культурно-просветительная работа в клубе станет ширмой для моей политической деятельности.

## **ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА**

### **ПЕРВЫЕ ШАГИ**

Я правильно учел положение, выбрав клуб центром своей деятельности. Это было учреждение, уже однажды проделавшее огромную работу, но замершее на время в связи с общим окаменением государственного строя. Что происходило в фабричном клубе? Такие же богослужения, как и в любом другом, с той разницей, что сюда насильно сгонялись рабочие. Скучнейшая проповедь на непонятном для рабочего языке — я и забыл сказать, что проповедники говорили на особом языке — странной смеси русского с латинским. Между прочим, этот язык употребляли и в газетах, на торжественных заседаниях, общих собраниях, где опять-таки не произносилось ни одного живого слова. Вполне понятно, что в клуб никто не ходил — в пивной было интересней и веселее.

Что мне оставалось делать? Влить жизнь в омертвевшее тело полезного учреждения.

Из переговоров с администрацией я выяснил, что препятствий не будет: только мои лекции не должны выходить

за пределы курса политграмоты. Требовали сначала, чтобы я буквально повторял тексты катехизиса, но мне удалось отстоять самостоятельность изложения.

— Ведь усвоение марксизма, — доказывал я, — приведет только к укреплению существующего порядка. Есть скрытое недовольство: многие не понимают, что они живут в совершеннейшем из государств.,.

Одним словом, я убедил администраторов, приведя несколько цитат из катехизиса.

Мне оказало большую пользу их благоговение перед цитатами. Стоило только подкрепить свою мысль ссылкой на катехизис, как лица администраторов вытягивались, они постно улыбались — и дело в шляпе. Лица, которые могли повредить, — замы — были на моей стороне.

Первая лекция — о классовом строении общества. Слушателей собрать было нелегко. Администрация предложила издать приказ, но в моих интересах было видеть на лекции только действительно интересующихся: пусть придут двое, зато я не буду видеть перед собой сонные физиономии отбывающих скучную повинность.

Собралось не двое, а около сорока человек. Не знаю, в чем дело, но, вероятно, тут повлияла моя репутация: я в противоположность многим своим товарищам не ругался, не придирался к мелочам, держал себя с рабочими как свой человек и вскоре заслужил хорошее отношение мастерской. Моя

мастерская и была главным образом представлена на лекции. Присутствовал также политрук завода и даже — минут пять — один из директоров.

Я так построил свою речь, что придраться было не к чему: это была обычная клубная проповедь, но изложенная понятными словами. Рабочие слушали меня с интересом и, расходясь, оживленно беседовали между собою.

Я понял, что план мой удался: мысль была разбужена. На следующей лекции было уже человек пятьдесят, а на третьей мне пришлось перенести собрание в мастерские.

После четвертой лекции некоторые из рабочих подошли ко мне и выразили желание задать мне несколько вопросов. Я согласился, но предупредил, что в клубе задавать вопросы неуместно, а если они хотят поговорить со мной, пусть приходят ко мне на квартиру. В следующее же воскресенье у меня состоялось первое рабочее собрание, на котором я начал настоящую пропаганду. Дело в том, что первым вопросом, смутившим моих слушателей, был такой:

— Сказано, что власть принадлежит трудящимся, а вот они трудящиеся — и...

А уж если появился такой вопрос — мое дело в шляпе. Я раскрыл рабочим хитрую механику правящего класса, подмену понятий «рабочий» и «труд», подмену класса сословием. Это для всех было открытием. Они научились по-новому понимать официальную терминологию, и мне остава-

лось только указать литературу и посоветовать почаще посещать клуб.

У меня было чрезвычайно выигрышное положение: мне не приходилось печатать прокламаций — прокламации частью продавались в магазинах, частью даже раздавались даром самим правительством. Несколько тысяч учебников политграмоты были присланы по моему требованию бесплатно. Мои помощники вели деятельную пропаганду в мастерских, в пивных, в рабочих семьях. Скоро я стал получать сведения о возникавших тут и там ячейках, и уже приходилось обдумывать план создания настоящей рабочей партии.

Сравнивая подпольную работу с прежней, я каждый день убеждался, что теперь вести ее значительно легче. На помощь мне приходила государственная организация, хранившая все необходимые для меня элементы в зачаточном или замершем виде. Партийная ячейка, профессиональный союз, завком, делегаты — все эти учреждения надо было только наполнить новым содержанием. Я покамест развертывал на своем заводе сеть параллельных учреждений, поджидая того дня, когда они займут надлежащее место.

Созданные мной учреждения не имели никакой власти, но зато пользовались большим моральным авторитетом. На них смотрели с надеждой, к ним обращались во всех затруднительных случаях. Мне уже приходилось сдерживать тягу к немедленному выступлению, которую я замечал у многих

своих последователей, в частности, у Алексея; он так и рвался в бой. Момент еще не наступил. И притом я решил первое выступление сделать в легальной форме, благо это представлялось возможным.

Нужно было найти и внешние символы движения; я остановился на красном флаге, лишенном золотых украшений, тем более что политграмма рекомендовала как раз такой флаг. Нужен был и гимн — но так как напев «Интернационала» был достаточно неприятен по ассоциации с торжественным богослужением, я выбрал мотив одной запрещенной в то время песни — «Сухой бы я корочкой питалась», — она была запрещена как мещанская. На этот мотив распевались слова, написанные моим приятелем поэтом, которого я скоро втянул в активную работу.

Несмотря на колоссальную работу, проделанную мною в течение нескольких месяцев, я посещал Мэри еще чаще, чем прежде. Я старался всячески втянуть ее в работу, я поручил ей организацию золотошвеек, но мои старания не увенчались успехом. Или она боялась, или была слишком погружена в старое, слишком полна предрассудков — окончательного суждения высказать не решаюсь. Но и она не оставалась пассивной: были минуты, когда она умела ненавидеть, были минуты, когда она пошла бы на самый рискованный шаг. Она даже предложила проект уничтожения отдельных представителей высшего класса общества, с тем чтобы навести

панику на остальных, но, конечно, это предложение не выдерживало критики, и я отказался от него. Во всяком случае эту женщину можно было использовать в решительный момент, она была у меня на учете.

Собираясь в ее квартире то втроем, то вчетвером, то пятером — я говорю об Алексее, которого я сам познакомил с Мэри, — мы мало говорили о нашем деле, а при философе совсем не говорили. Я помнил его отношение к моему предприятию и несколько побаивался его.

Не могу не рассказать еще об одном эпизоде.

Однажды мы вышли на прогулку. Все разбрелись по лесу, а мы с Мэри остались вдвоем. Дело было в лесу, неподалеку от Парголова, — в этом лесу в старое время происходили митинги и массовки. Я был полон воспоминаний и восторженно делился ими с Мэри. У нее тоже было необычное настроение. Как это произошло, я не помню, но мы взялись за руки и долго шли куда глаза глядят, пока не увидели перед собой обрыв, покрытый заросшими могилами, и серебряное вечернее озеро, над которым носились белые чайки. Мы присели на могильную плиту и долго любовались открывшимся перед нами видом. Она утомилась дальним путешествием и положила голову на мое плечо. Я не мог пошевелиться, так мы просидели в полном молчании до утра.

Но то, что произошло, казалось нам обоим таким важным, таким особенным, что для меня вся жизнь разделилась

на две половины: до этого вечера и после. Надо ли говорить, что я простил ей равнодушие к моему делу, ее неспособность к активной работе — все, все. И притом — надо ли говорить об этом — я был счастлив. Я пел в моей мастерской, мне казалось, что я не хожу, а плыву над землей.

На другой день после работы я, конечно, поспешил к ней.

## **ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА НЕСЧАСТЬЕ**

Обстоятельства помешали мне выполнить мое намерение. Выйдя из дому, я встретился у ворот — с кем бы вы думали — с Витманом.

Он по-прежнему носил монокль и по-прежнему безбожно картавил. Я был в таком настроении, что обрадовался даже Витману.

— У меня к вам очень важное дело, — сказал он без лишних предисловий и предложил проехаться за город.

Я пытался было отказаться, но он настаивал. Пришлось согласиться.

Мы ужинали в отдельном кабинете вновь выстроенного на Поклонной горе ресторана, и Витман очень заботился о том, чтобы я больше пил шампанского. Эта заботливость показалась мне странной, и я нарочно воздерживался, зная по опыту, что с этим человеком надо держать ухо востро.

После ужина мы приступили к деловому разговору.



— До нас дошли сведения о волнении среди буржуазии, — начал он.

Я насторожился. Если бы я был пьян — при этих словах хмель вылетел бы из моей головы.

— В чем дело, мы в точности не знаем, но на некоторых заводах они начинают слишком много разговаривать, и даже была одна попытка устроить забастовку. Вы понимаете, что это недопустимо. Ведь все завоевания революции могут пойти насмарку...

Я сделал вид, что в первый раз слышу о волнениях, тем более что на «Новом Айвазе» никаких выступлений не было.

— Неужели? — спросил я. — Чего же хотят эти кровопийцы?

— Я не знаю, чего они хотят, — пробурчал Витман, вероятно, он полагал, что я выдам себя, и был недоволен моим слишком правоверным ответом, — но дело угрожает стать серьезным и потребует напряжения всего аппарата.

Потом он начал говорить о преимуществах положения в высшем обществе, расспрашивал, как я живу, вспомнил даже о Мэри.

— Она очень хорошая девушка, — сказал он, — и ей можно выхлопотать прощение. Государство великодушно и умеет прощать даже своих врагов, если они раскаются...

Он хотел сказать, что государство способно пойти на уступки. Нет! Я знаю цену уступкам.

Но он подошел к делу с неожиданной для меня стороны:

— Не согласились бы вы, — неуверенно начал он, — я знаю, что вы пользуетесь некоторой популярностью. Не согласились бы вы...

Сущность его предложения была до того возмутительна, что я не привожу даже его подлинных выражений.

— Неужели вы хотите, чтобы я стал провокатором? — закричал я.

— Провокатором? — удивился он. — Я предлагаю вам должность корреспондента...

Конечно, я наотрез отказался. Как отнесся к этому Витман, не знаю. Он тотчас же перевел разговор на другую тему, но все-таки успел сообщить, что именно он является организатором целой сети корреспондентов, называющихся *буркорами* — они должны осведомлять правительство о состоянии умов буржуазии и мещан. Конечно, это была очень важная новость, так как до сих пор корреспонденты следили только за действиями членов высшего класса.

Воспользуюсь случаем, чтобы объяснить одну особенность государственного аппарата, отлаженностью которого хвастал Витман в первое время нашего знакомства. Аппарат действительно был отлажен великолепно, но это был хороший механизм — и только. Отличительная особенность каждого механизма — действовать в одном направлении — была свойственна и этому аппарату. Он с невероятным успехом мог следить за чистотой идеологии высшего класса, он мог вести

борьбу с примазавшимися, мог даже препятствовать проявлению свободного мышления, но средний и тем более низший класс были вне сферы действия этого аппарата. Для пресечения преступлений достаточно было милиции и гешеу; проявлений политической активности низших классов не замечалось в течение тридцати лет, и мало-помалу классы эти ускользнули из-под бдительного надзора. Надо было наверстать потерянное, надо было всякими правдами и неправдами привлечь провокаторов из враждебного лагеря. Я оценил по достоинству государственный ум правителей и кое-что намотал себе на ус.

Расстался я с Витманом дружески и даже обещал изредка заходить к нему. По-видимому, запрещение знаться с лицами низших классов было временно отменено.

Я чувствовал, что золотое время движения проходит. Следовало сейчас же выступить решительно и открыто, или в дальнейшем работа столкнется с непреодолимыми трудностями... Но подготовка! Как можно выступать сегодня — ведь это верный провал...

Вернулся домой я очень поздно и к Мэри не пошел, отложив визит до завтра. Утром, выходя на работу, я увидел в окне магазина книжку стихов моего друга-поэта и намеревался весь вечер провести вместе с Мэри за чтением этой изумительной книги.

После работы я, не заходя домой, поспешил к Мэри. День был пасмурный, дорога грязная — это несколько понизило

мое настроение. Но все-таки то, что я узнал, как громом поразило меня.

— Он умер! — закричала она, увидев меня. Я в изумлении остановился. Мэри плакала, ломая руки.

— Он умер! Он умер! — кричала она.

— Кто умер?

Она не могла ответить и только бросила мне такую же книгу, какая была в моих руках. Я понял все.

— Когда? Как? — спрашивал я.

Из слов взволнованной девушки я узнал, что вчера вечером поэт получил книгу, читал ее, запершись в своей комнате, потом долго ходил взад и вперед, а наутро его нашли повесившимся. Ни записок, ни писем он не оставил.

Прочитав несколько стихотворений, я понял все: он не мог вынести надругательства над своим искусством. Книгу так изуродовали, что некоторых стихотворений нельзя было узнать.

Конечно, причина вполне уважительная, но я не понимал его до конца. Разве так бы поступил я? Никогда! Я только бы с удвоенной энергией продолжал борьбу. Он был членом нашей организации, и его самоубийство просто преступно. Это малодушие! Может быть, читатель обвинит меня в черствости, но у меня возникла и такая мысль: не лучше ли для нашего дела, если поэты не будут участвовать в нем?

Что можно было ответить взволнованной и плачущей Мэри? Я ничего не мог сказать, кроме:

— Нет, мы этого так не оставим!

— Что же вы сделаете? — сквозь слезы спросила она.

— Будем бороться!

Она посмотрела на меня с восхищением и вместе с тем — с жалостью. Кого она больше любила — его или меня? Но этот вопрос был неуместен после трагической смерти соперника.

Скоро пришел старый философ и долго утешал Мэри, говоря, и очень длинно, о покорности судьбе, о преступности самоубийства и т. д. После его ухода Мэри сказала:

— Будьте осторожнее с Фетисовым (так звали философа).

— Почему? — удивился я.

— Не знаю почему... Он начал очень мертво говорить.

Девушка инстинктивно чувствовала что-то неладное. У меня не было никаких оснований подозревать старика в чем-либо, но я поспешил согласиться с Мэри. Люди, привыкшие к опасности и риску, склонны к суевериям, и я не представлял исключения.

## **ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

Трагическое событие только ускорило развязку — оно явилось толчком к более энергичной работе по подготовке решительного выступления. Я не буду переоценивать своей роли в начавшемся движении: в дальнейшем оно развертыва-

лось стихийно, и моя роль в последнее время была скорее сдерживающей, чем возбуждающей. До меня каждый день доходили слухи о возникновении новых ячеек, тут и там вспыхивали частичные забастовки, мне приходилось предостерегать, останавливать, уговаривать беречь силы для общей и решительной схватки. На заводе мою политику истолковали по-своему.

— Вы знаете, что говорят о вас, — сказал мне как-то Алексей, — что вы — агент правительства!

Это возмутило меня. После того, что я сделал для них, они не верят мне.

— Говорят, что вы подсланы от правительства со специальной целью. Они вправе не верить вам, так как вы — выходец из их класса...

О, этот проклятый катехизис! Не сделал ли я ошибки, дав его рабочим в неизменном виде? Он научил их видеть своего врага, но и сделал способными видеть врага в каждом принадлежавшем не к их классу.

Хорошенько обдумав вопрос, я сказал:

— Что же, — надо начинать действовать...

Алексей обрадовался. Мы обсудили положение и выбрали момент, который считали наиболее удобным.

Каждый год на заводе происходили выборы: завкома, делегатов (то есть сборщиков всяческих «добровольных» взносов), депутатов в советы и т. д. Заседания эти выродились

в своего рода молебн с проповедью. Приезжал инструктор, торжественно открывал собрание «Интернационалом» и речью, затем оглашался список намеченных ячейкой товарищей, инструктор торжественно провозглашал:

— Кто против?

Против никто не высказывался, и собрание так же торжественно закрывалось. Одним словом, это была столько же торжественная, сколько и ненужная процедура.

На таком собрании мы и решили провести первое сражение. Мы раздобыли текст никем не отмененной конституции, в которой черным по белому было сказано, что избирательным правом пользуются все граждане, не опороченные происхождением от бывшего царского дома, кроме священников и лиц, эксплуатирующих наемный труд. Только давление со стороны господствующего класса сделало так, что на выборное собрание не являлся никто, кроме членов высшей администрации, — теперь же настало время восстановить свободные выборы.

Мы с Алексеем наметили список кандидатов во главе с товарищем Алексеем — свою кандидатуру я не решился предложить, зная недоверие ко мне со стороны некоторой части рабочих; а с другой стороны, не желая показывать администрации, что я являюсь главой оппозиции, что до сих пор мне удавалось скрывать. Рабочие были предупреждены о выборах, и в день торжества скромное помещение заводского клуба было переполнено.

Тысяча избирателей — это было неожиданностью для администрации. Предчувствуя что-то неладное, избирательная комиссия затянула проверку списков, рассчитывая на то, что рабочие разойдутся по домам. Но рабочие держались крепко. Часть их, исключенная под разными предложениями, разошлась по домам: наших сторонников было так много, что мы решили не возражать и соглашались во всем с мнением избирательной комиссии.

Заслушан доклад. Оглашен список кандидатов.

И вот произошло событие, какого, может быть, тридцать лет не видели стены клуба: один из рабочих потребовал слова.

Избирательная комиссия в замешательстве. Продолжительное совещание, шепот, переговоры, тревожные звонки телефонов.

Слово дано.

— Мы не знаем ни одного из предложенных вами кандидатов, — говорит рабочий, — я предлагаю выбрать из нашей среды человека, который бы защищал наши интересы.

И он огласил список во главе с товарищем Алексеем.

Я ликовал.

Президиум не ожидал подобного выступления. Один из кандидатов избирательной комиссии заявил, что все они из рабочей среды и что чистота их пролетарского происхождения удостоверяется метриками, выданными загсом Ленинградской стороны.



В ответ — громкий смех. Президиум объявил перерыв и полчаса совещался. Зал гудел, как улей. Я видел единодушные рабочих, вера моя окрепла.

Снова открыто собрание. Президиум пытается отвести наших кандидатов, но они удовлетворяют условиям закона. Надо приступать к голосованию.

— Кто за? — произнес председатель, назвав имена кандидатов избирательной комиссии.

Руки поднялись только за столом президиума. Десять голосов.

— Кто против?

Лес поднятых рук. Зал торжествует. Председатель спокойно подсчитывает голоса.

— Девятьсот сорок семь.

И нисколько не смутившись, объявляет:

— Кандидат избирательной комиссии избран большинством десяти голосов против девятисот сорока семи.

Шум, топот, свистки. Президиум торопливо собирает бумаги.

— Голосуйте наших кандидатов!

— Не признаем выборов. Насилие!

— Алексея! — кричала толпа.

Президиум опять удалился на совещание и появился только через полчаса.

— Так как собрание недовольно выборами, мы проведем повторное голосование. Голосуется кандидат избирательной комиссии...

И опять тот же результат: десять за и девятьсот сорок семь против.

— Кандидат избирательной комиссии считается избранным, — заявляет председатель.

Крики, свистки. Их перекрывает голос одного из членов комиссии:

— Девятьсот сорок семь человек по постановлению комиссии лишены избирательных прав... за то, что отказались голосовать за...

Что тут было! Толпа ринулась к трибуне. Одна минута, и произошла бы жестокая схватка, а вслед за ней кровавая расправа. Надо было водворить порядок. Я вышел на трибуну:

— Товарищи, спокойствие! Выборы будут обжалованы и отменены.

Опять поднялся крик. Кто-то кричал мне:

— Изменник!

Я спокойно стоял на трибуне. Я знал, что никто не посмеет выступить против меня. Моя выдержка помогла, собрание понемногу утихомирилось и приняло предложенный мною протест. Расходились все возбужденные и обозленные, а я в глубине души радовался, потому что такое настроение обещало быстрый успех.

С другой стороны, мною были довольны и члены президиума: я нашел выход из тяжелого положения. Не желая разочаровывать их, я с достоинством принял благодарность.

В тот же день заседание подпольной ячейки решило готовиться к активному выступлению и назначило день — первое мая. «Все легальные пути использованы, — говорилось в выпущенном в тот день воззвании, — остается возложить ответственность за будущую кровь на правящий класс, а самим готовиться к борьбе и — победить или умереть».

Я сам ни на минуту не сомневался в успехе.

Оставалось только порадовать Мэри, и я отправился к ней.

## **ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА**

### **Я РАЗГОВАРИВАЮ С ФИЛОСОФОМ**

Несмотря на позднее время, Мэри не было дома. В последнее время она все чаще стала надолго пропадать из дому; я заметил это после трагической гибели поэта. Куда скрывалась она, где проводила время, я не знал, а выспрашивать не решался.

В ее комнате я застал Фетисова. От нечего делать мы завели ничего не значащий разговор, перешедший на политические темы. Я проговорился и рассказал кое-что о происшедшем на заводе собрании, стараясь в то же время скрыть свое отношение к этому выступлению: предупреждение Мэри заставило меня быть осторожным с этим человеком. Но старик отлично знал мою роль — я заметил это по легкой снисходительной улыбке, с которой он выслушивал меня.

«Неужели он следит за мной?» — подумал я и содрогнулся. Внушительный вид философа рассеял мои сомнения — мудрец не может быть шпионом.

Случилось так, что мы не дождались Мэри, и Фетисов предложил проводить меня. Предчувствуя серьезный разговор, я согласился.

— Как обстоят дела в вашей партии? — прямо спросил он, когда мы вошли в парк. Я испугался — мне казалось, что о партии знают только наиболее близкие товарищи,

— Я не знаю, о чем вы говорите, — ответил я.

— Мы уже однажды говорили с вами об этом, — напомнил он таким тоном, что мне стало стыдно: я пытался что-то скрыть от человека, который первым откликнулся на мою проповедь.

— Я знаю, что ваше дело зашло далеко... Но, может быть, вы все-таки оставите его... Еще есть время...

— Нет, я не оставлю этого дела, — ответил я.

— Напрасно. Вот о чем я хотел поговорить с вами: верите ли вы, что разбуженная вами масса пойдет с вами до конца?

Он попал как раз в точку. Этот вопрос я сам не раз задавал себе, особенно с тех пор, как у рабочих зародилось недоверие ко мне. Но все-таки я твердо ответил:

— Думаю, что пойдет до конца.

— А уверены ли вы в том, что они хотят того же, чего хотите вы?

— Странный вопрос. У нас с ними общее дело, мы боремся за справедливость...

Горькая усмешка промелькнула на лице старика:

— Справедливость. Сколько раз на своем веку я слышал о справедливости. И чем кончилось?

Несколько минут мы шли молча. Погруженный в глубокое размышление, он казался старше своих достаточно преклонных лет: казалось, тысячелетняя дума застыла на его покрытом морщинами лице.

— Справедливость... Разве они борются за справедливость? Предложи любому из них обеспеченное положение, и все они отрекутся от вас. Если бы правительство сейчас смогло всех подкупить, разве кто-нибудь остался бы с вами?.. И, наконец, вы сами, что вы внушаете им? Чувство справедливости? Нет! Вы внушаете им чувство зависти, вы заставляете их ненавидеть друг друга. Злоба рождает злобу, ненависть растет, и самая полная победа будет торжеством самой злой, самой отчаянной ненависти...

— Конечно, я должен внушать им ненависть к врагу, — ответил я, — но когда будет уничтожен враг, не останется места для ненависти.

— Так вы думаете, — возразил философ, — а вы уверены в том, что устроенный вами порядок всех удовлетворит? А если нет — разве вам не придется держать часть населения в подчинении?

— Временно — да.

— Старая Россия сотни лет управлялась временными законами. Нет, научив людей видеть в других людях врагов, вы уже ничем не вытравите этого чувства. Победивший класс будет дрожать за свою власть, он побоится кого-нибудь близко подпустить к власти. Он закрепит свои права навеки — возникнет сословие, а вместе с ним все то, что вы видите вокруг себя...

Я видел, куда гнет старик: слишком понятна мне эта философия, заменившая образованным людям религиозный дурман. Утешиться в мысли о неизбежности существующего, что проповедует он. Или он, как новый Христос, хочет выступить с проповедью любви? Тогда бы он был со мною, а вместо этого он пишет дрянные брошюры, оправдывающие нынешнее положение вещей.

Послушать такого человека — он передовой из передовых. Я, старый революционер и подпольщик, щенок перед его радикализмом. А на деле? На деле он весь насквозь пропитан моралью господствующего класса, на деле он — лучший слуга буржуазии, как бы эта буржуазия ни называлась!

Нет, на его удочку я не поддамся.

— Что же вы предлагаете? — в упор спросил я.

Он мог ответить только длинной тирадой о том, что буржуазия — понятие психологическое, что борьба классов — вздор.

— Я помню, — сказал он, — когда революция победила на всех фронтах, когда рабочий класс торжественно праздновал победу, — вдруг оказалось, что буржуазия, которую, ка-

залось, уничтожили, так сильна, что устами рабочих требует себе некоторых прав. А дальше — больше: буржуазия получила высшую власть и правит от имени рабочих. Вас ожидает то же, если вы не начнете постепенно перевоспитывать массы. Но можно ли перевоспитать их?

Я понял, к чему он клонит. Но когда подобные учения приводили к реальным результатам? Никогда. Проповедь Христа — разве она не выродилась так же, как, по словам Фетисова, может выродиться наше движение?

Мы расстались друзьями, но этот разговор убедил меня лишь в том, что я стою на правильном пути. Только стремление мещанина оправдать свое равнодушие к борьбе угнетенных масс говорит языком подобных людей. А если дело пойдет о покушении на их право? О, тогда они заговорят при помощи пушек!

Пусть он искренно желает мне добра, советуя отказаться от дела всей моей жизни, — спасибо.

Разрешите не послушать вас, господин Философ!

## **ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА**

### **НАКАНУНЕ**

Разговор с философом отвлек меня, но только я расстался с ним на крыльце своего дома, как опять мною овладело беспокойство за Мэри. Где она? Что с ней? Я поступил как мальчишка: проследил, что философ пошел не в ту сторону, где живет она, и побежал назад.

В комнате Мэри светился огонь. Я тихонько постучал в окно — она не спит. Она подошла к окну, увидев меня, не обрадовалась, нет, а как будто испугалась. Но это только на миг. Радостная улыбка, она открывает дверь.

— Мэри, вы что-то скрываете от меня?

Она спряталась куда-то глубоко-глубоко — так прятаться умеют только женщины:

— Я ничего не скрываю от вас.

И стала спрашивать меня о моей работе. Какая великая дипломатка жила в этой скромной и беззащитной, казалось, женщине. Она знала, чем отвлечь меня от расспросов. Я, конечно, увлекся, рассказывая о собрании на заводе, и забыл о том, с чего начался разговор.

Трудно начало. Камень, лежащий на вершине горы, трудно сдвинуть с места, но если уж мы придали ему движение, он будет лететь с неудержимой силой, и его тяжесть будет только ускорять его движение. Трудно было разбудить сознание в первом десятке рабочих — а теперь, я уверен, только горсточка охранников и полицейских останется на стороне правящего класса в решительный момент.

Через месяц после разговора с философом, который, кстати сказать, все ближе и ближе сходил к мною и даже выполнял некоторые мои поручения, вышел первый номер подпольной газеты.



Технически она была выполнена плохо, но зато содержание! Она называла все вещи своими именами. Это было не так уж мало, когда правительство больше всего боялось именно правды. Мы втихомолку запасались оружием, а я, углубившись в старинные — эпохи великой революции — книги, учился революционной стратегии и тактике ее великих вождей.

План был простой: это была операция, рассчитанная на неожиданный натиск: мы захватываем пункты, в которых сосредоточено оружие, арестуем правительство, а дальше все идет как по маслу: войска не поддержат правительство, которое не способно само защитить себя.

И, как мне казалось, обстоятельства благоприятствовали нам. Правительство слепо и глухо. Отсутствие малейших репрессий, отсутствие намека на наше движение в официальной прессе, полное бездействие коллегии корреспондентов, организация которых была поручена Витману. Не было сомнений, что наше выступление ударит как гром с ясного неба и сметет все препятствия на пути к свободе.

Единственным человеком, не верившим в успех, была Мэри. Когда я, увлекаясь, излагал ей свои планы, она не радовалась, а грустно покачивала головой.

— Я не понимаю, — говорила она, — почему правительство не действует?

— Машина неповоротлива, — объяснял я. — Подождем, встретить врага никогда не поздно. Я доволен, что мы сумели уклониться от преждевременной схватки.

Она опять недоверчиво покачала головой:

— Ой ли! А может быть, оно уклоняется от схватки?

Она с грустью смотрела на меня. Казалось, она старается запомнить мое лицо, мой голос. И грусть невольно подчиняла меня, уничтожала охватившую меня радость.

— Уедем отсюда! Бежим!

Ну, этого-то я от нее не ожидал. Бежать накануне сражения? Что скажут товарищи? Что станет с моим делом?

— А если я вам скажу, — голос ее звучал убедительно и твердо, — что нам и нашему делу грозит неминуемая гибель?

— Ну так что же? Мы погибнем! — просто ответил я. Мэри задумалась. Она несколько минут сидела лицом к окну, не шевелясь и не глядя на меня.

Но вот она взглянула на меня. Я поразился синему цвету ее глаз, их стальному решительному блеску.

— Мы остаемся.

Красивее женщины я не видел никогда в жизни. Я забыл нерешительность, обнял и поцеловал ее.

Этот разговор расстроил меня. Не знаю, чем объяснить, но слова девушки, ни на чем реальном, по-видимому, не основанные, навсегда убили во мне уверенность в успехе дела.

Но зато я был уверен в другом: в ее любви ко мне. И, странно, я не знал, что перевешивает — то или другое.

## **ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА**

### **МЭРИ**

Работа по подготовке выступления была в разгаре, когда нужно было совершиться неизбежному и когда я в полной мере оценил, какую женщину мне довелось увидеть и полюбить накануне конца своей земной жизни.

То, что совершилось, по-моему, сильно помешало успеху нашего дела.

Я возвращался с массовой, устроенной нами в Парголовском лесу. Время было позднее, я хотел забежать к Мэри, с которой давно не виделся. Не дойдя до площади, носившей по старой памяти название «Круглый пруд» (пруд был давно засыпан), — я заметил необычайное оживление на прилегающих к Круглому пруду обычно весьма тихих улицах. Население, в большинстве рабочие, кучками ходили по улицам и вели тихий разговор. Когда я подходил к какой-либо из групп, разговор замолкал. Меня охватило беспокойство, я ускорил шаги.

Может быть, припасенное нами оружие заговорило раньше срока? Я больше всего боялся преждевременного выступления.

Круглый пруд. Остановка трамвая. Взволнованный газетчик (я первый раз увидел газетчика на улице, обычно газеты разносились по домам) не своим голосом кричит:

— Жестокое убийство! Тайное общество! Буржуазия поднимает голову!

Я с трепетом развертывал газетный лист — с таким же трепетом, как незадолго перед тем подпольную газету. Волнение мое станет понятно, если читатель вспомнит, что официальные газеты обычно не содержали ни одной свежей новости.

«На Старопарголовском проспекте в проезжавший автомобиль брошена бомба. Убиты шофер и председатель коллегии корреспондентов товарищ Витман. Убийство произведено, вероятно, с целью грабежа, — успокаивала газета. — Тем более что из кармана убитого Витмана пропали весьма важные документы. Полиция ищет убийц».

Это известие потрясло меня. Тайнственное убийство, бомба, пропажа документов — все это так напоминало мне события девятьсот пятого года, знаменитые экспроприации, совершаемые неуловимыми преступниками. И при этом в душе у меня зародилось смутное подозрение, которое заставило меня ускорить шаг и поспешить к Мэри.

Закутанная в платок, она стояла на крыльце и, казалось, ждала меня.

— Стойте! Я узнала все!

Она была расстроена, она была возбуждена. Я заметил, что руки ее дрожали.

Не знаю, чем объяснить, но я вместо всяких приветствий спросил:

— Мэри... ты?

Она отшатнулась от меня и, глядя в мои глаза, ответила:

— Я!

Вот что сделала эта теперь непонятная мне, женщина. Несколько дней спустя после беседы со мной к ней заявился Витман. Надо ли говорить, что еще циничнее, чем мне, он предложил ей поступить к ним на службу. Она не согласилась. Он стал преследовать ее — и, наконец, она решилась на отчаянный шаг: выведать его план борьбы с начавшимся движением. Сколько хитрости, коварства, сколько умелой игры потребовалось для того, чтобы обмануть бдительность этого человека! Он уверял ее, что покамест борьба еще не началась, что они не могут наладить аппарат, что необходимо ее участие в деле. Она не сдавалась.

После разговора со мной, когда она твердо решила остаться, тогда же она решила силой вырвать у Витмана его план. Она носит в ридикюле бомбу, она выслеживает врага...

Остальное понятно.

Меня больше всего удивляло то, что она ни словом не проговорила, и кому — самому близкому ей человеку!

Полиции на месте происшествия не было, разбитый автомобиль был найден на другой день после катастрофы, ночью шел небольшой дождь — Мэри была в безопасности. Нужно было скорее разобрать украденные у Витмана бумаги и выяснить план врага. Только эти бумаги могли выдать Мэри. Я немедленно согласился взять их себе, а ей посоветовал на время уехать куда-нибудь, спрятаться от возможных преследований.

— Зачем, — просто ответила она, — я здесь буду нужнее.

Бумаги, отобранные у Витмана, были написаны каким-то неизвестным мне шифром, и разбор их пришлось отложить до его раскрытия. Я сам по вечерам работал над этими бумагами, так как звать специалиста было слишком рискованно.

Как повлияло это событие на рабочих? Одни осуждали, другие, наоборот, говорили, что террор вернее приведет к победе, чем путь, избранный мною. В движении стало намечаться два русла, и во главе второго стояла Мэри.

Какие меры приняло правительство по отношению к возможному повторению террористических актов, неизвестно. На другое же утро газеты как воды в рот набрали: ни одной строчки об убийстве Витмана, и только в отделе происшествий милиция сообщала, что на Старопарголовском проспекте из-за плохого состояния дорог произошла катастрофа с автомобилем, в котором ехал студент Коммунистического университета Витман.

Пресса прикусила язык, и это обстоятельство меньше всего меня радовало.

## **ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА**

### **ПЕРВОЕ МАЯ**

Двухнедельный срок подошел к концу. Мне осталось наскоро изложить события последних дней моей жизни.

Канун первого мая. Весеннее солнце и холодный ветер с Ладожского озера. Все подготовлено, все на своих местах.

И — острая возрастающая тревога.

Почему никто не арестован перед выступлением? Неужели мы сами идем в ловушку?

Такое дьявольское хладнокровие!

Трудно поверить, но я был бы обрадован, если бы получил известие об аресте лучших из своих товарищей: тишина была слишком подозрительной.

Днем я обошел весь город. Магазины открыты, нарядная публика спешит по домам. Как будто ничто не предвещает грозы.

На одной из центральных улиц я встретил Мэри.

— Я знаю все, все, — могла только проговорить она и поспешила скрыться.

Около двенадцати ночи — стук в дверь. Я открываю. Мэри стоит взволнованная, как и тогда, на улице.

— Скорее, я приготовила все, мы можем бежать...

Я удивился:

— Зачем бежать?

— Но ведь они все знают... Завтра — гибель!

Оказалось, она успела произвести сложнейшую разведку. Она проникла в солдатские казармы, в приемные высокопоставленных лиц, она прислушивалась к разговорам — и везде и всюду чувствовалась тщательно скрываемая тревога.

— Где бумаги Витмана? — спросила Мэри.

— Я ничего не могу разобрать.

— И не надо. Они знают, что эти бумаги в наших руках, и успели изменить план. Ничего не надо. Вот билеты, мы можем отменить выступление и бежать...

— Чтобы пострадали наши товарищи? — возразил я.

Этот аргумент убедил ее.

— Я должен быть на своем посту, — сказал я, — но думаю, что вам следует просидеть весь день дома.

— Ну что ж, — ответила она, — если так... прощай.

Я горячо поцеловал ее, и мы расстались.

Утром в обычное время я пошел на завод. Солнце ярко освещало уже выстроившиеся колонны, между которыми бежали распорядители с повязками на руках. Я знал, что у каждого под одеждой спрятано оружие.

Мы двинулись к центру. К нам присоединялись колонны с других фабрик. Поднять красное знамя, двинуться на правительственные здания... Таков был план.

Меня поразила тишина и безлюдие улиц. Все двери закрыты, спущены занавески на окнах; где есть ставни — закрыты ставни. Высшая администрация не явилась.

Троицкий мост. Наша колонна поднимает красный флаг. Раздается стройное пение революционной песни. Я уже готов командовать — вдруг...

Выстрел с Петропавловской крепости. Облако дыма. Мост колеблется. Со стоном падают люди...

И больше я ничего не помню.



Вероятно, меня подобрали на улице и отвезли в лазарет. Сиделка не ответила ни на один из моих вопросов.

Мучительная неизвестность продолжалась до того момента, пока меня не вызвали к следователю. За столом я, к удивлению моему, увидел Фетисова. Старик философ сидел рядом со следователем и, когда я пытался скрыть что-либо, он поправлял меня и при том так смотрел в мои глаза, что приходилось поневоле соглашаться.

Признаюсь, его поведение — самое темное и непонятное для меня место во всей этой истории.

Теперь о Мэри. Мне удалось увидеть ее. Нам, правда, не разрешили разговаривать — она только смотрела на меня глубоким скорбным, любящим взглядом. Этот взгляд — самое драгоценное сокровище, оставленное мною на земле.

Что еще? Теперь я спокойно жду смерти. Я знаю, что начатое мною дело не погибнет. Пусть половина города уплыла по Неве, но зароненная мною искра зажжет пожар. Первый опыт научит их осторожности, первая неудача только укрепит руку, несущую карающий меч.

И я закончу эти записки выражением твердой веры в грядущее торжество того дела, которому я служил всю свою жизнь, в конечное торжество справедливости.



**1926**



**I**

— Пузыри над утопленником.

— Как?

Треугольный ноготь — быстрым глассандо — скользнул по вспучившимся корешкам, глядевшим на нас с книжной полки.

— Говорю, пузыри над утопленником. Ведь стоит только головой в омут, и тотчас — дыхание пузырями кверху: вспучится и лопнет.

Говоривший еще раз оглядел ряды молчаливых книг, стеснившихся вдоль стен.

— Вы скажете — и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зеленое качание побережья. Пусть так. Но тому, кто уже ртом в дно: нужно ли это ему?

И вдруг, будто наткнувшись на какое-то слово, он встал и, охватив пальцами локти, оттянутые к спине, зашагал от полки к окну и обратно, лишь изредка проверяя глазами мои глаза:

— Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше, это оттого, что в жизни одним человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир. Пузырями к дню — собой к дну? Нет, благодарю покорно.

— Но ведь вы же, — попробовал я робко не согласиться, — ведь вы же дали людям столько книг. Мы все привыкли читать ваши...

— Дал. Но не даю. Вот уж два года: ни единой буквы.

— Вы, как об этом пишут и говорят, готовите новое и большое...

У него была привычка недослушивать:

— Большое ли — не знаю. Новое — да. Только те, кто об этом пишут и говорят, это-то я твердо знаю, не получают от меня больше ни единого типографского знака. Поняли?

Мой вид, очевидно, не выражал понимания. Поколебавшись с минуту, он вдруг подошел к своему пустому креслу, пододвинул его ко мне, сел, почти коленями к коленям, пытливо вглядываясь в мое лицо. Секунда за секундой мучительно длиннились от молчания.

Он искал во мне что-то глазами, как ищут в комнате свою забытую вещь. Я резко поднялся:

— Вечера суббот у вас — я замечал — всегда заняты. День к закату. Я пойду.

Жесткие пальцы, охватив мой локоть, не дали подняться:

— Это правда: свои субботы я, то есть мы запираем от людей на ключ. Но сегодня я покажу вам ее: субботу. Оставайтесь. Однако то, что будет вам показано, требует некоторых предварений. Пока мы одни — сконспектирую. Вам вряд ли известно, что в молодости я был выученником нищеты. Первые рукописи отнимали у меня последние медяки на оклейку их в бандероль и неизменно возвращались назад, в ящики стола, — трепанные, замусоленные и избытые штемпелями.

Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов, в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка — в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв. Обычно печка была без дров, а я без пищи. Но к книгам я относился почти религиозно, как иные к образам: продавать их... даже мысль эта не приходила мне в голову, пока, пока... ее не форсировала телеграмма: «Субботу мать скончалась. Присутствие необходимо. Приезжайте». Телеграмма напала на мои книги утром; к вечеру — полки были пусты, и я мог сунуть свою библиотеку, превращенную в три-четыре кредитных билета, в боковой карман. Смерть той, от которой твоя жизнь, — это очень серьезно. Это всегда и всем: черным клином в жизнь. Отбыв похоронные дни, я вернулся назад — сквозь тысячеверстье — к порогу своего нищего жилья. В день отъезда я был выключен из обстановки, — только теперь эффект пустых книжных полок доощутился и вошел в мысль. Помню, раздевшись, я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски, хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендикулярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате — как я уже сказал — только и было: полки, кровать. Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет — ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило: я лежал, лицом к полкам, и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по

оголенным доскам полок. Казалось, какая-то еле ощутимая жизнь — робкими проступами — зарождалась там, в бескнижье.

Конечно, все это была игра на перетянутых нервах — и когда утро отпустило им колки, я спокойно оглядел залитые солнцем пустые провалы полок, сел к столу и принялся за обычную работу. Понадобилась справка: левая рука — двигаясь автоматически — потянулась к книжным корешкам: вместо них — воздух, еще и еще. Я с досадой всматривался в заполненное роями солнечных пылинок бескнижие, стараюсь — напряжением памяти — увидеть нужную мне страницу и строку. Но воображаемые буквы внутри воображаемого переплета дергались из стороны в сторону, и вместо нужной строки получалась пестрая россыпь слов, прямь строки ломалась и разрывалась на десятки вариантов. Я выбрал один из них и осторожно вписал в мой текст.

Перед вечером, отдыхая от работы, я любил, вытянувшись на кровати, с увесистым томом Сервантеса в руках, прыгать глазами из эпизода в эпизод. Книжки не было: я хорошо помню — она стояла в левом углу нижней полки, прижавшись своей черной кожей в желтых наугольниках к красному сафьяну кальдероновских «Аутос». Закрыв глаза, я попробовал представить ее здесь рядом со мной — меж ладонью и глазом (так покинутые своими возлюбленными продолжают встречаться с ними — при помощи зажатых век и скон-

центрированной воли). Удалось. Я мысленно перевернул страницу-другую; затем память обронила буквы — они спутались и скользнули из видения. Я пробовал звать их обратно: иные слова возвращались, другие — нет. Тогда я начал заращивать пробелы, вставляя в межслова свои слова. Когда, устав от этой игры, я открыл глаза, комната была полна ночью, тугой чернотой забившей все углы комнате и полкам.

У меня в то время было много досуга, — и я все чаще и чаще стал повторять игру с пустотой моих обескнижевших полок. День вслед дню — они зарастали фантазмами, сделанными из букв. У меня не было ни денег, ни охоты ходить теперь за буквами к книжным ларям или в лавки букинистов. Я вынимал их — буквы, слова, фразы — целыми пригоршнями из себя: я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные переплеты и аккуратно ставил замысел к замыслу, фантазм к фантазму, — заполняя покорную пустоту, вбивавшую внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал. И однажды, когда какой-то случайный гость, пришедший возвратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к полке, я остановил его:

— Занято.

Гость мой был такой же бедняк, как и я: он знал, что право на чудачество — единственное право полуголодных поэтов... Спокойно меня оглядев, он положил книгу на стол и спросил, согласен ли я выслушать его поэму.



Закрыв за ним и за поэмой дверь, я тотчас же постарался убрать книгу куда-нибудь подальше: вульгарные золотые буквы на вспучившемся корешке расстраивали только-только налаживавшуюся игру в замыслы.

По параллели я продолжал работу и над рукописями. Новая пачка их, посланная по старым адресам, к моему искреннейшему удивлению, не возвратилась: вещи были приняты и напечатаны. Оказывалось: то, чему не могли научить меня сделанные из бумаги и краски книги, было достигнуто при помощи трех кубических метров воздуха. Теперь я знал, что делать: я снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие пустоты меж черных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила, превращал их в рукописи, рукописи — в деньги. И постепенно — год за годом — имя мое разбухало, денег было все больше и больше, но моя библиотека фантазмов постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно: пустота их, я бы сказал, еще более раздражалась, превращалась в обыкновенный воздух.

Теперь, как видите, и нищая комната моя разрослась в солидно обставленную квартиру. Рядом с отслужившей старой книжной полкой, отработавшую пустоту которой я снова забил книжным грузом, стали просторные остекленные шкапы — вот эти. Инерция работала на меня: имя таскало мне

новые и новые гонорары. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отмстит. В сущности, писатели — это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери — занесенный над ними бич. Или еще точнее: слышали вы об изготовлении так называемых каракульча? У поставщиков этого типа своя терминология: выследив путем хитроумных приемов узор и завитки на шкурке нерожденного ягненка, дождавшись нужного сочетания завитков, нерожденного убивают — прежде рождения: это называется у них «закрепить узор». Так и мы — с замыслами: промышленники и убийцы.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов. Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они требовали еще и еще. Пьянея от чернил, я готов был — какой угодно ценой — форсировать новые и новые темы. Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то я и решился искусственно возбудить ее, прибегнув к старому испытанному средству. Я велел очистить одну из комнат квартиры... но пойдемте, будет проще, если я это покажу.

Он поднялся. Я вслед. Мы прошли анфиладой комнат. Порог, еще порог, коридор — он подвел меня к запертой двери, скрытой портьерой (под цвет стены). Звонко щелкнул ключ,

потом — выключатель. Я увидел себя в квадратной комнате: в глубине, против порога, камин; у камина полукругом семь тяжелых резных кресел; вдоль стен, обитых темным сукном, ряды черных, абсолютно пустых книжных полок. Чугунные щипцы, прислонившиеся ручкой к каминной решетке. И все. По беззвучающему шагу безузорному ковру мы подошли к полукругу кресел. Хозяин сделал знак рукой:

— Присядьте. Вас удивляет, почему их семь? Вначале здесь стояло лишь одно кресло. Я приходил сюда, чтобы беседовать с пустотой книжных полок. Я просил у этих черных деревянных каверн тему. Терпеливо, каждый вечер, я запирался здесь вместе с молчанием и пустотой и ждал. Поблескивая черным гляncем, мертвые и чужие, они не хотели отвечать. И я, профессионализовавший себя дрессировщик слов, уходил назад к своей чернильнице. Как раз в это время близились сроки двум-трем литературным договорам: писать было не из чего.

О, как ненавистны казались мне в то время все эти люди, потрошащие разрезальными ножами свежую книжку журнала, окружившие десятками тысяч глаз мое исстеганное и загнанное имя. Вспомнился — сейчас вот — крохотный случай: улица, на обмерзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для калош; и тотчас же мысль: а ведь — и моим буквам, и его — один путь: «под подошвы».

Да, я чувствовал и себя, и свою литературу затоптанными и обесмысленными, и, не помоги мне болезнь, здоро-

вый исход вряд ли бы был найден. Внезапная и трудная, она надолго выключила меня из писательства: бессознательное мое успело отдохнуть, выиграть время и набраться смыслов. И помню — когда я, еще физически слабый и полувключенный в мир, открыл — после долгого перерыва — дверь этой черной комнаты и, добравшись до этого вот кресла, еще раз оглядел пустоту бескнижья, она, пусть невнятно и тихо, но — все же, все же — заговорила, — согласилась заговорить со мной снова, как в те, казалось, навсегда отжитые дни! Вы понимаете, для меня это было такое...

Пальцы говорившего наткнулись на мое плечо — и тотчас же отдернулись.

— Впрочем, мы с вами не располагаем временем для лирических излияний. Скоро сюда придут. Итак, назад к фактам. Теперь я знал, что замыслы требуют любви и молчания. Прежде растратчик фантазмов, я стал копить их и таить от любопытствующих глаз. Я запер их все тут вот на ключ, и моя невидимая библиотека возникла снова: фантазм к фантазму, опус к опусу, экземпляр к экземпляру — стали заполнять вот эти полки. Взгляните сюда — нет, правей, на средней полке, — вы ничего не видите, не правда ли, а вот я...

Я невольно отодвинулся: в острых зрачках говорившего дрожала жесткая, сосредоточенная радость.

— Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильнице и вернуться назад в царство чистых, неовеществ-

ленных, свободных замыслов. Иногда, по старой вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки пробраться под карандаш: но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писательскими повадками. Слыхали ль вы о так называемых *Gardinetti di S. Francisco* — садах св. Франциска? В Италии мне не раз приходилось посещать их: крохотные цветники эти в одну-две грядки, метр на метр, за высокими и глухими стенами — почти во всех францисканских монастырях. Теперь, нарушая традиции св. Франциска, за серебряные солиды разрешают оглядеть их, и то лишь сквозь калитку, снаружи: прежде не разрешалось и этого — цветы могли здесь расти — по завещанию Франциска — не для других, а для себя: их нельзя было рвать и пересаживать за черту ограды; не принявшим пострига не разрешалось — ни ногой, ни даже взглядом касаться земли, отданной цветам: выключенным из всех касаний, защищенным от зрачков и ножниц, им дано было цвести и благоухать д л я с е б я.

И я решил — пусть это не кажется вам странным — насадить свой, защищенный молчанием и тайной, отъединенный сад, в котором бы всем замыслам, всем утонченнейшим фантазмам и чудовищнейшим измыслам, вдали от глаз, можно бы было прорасти и цвести — *для себя*. Я ненавижу грубую кожуру плодов, тяжело обвисающих книзу и мучающих, иссушающих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном саду бы-

ло вечное, неоппадающее и нерождающее сложноцветение смыслов и форм! Не думайте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из своего я, ненавидящий людей и чужие н е - м о и мысли. Нет, в мире мне подлинно ненавистно только одно: буквы. И все, кто может и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут и будут мне братьями.

На минуту он замолчал и пристально разглядывал дубовые спинки кресел, которые, став в полукруг около говорившего, казалось, внимательно вслушиваются в его речь.

— Понемногу из мира пишущих и читающих — сюда, в безбуквие, стали сходиться избранники. Сад замыслов для всех. Нас мало и будет еще меньше. Потому что бремя пустых полок тяжело. И все же...

Я попробовал возражать:

— Но ведь вы отнимаете, как вы говорите, буквы не только у себя, но и у других. Я хочу напомнить о протянутых ладонях.

— Ну, это... знаете, Гёте как-то объяснял своему Эккерману, ну, что Шекспир — непомерно разросшееся дерево, глушащее — двести лет кряду — рост всей английской литературы; а о самом Гёте — лет тридцать спустя — Берне писал: «Рак, чудовищно расплзшийся по телу немецкой литературы». И оба были правы: ведь если наши обуквения глушат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают даже з а м ы ш л я т ь. Читатель, я бы ска-

зал, не успевает иметь замыслы, право на них отнято у него профессионалами слова, более сильными и опытными в этом деле: библиотеки раздавили читателю фантазию, профессиональное писание малой кучки пишущих забило и полки, и головы до отказа. Буквенные излишки надо истребить: на полках и в головах. Надо опростать от чужого хоть немного места для своего: право на замысел принадлежит всем: и профессионалу, и дилетанту. Я принесу вам восьмое кресло.

И, не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты.

Оставшись один, я еще раз оглядел черный, с полками, подставленными под пустоту, глушащий шаги и слова изолятор. Недоуменное и настороженное чувство прибывало во мне что ни миг: так себя чувствует, вероятно, подвергаемое вивисекции животное. «Зачем я ему или им, что нужно их замыслам от меня?» И я твердо решил тотчас же выяснить ситуацию. Но когда дверь раскрылась, на пороге уже было двое: хозяин и какой-то очкастый, с круглой, под рыжим ежом, головой: привалившись вялым, будто бескостным, телом на палку, он с порога разглядывал меня сквозь свои круглые стекла.

— Дяж, — представил хозяин.

Я назвал себя.

Вслед за вошедшим на пороге появился третий: это был короткий сухой человечек с двигающимися желваками под иглами глаз, с сухой и узкой щелью рта, хозяин обернулся навстречу третьему:

— А, Тюд.

— Да, я, Зез.

Заметив недоумение в моих глазах, тот, кого называли Зез, весело рассмеялся:

— После нашей беседы вам нетрудно будет понять, что писательским именам *з д е с ь* (выделил он последнее слово) делать нечего. Пусть остаются на титулблаттах: вместо них каждому члену братства дано по так называемому бессмысленному слогу. Видите ли, был некий чрезвычайно ученый профессор Эббингауз, который, исследуя законы запоминания, прибежал к системе «бессмысленных слогов», как он их называл: то есть попросту он брал любую гласную и приставлял к ней, справа и слева, по согласной; из изготовленного таким образом ряда слогов отбрасывались те, в которых была хотя бы тень смысла: остальное — мнемологу Эббингаузу пригодилось для изучения процесса запоминания, нам же скорее для... ну, это не требует комментариев. Где же, однако, наши замыслители? Время бы.

Будто в ответ, в дверь постучали. Вошли двое: Хиц и Шог. Немного погодя в дверях появился, астматически дыша и отирая пот, еще один: кличка его была Фэв. Оставалось пустым лишь одно кресло. Наконец вошел и последний: это был человек с мягко очерченным профилем и крутым скосом лба.

— Вы запаздываете, Пар, — встретил его председатель. Тот поднял глаза, они глядели отрешенно и будто издалека.



## II

С минуту длилось молчание. Все смотрели, как Шога, присев на корточки, разводил в камине огонь. Следя за медленными, будто проделывающими какой-то ритуал, движениями Шога, я успел разглядеть его: он был значительно моложе всех собравшихся; блики, заплывавшие вскоре на его лице, резко выделили капризную линию его яркого рта и чутко вздрагивающее вздутие ноздрей. Когда дрова в камине, разыскрясь, засычали, председатель, взяв в руки чугунные щипцы, ударил ими о каминные прутья:

— Внимание. Семьдесят третья суббота Клуба убийц букв открыта. — Затем, делая тот же ритуал, он подошел неспешными шагами к двери: дважды щелкнуло. В протянутой руке Зеза сверкнула бородчатая сталь:

— Рар: ключ и слово.

После паузы Рар заговорил:

— Мой замысел четырехактен. Заглавие: «Actus morbi».

Председатель насторожился:

— Виноват. Это пьеса?

— Да.

Брови Зеза нервно дернулись:

— Так и знал. Вы всегда, будто нарочно, нарушаете традиции клуба. Сценизировать — значит вульгаризировать. Если замысел проектируется на театр, значит, он бледен, недостаточно... оплодотворен. Вы всегда норовите выскользнуть

сквозь замочную скважину — и наружу: от углей камина — к огням рамп. Остерегайтесь рамп! Впрочем, мы ваши слушатели.

Лицо человека, начавшего рассказ, не выражало смущения. Прерванный, он спокойно отслушал тираду и продолжал:

— Всемирно известный персонаж Шекспира, поднявший вопрос о том, так ли легко играть на душе, как на флейте, отбрасывает затем флейту, но душу оставляет. Мне. Все-таки тут есть некое сходство: чтобы добиться у флейты предельно глубокого тона — нужно зажать ей все ее отверстия, все ее оконца в мир; чтобы вынуть из души ее глубь, надо тоже, одно за другим, закрыть ей все окна, все выходы в мир. Это и пробует сделать моя пьеса; и, следуя терминологии, выбранной Гамлетом, следовало бы сказать, что мой «Actus morbi» не в стольких-то актах, а в стольких-то позициях.

Теперь об изготовлении моих персонажей. В том же «Гамлете» есть один давно уже заинтересовавший меня двойной персонаж, напоминающий органическую клетку, разделившуюся на две не вполне отшнуровавшиеся, как называют это биологи, дочерние клетки. Я говорю о Гильденштерне и Розенкранце, существах, не представимых порознь, врозь друг от друга, являющихся — в сущности — одной ролью, расписанной по двум тетрадам... и только. Процесс деления, начатый триста лет тому назад, я пробую протолкнуть дальше. Подражая провинци-

альному трагику, ломающему — эффекта ради — флейту Гамлета пополам, я беру, скажем, Гильденштерна и разламываю это полусущество еще раз надвое: Гильден и Штерн — вот уже два персонажа. Имя Офелия и смысл, в нем сочетанный, я беру то в плане трагедии — Фелия, то в комедийном плане — Фе-ля. Понимаете ли, ввивая в косы то веночек из горькой руты, то бумажные папильотки, можно двойить и это.

Итак, для начала игры, для первой позиции пьесы, у нас уже четыре фишки: двигая ими по воображаемой сцене, как шахматист, играющий не глядя на доску, я получаю следующее...

На секунду Рар оборвал речь. Его длинные и белые, почти сквозистые пальцы прощупывали что-то сквозь воздух, как бы испытывая лепкость материала.

— Как это говорят: «Сцена представляет...» Ну, одним словом, молодой актер Штерн заперся наедине со своей ролью. Роль угадывается и без монологов: на спинке кресла черный плащ; на столе — среди книжных ворохов и портретов эльсинорского принца — черный берет со сломанным пером. Тут же пиджак и подтяжки. Штерн, небритый, со следами бессонницы на лице, шевелит острием шпаги приопущенную занавеску окна. — Мышь.

Стук в дверь. Продолжая фиксировать растревоженную шпагой занавеску, левой рукой снимает болт с двери. На пороге Фе-ля.

Мы с вами видим ее: миловидное личико с ямками, прыгающими на щеках, — существо, которое в пьесах всегда любят двое и от психологии которого требуется одно: из двух выбрать одного. Но Штерн не видит вошедшую и снова за свое:

— Мышь!

Феля в испуге приподымает юбку. Диалог.

ШТЕРН *(не оборачиваясь на крик Фели)*.

Напрасен крик. Молчи. И рук ломать не надо.

Гляди: сейчас твое сломаю сердце.

*(Отдергивает занавеску. На подоконнике, вместо Полония, примус и пара пустых бутылок.)*

Король из тряпок и лоскутьев,

Глупец, всю жизнь болтавший без умолку.

Пойдем. Ведь надобно ж с тобой покончить.

*В дверях сталкивается с Фелей.*

Феля. Куда ты? Без пиджака на улицу. Проснись!

ШТЕРН. Ты? О Феля, я... если бы ты знала...

Феля. Я знаю свою роль назубок. А вот ты — смешной путаник. Брось свои ямбы — ведь мы не на сцене.

ШТЕРН. Ты уверена в этом?

Феля. Только, пожалуйста, не начни меня разуверять. Если бы тут были зрители, я бы не сделала вот так *(став на цыпочки, целует его)*. Ну что, и это не разбудило?

— Милая.

— Наконец-то: первое слово не из роли.

Засим я перестаю вертеть любовную шарманку: вам важно знать, что сейчас Фелия ближе к Штерну, чем к Гильдену, его сопернику и дублеру; что она хочет ему победы в борьбе за роль. Так или иначе, в обгон диалогу, удостоверяю: разворачиваясь, он придвигает фишку к фишке, Штерна к Феле. Отсюда ремарка: скобка, поцелуй, закрыть скобку, точка. На этот раз и для Штерна — не сквозь роль — а в полной яви. Вглядитесь. А теперь переведите взгляд чуть влево. Дверь, брошенная полуоткрытой, распахивается; на пороге — Гильден.

Гильден (*улыбаясь, в меру злобно*). Зрители излишни. Удаляюсь.

Но влюбленные, разумеется, удерживают Гильдена. Минута смущенного молчания.

Гильден (*перебирает разбросанные повсюду книги*). Роль, я вижу, не так податлива, как... (*взгляд в сторону Фелии*). «Шекспир». «О Шекспире». Гм, опять Шекспир. Кстати, сейчас в трамвае протест какой-то, заметив роль, торчащую у меня из кармана, и желая сделать мне приятное, спросил: «Говорят, и не существовало никакого Шекспира, а только подумать, сколько пьес после него; а вот существуй Шекспир, так, должно быть, и пьес-то этих самых...» — И смотрит на меня этак идиотически-любопытательно.

*Феля хохочет. Штерн остается серьезен.*

ШТЕРН. Простец-то простец, но... что ты ему ответил?

Гильден. Ничего. Трамвай остановился. Мне надо было выходить.

ШТЕРН. Видишь ли, Гильден, еще недавно мне твой пустяк показался бы только смешным. Но после того, как вот уж третью неделю бьюсь над тем, чтоб засуществовать в несуществовании, ну как бы тебе сказать, чтобы вжиться в роль, у которой, скажете вы, нет своей жизни, я осторожно обращаюсь со всеми этими «быть» и «не быть». Ведь между ними только одно и л и. Всем дано выбирать. И иные уже выбрали: одни — борьбу за существование; другие — борьбу за несуществование; ведь линия рампы как таможенная черта: чтоб переступить ее, чтоб получить право находиться там, по ту сторону ее огней, надо уплатить кое-какую пошлину.

Гильден. Не понимаю.

ШТЕРН. А между тем понять — это еще не все. Надо и решиться.

Фелия. И ты?..

ШТЕРН. Да. Я решил.

Гильден. Чудак. Рассказать Таймеру — вот бы посмеялся. Хотя пока что наш патрон не проявляет особого веселья. Вчера, когда ты опять пропустил репетицию, он поднял целую бурю. Я затем и зашел к тебе, чтобы предупредить, что если ты и сегодня будешь «несуществовать» на репетиции, то Таймер грозил...

ШТЕРН. Знаю. Пусть. Мне не с чем, понимаешь, не с чем; точнее — не с кем идти на вашу репетицию. Пока роль не придет ко мне, пока я ее не увижу вот здесь, как вижу сейчас тебя, мне нечего делать на ваших сборищах.

*Фелия умоляюще смотрит, но Штерн, точно провалившись в себя самого, не видит и не слышит.*

Гильден. Но ведь должна же быть проверка извне: сначала глаза режиссера, затем зрителя...

ШТЕРН. Чепуха. Зрители: да если б их шубы, развешанные по номеркам, сняв с крючьев, рассадить по креслам, а зрителей развешать по гардеробным крючьям, — искусство б от этого не пострадало. Режиссер, глаз режиссера — так ты, кажется, сказал: я бы его выколол — из театра. К дьяволу! Актеру нужны глаза его персонажа. Только. Вот если б сейчас сам Гамлет пришел сюда и, отыскав зрочками зрочки, сказал бы мне... знаете что, друзья, не сердитесь, но мне надо работать. Рано или поздно я дозовусь его, и тогда... Уходите.

Гильден. Однако, Феля, он с нами заговорил действительно тоном принца. Только и остается — уйти. Тем более что через четверть часа начнется.

Фелия. Штерн, милый, пойдем с нами.

ШТЕРН. Оставьте меня. Прошу вас. И у меня сейчас... начнется.

Штерн остается один. Некоторое время он сидит без движения, как вот я. Потом (Рар резким движением протянул

руку к затененной пустоте книжных полок: глаза слушающих повернулись туда)... потом... он берет книгу — первую попавшуюся. Конспектирую монолог.

ШТЕРН. Итак, попробуем. Действие второе, сцена вторая: «Заговорю с ним опять». Ко мне: «Что вы читаете, принц?» Слова, слова, слова. О, если б дано было знать: какие слова были в т о й книге. Если б: ведь тут узел смыслов. «Но о чем они говорят?» — «С кем?»

В это время — вы замечаете ее? Там, на пороге, беззвучно возникнув в сумерках вечеряющей комнаты, появляется Роль: она точно, но сквозь муть, как отражение в дешевом зеркале, повторяет собой актера. Штерн, сидящий спиной к дверям, не замечает Роли, пока она, подойдя к нему сзади, не прикоснулась рукой к плечу.

Роль. Послушайте, вы хотели узнать слова книги, которую я имею обыкновение вот уже триста двадцатый год кряду перелистывать во второй сцене второго акта? Что ж, слова эти можно бы вам, пожалуй, ссудить — разумеется, не даром.

Черный фантом успел уже бесшумно вдвинуться в пустое кресло против Штерна: с минуту актер и Роль пристально всматриваются друг в друга.

ШТЕРН. Нет. Это не то. Я представляю своего Гамлета иначе. Вы, простите меня, жухлый и линиялый. А я хочу не так.

Роль (*флегматически*). И тем не менее с ы г р а е т е меня — именно так.



ШТЕРН (*мучительно оценивая своего двойника*). Но я не хочу, понимаете, не хочу быть как вы.

Роль. Может, и я не хочу быть, как вы. И наконец, я всего лишь вежлив: зовут — прихожу. Придя, спрашиваю: *з а ч е м ?*

Пальцы Рара обыскивали воздух, точно в нем кружила невидимкою реплика; казалось, они уже схватили ее и вдруг разжались: Рар внимательно всматривался вслед выпорхнувшему слову.

— Вот тут-то я и попробую, замыслители, закрыть флейте ее первый клапан. Об это *з а ч е м* Штерну нужно удариться. Ему, актеру, то есть существу, профессионально говорящему чужие слова, пожалуй, и не найти своих, чтобы объяснить своему отражению себя — отраженного.

По-моему, тут все довольно просто: каждое трехмерное существо дважды удвоет себя, отражаясь вовне и вовнутрь. Оба отражения неверны: холодное и плоское подобие, возвращаемое нам обыкновенно стеклянным зеркалом, неверно уже потому, что менее чем трехмерно, распластано; другое отражение лица, отбрасываемое им внутрь, втекающее по центроостремительным нервам в мозг, состоящее из сложного комплекса самоощущений, тоже неверно, потому что — более чем трехмерно.

И вот — бедняга Штерн хотел объективировать, поднять со дна души к периферии, выманить игрой, зазвать в роль т о, внутреннее подобие себя; на зов пришло другое отраже-

ние — стекливое, мертвое, спрятанное под поверхностями, отраженное вовне. Он не хочет его, отрекается от назойливого фантома и тем и создает ему объективность бытия вне себя. То, о чем говорю, существует и вне пьес; случалось и будет случаться. Да вот хотя бы Эрнесто Росси: в своих «Воспоминаниях» он рассказывает о посещении развалин Эльсинора. Приблизительно так: на некотором расстоянии от замка Росси останавливает экипаж и пешком к руинам. В сгущающихся сумерках ровным шагом приближается он к замку. Неумирающая история о датском принце овладевает им. Шагая навстречу черному силуэту моста, он — сначала про себя, потом все громче и громче, припоминая первый акт «Гамлета», стал декламировать свое обращение к тени отца. И когда, постепенно втягиваясь в привычную роль, додекламировал до реплики Тени и привычным же движением поднял голову, — он увидел ее: выйдя из ворот, Тень, бесшумно близясь, шла к брошенному через ров мосту: реплика принадлежала ей. Далее Росси сообщает лишь, что, повернувшись спиной к партнеру, он опрометью бросился назад, отыскивал возницу и велел гнать лошадей что есть мочи. Итак, актер бежал — в данном случае от пришедшей к нему роли. Но ведь он мог и о с т а т ь с я там, у моста: из мира в мир. И Штерну придется о с т а т ь с я — для этого не нужно таланта: достаточно воли. Но давайте включим пьесу. Наш персонаж давно ждет нас: я слишком затянул ему паузу. Итак:

ШТЕРН. Значит, меня увидят таким? Как вот ты?

Роль. Да.

ШТЕРН (*в раздумье*). Так. Еще вопрос: откуда ты? И еще: откуда бы ты ни был, тебе придется уйти. Я отказываюсь от роли.

Роль (*приподымаясь*). Как угодно.

ШТЕРН (*шаг вслед*). Стой. Я боюсь: тебя могут видеть. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь кроме меня... ты понимаешь.

Роль. Не торопитесь включать меня в пространство. Дело в том, что видеть меня... ну, скажем, необязательно. Мы существуем, но условно. Кто захочет — увидит, а не захочет... вообще это насилие и дурной вкус быть п р и н у д и т е л ь н о р е а л ь н ы м. И если у вас, на земле, это еще не вывелось, то...

ШТЕРН. Постой, постой. Но ведь я х о т е л видеть другого...

Роль. Не знаю. Может быть, перепутали подорожные. При переходе из мира в мир это бывает. Сейчас у нас огромный спрос на Гамлетов. Гамлетбург почти опустел.

ШТЕРН. Не понимаю.

Роль. Очень просто. Вы затребовали из архивов, а вам прислали из заготовочной.

ШТЕРН. Но как же это... распутать?

Роль. Тоже — просто. Я провожу вас до Гамлетбурга, а там ищите, кого вам надо.

ШТЕРН (*растерянно*). Но где это? И как туда пройти?

Роль. Где: в Стране Ролей. Есть и такая. А вот как, этого ни рассказать, ни показать нельзя. Думаю, зрители извинят, если мы... за закрытым занавесом.

Рар спокойно оглядел нас всех:

— Роль, в сущности, права. С вашего разрешения даю занавес. Теперь дальше, позиция вторая: постарайтесь увидеть уходящую от глаза перспективу, ограниченную со всех сторон близко сдвинувшимися стенами и заостренную вверху жесткими каркасами готических арок. Поверхности этого фантастического туннеля сверху донизу в квадратных пестрых бумажных пятнах, поверх которых разными шрифтами, на разных языках одно и то же слово: Гамлет — Гамлет — Гамлет. Внутри, под убегающими вглубь буквами разноязыких афиш, два ряда теряющихся вдалеке кресел. В креслах, завернувшись в черные плащи, длинной вереницей — Гамлеты. У каждого из них в руках книга. Все они склонились над ее развернутыми листами, их бледные лица сосредоточенны, глаза не отрываются от строк. То здесь, то там шуршит перелистываемая страница и слышится тихое, но немолкнущее:

— Слова, слова, слова.

— Слова — слова.

— Слова.

Я еще раз приглашаю вас, замыслители, взглядеться в череду фантомов. Под черными беретами опечаленных принцев вы увидите тех, кто вводил вас в проблему Гамлета:

в этот длинный и узкий — сквозь весь мир протянувшийся — глухой коридор. Я, например, сейчас ясно могу разглядеть — третье кресло слева — резкий профиль Сальвиниева Гамлета, сдвинувшего брови над ему лишь зримым текстом. Правее и дальше под складками черной тяжелой ткани хрупкий контур, похожий на Сару Бернар: тяжелый фолиант с отстегнутыми бронзовыми застежками оттянул тонкие слабые пальцы, но глаза цепко ухватились за знаки и смыслы, таимые в книге. Ближе, под красным пятном афиши, одутлое, в беспокойных складках лицо Росси, дряблеющая щека уперлась в ладонь, локоть в резную ручку кресла; мускулы у сгиба колен напряглись, а у виска пульсирует артерия. И дальше, в глубине перспективы, я вижу нежно очерченное лицо женственного Кемпбеля, острые скулы и сжатый рот Кина и там, у края видения, запрокинутую назад, с надменной улыбкой на губах, с полузакрытыми глазами, то возникающую, то никнущую в дрожании бликов и теней, ироническую маску Ричарда Бэрбеджа. Мне трудно рассмотреть отсюда — это далеко, — но, кажется, он закрыл книгу: прочитанная от знака до знака, сомкнув листы, она неподвижно лежит на его коленях. Возвращаюсь взглядом назад: иные лица затенены, другие отвернулись от меня. Да, возвращаюсь, кстати, и к действию.

Дверь в глубине, подымаясь створкой кверху, как занавес, выбрасывает резкий свет и две фигуры: впереди, с ви-

дом чичероне, шествует Роль. Вслед за ней робко озирающийся ШТЕРН. Ноги его в черном трико: шнурки развязавшихся туфель болтаются из стороны в сторону; на плечах наскоро наброшенный короткополый пиджак. Медленно — шаг за шагом — они проходят меж рядов погруженных в чтение Гамлетов.

Роль. Вам повезло. Мы попали как раз к нужной вам сцене. Выбирайте: от Шекспира до наших дней.

ШТЕРН (*указывает на несколько пустых кресел*). А тут — почему не занято?

Роль. Это, видите ли, для предстоящих Гамлетов. Вот сыграй вы меня, и мне бы сыскалось местечко, — ну, не здесь, так где-нибудь там, сбоку, на табуретке, с краешка. А то мы какой конец отломали — из мира в мир, — и вот стой. Знаете, пойдём-ка из страны достижений в страну замыслов: там места сколько угодно.

ШТЕРН. Нет. Искать надо здесь. Что это? (*Над дугами сводов — в вышине — проносятся плещущие звуки: стихли.*)

Роль. Это стая аплодисментов. Они залетают иногда и сюда: перелетными птицами — из мира в мир. Но мне здесь дольше нельзя: еще хватятся в замыслительском. Шли бы со мной. Право.

ШТЕРН (*отрицательно качает головой; его проводник уходит; один — среди слов, в словах. Жадно, как нищий сквозь стекло витрины, всматривается в ряды ролей. Шаг, дру-*

гой. Колеблется. Глаза его, постепенно пробираясь сквозь полутьму, начинают различать застывшую в глубине великолепную фигуру Ричарда Бэрбеджа). Этот.

Но тут один из Гамлетов, который, отложив книгу, давно уже вглядывался в пришельца, поднявшись с кресел, внезапно преграждает ему дорогу. Штерн в смятении отступил, но Роль сама смущена и почти испугана: выступив из полутьмы в свет, она обнаруживает дыры и заплаты на своем неладно скроенном — с чужого плеча — плаще; на плохо пробритом лице Роли искательная улыбка.

Роль. Вы оттуда? (*Утвердительный кивок Штерна.*) Оно и видно. Нельзя ли осведомиться: почему меня больше не играют? Не слышали? Всем, конечно, известно, что трагик Замтутырский отпетый пьяница и мерзавец. Но нельзя же так. Прежде всего — он меня не выучил. Вы представляете себе, как приятно быть невыученным: не то ты еси, не то не еси. В этой самой бытенебыти, в третьем акте, знаете, мы так запутались, что если бы не суфлер... и вот после этого ни разу у рампы. Ни одного вызова: в бытие-с. Скажите на милость, что с Замтутырским, спился или ампула переменял: если вернетесь, прошу вас, поставьте ему на вид. Нельзя же так: породил меня, ну и играй меня. А то... (*Штерн, отстраняя пародию, пробует пройти дальше, но та не унимается.*) Со своей стороны — если могу быть чем полезен...

ШТЕРН. Я ищу книгу третьего акта. Я — за ее смыслом.  
— Так бы и сказали. Вот. Только не зачитайте. Замтутырский, как и вы, на этой книге всю игру строил: меня ни в зуб, ну и ходит по сцене, и чуть что — в книгу. «Раз, — говорит, — Гамлету в третьем акте можно в книжку смотреть, то почему нельзя во втором или там в пятом; оттого, — говорит, и не мстит, что некогда: книжник, эрудит, занятой человек, интеллигент: читает, читает, оторваться не может: убить и то некогда». Так что, если любопытствуете, пожалуйста: перевод Полевого, издание Павленкова.

*Штерн, отстранив налипающую на него замтутыркинскую роль, направляется в глубь перспективы к гордому контуру Бэрбеджа. Стоит, не смея заговорить. Бэрбедж сначала не замечает, потом веки его медленно поднимаются.*

БЭРБЕДЖ. Зачем здесь это существо, отбрасывающее тень?

ШТЕРН. Чтобы ты принял его к себе в тени.

БЭРБЕДЖ. Что ты хочешь сказать, пришелец?

ШТЕРН. То, что я человек, позавидовавший своей тени: она умеет и умалиться, и возвеличиться, а я всегда равен себе, один и тот же в одних и тех же — дюймах, днях, мыслях. Мне давно уже не нужен свет солнц, я ушел к светам рамп; и всю жизнь я ищу Страну Ролей; но она не хочет принять меня; ведь я всего лишь замыслитель и не умею свершать: буквы, спрятанные под застежки твоей книги, о великий образ, для меня навсегда останутся непрочитанными.



БЭРБЕДЖ. Как знать. Я триста лет обитаю здесь, вдали от потухших рамп. Время достаточное, чтобы домыслить все мысли. И знаешь, лучше быть статистом там, на земле, чем премьером здесь, в мире отыгранных игр. Лучше быть тупым и ржавым клинком, чем драгоценными, но пустыми ножнами; и вообще лучше хоть как-нибудь быть, чем великолепно не быть: теперь я не стал бы размышлять над этой дилеммой. И если ты подлинно хочешь...

ШТЕРН. Да, хочу!

БЭРБЕДЖ. Тогда обменяемся местами: отчего бы Роли не сыграть актера, играющего роли.

Обмениваются плащами. Погруженные в чтение Гамлеты не замечают, как Бэрбедж, мгновенно вобрав в себя походку и движения Штерна, пряча лицо под надвинутым беретом, направляется к выходу.

ШТЕРН. Буду ждать вас. *(Поворачивается к пустому креслу Бэрбеда: на нем мерцающая металлическими застежками книга.)* Он забыл книгу. Поздно: ушел. *(Присев на край кресла, с любопытством оглядывает сомкнутые застежки книги. Со всех сторон — снова шуршанье страниц и тихое: «Слова-слова-слова».)* Буду ждать.

*Теперь третья позиция: кулисы. У входа, примостившись на низкой скамеечке, Фелия. На коленях ее тетрадка. Зажав уши и мерно раскачиваясь, она учит роль.*

ФЕЛИЯ. Я шила в комнате моей, как вдруг... вбегает...

*Вбегают Гильден.*

Гильден. Штерна нет?

Фелия. Нет.

Гильден. Ты предупреди его: если он и сегодня пропустит репетицию, роль переходит ко мне.

БЭРБЕДЖ (*появившийся на пороге — за спинами говорящих; про себя*). Роль перешла, это правда: но не от него и не к тебе.

*Гильден уходит в боковую дверь. Фелия снова наклоняется над тетрадкой.*

— Я шила в комнате моей, как вдруг  
Вбегают Гамлет, плащ на нем разорван,  
На голове нет шляпы, грязные чулки  
Развязаны и спущены до пят;  
Он бледен, как стена; колена гнутся;  
Глаза блестят каким-то странным светом,  
Как будто бы пришел он из иного мира,  
Чтоб рассказать об ужасах его.

Таким...

БЭРБЕДЖ (*заканчивает*)... «Таким явился он». Не так ли? Колена гнутся... еще бы — пройти такую даль. Но рассказывать было бы слишком долго.

Фелия (*с изумлением взглядываясь в пришельца*). Как ты хорошо вошел в роль, милый.

БЭРБЕДЖ. Ваш милый вошел в другое.

Фелия. У тебя хотели ее отнять: я отправила вчера письмо. Оно получено!

БЭРБЕДЖ. Боюсь, что туда не доходят письма. И притом, как отнять роль у отнятого актера?

Фелия. Ты говоришь странно.

— «Это странно

Как странника прими в свое жилище».

Вошедшие Таймер, Гильден и несколько актеров прерывают диалог.

— Режиссер Таймер, не будем придумывать ему наружность, он будет похож ну хотя бы на меня: желающих просят смотреть, — улыбнулся Рар, оглядывая слушающих.

Кроме меня одного, никто, кажется, не возвратил ему улыбки: замыслители, сомкнув молчаливый круг, ничем и никак не выражали своего отношения к рассказу.

— Таймер видится мне экспериментатором, упрямым вычислителем, придерживающимся методов подстановки: люди, подставляемые им в его постановочные схемы, нужны ему, как математику нужны цифры: когда пришла очередь той или иной цифре, он вписывает ее; когда очередь цифры отошла, он перечеркивает отслуживший знак. Сейчас, увидев того, кого он принимает за Штерна, Таймер не удивлен и даже рассержен.

ТАЙМЕР. Ага. Пришли. А роль ушла. Поздно: Гамлета играет Гильден.

БЭРБЕДЖ. Вы ошибаетесь: ушел актер, а не роль: к услугам вашим.

ТАЙМЕР. Не узнаю вас, Штерн: вы всегда, казалось, избегали играть — в том числе и словами. Что ж. Два актера на одну роль? Идет. Внимание: беру роль и разрываю ее надвое. Это нетрудно — надо лишь угадать линию разрыва. Ведь Гамлет, в сущности, это схватка да с не т: они-то и будут у нас центрозомами, разрывающими клетку на две новых клетки. Итак, попробуем: подать два плаща — черный и белый. (*Быстро размечает тетрадки с ролями: одну, вместе с белым плащом, передает Бэрбеджу; другую, вместе с черным, — Гильдену.*) Акт третий, сцена первая. Приготовьтесь. Раз, два, три: занавес пошел.

ГАМЛЕТ I (белый плащ). Быть?

ГАМЛЕТ II (черный плащ). Или не быть? Вот в чем вопрос.

ГАМЛЕТ I. Что лучше?

ГАМЛЕТ II. Что благороднее?

ГАМЛЕТ I. Сносить и гром и стрелы

Враждующей судьбы. О нет.

ГАМЛЕТ II. Или восстать

На море бед и кончить все борьбою!

ГАМЛЕТ I. Окончить жизнь.

ГАМЛЕТ II. Нет, лишь уснуть.

ГАМЛЕТ I. Не более?

ГАМЛЕТ II. Да, и знать, что этот сон

Окончит все. И тысячи ударов...

ГАМЛЕТ I. Но ведь удел живых...

ГАМЛЕТ II. Такой конец достоин  
Желаний жарких.

ГАМЛЕТ I. Умереть?

ГАМЛЕТ II. Уснуть.

ГАМЛЕТ I. Но если сон виденья посетят?  
Что за мечты на смертный сон слетят,  
Когда стряхнем мы суету земную?

ГАМЛЕТ II. Да, это заграждает дальний путь  
И делает страданье долговечным.  
Кто снес бы бич и посмеянье века,  
Бессилье прав, тиранов притеснения,  
Обиды гордого, з а б ы т у ю любовь...

ГАМЛЕТ I. Презренных душ презрение к заслугам...

ГАМЛЕТ II. Да, если б мог нас подарить покоем  
Один удар.  
И только страх чего, то после смерти, —  
Страна безвестная, откуда путник  
Не возвращался к нам.

ГАМЛЕТ I. Неправда, возвратился!

*Все с удивлением смотрят на Бэрбеджа, оборвавшего монолог, начавший было расцепляться в диалоге.*

ТАЙМЕР. Это не из роли.

*БЭРБЕДЖ. Да, это из Царства Ролей. (Он принял свою прежнюю позу: над белым, как саван, плащом надменно за-*

*прокинута мелово-белая маска: глаза закрыты; на губах улыбка гаера.)* Это было лет триста тому. Вилли играл Тень, я — принца. С утра лил дождь, и партер был весь в лужах. Но народу все же было много. К концу сцены, когда я задекламировал о «мире, вышедшем из колеи», в публике поймали воришку, вытащившего чужие пенсы из кармана. Я кончил акт под чавканье задвигавшихся ног по лужам и глухое: вор-вор-вор. Беднягу тотчас же, как это у нас водилось, вытащили на помост сцены и привязали к столбу. Во втором акте воришка был смущен и отворачивал лицо от протянутых к нему пальцев. Но сцена за сценой — вор освоился и, чувствуя себя почти включенным в игру, наглея и наглея, стал кривляться, отпускать замечания и советы, пока мы, отвязав его от столба, не сошвырнули прочь со сцены. *(Вдруг повернувшись к Таймеру.)* Не знаю, что или кто привязал тебя к игре. Но если ты думаешь, что твои краденые мыслишки — ценой по пенсу штука — могут сделать меня богаче, меня, для которого писаны вот эти догрелли, — получай свои медяки и прочь из игры.

*Швыряет Таймеру роль в лицо. Смятение.*

Фелия. Опомнись, Штерн!

БЭРБЕДЖ. Мое имя Ричард Бэрбедж. И я развязываю тебя, воришка. Прочь из Царства Ролей!

ТАЙМЕР *(бледный, но спокойный)*. Спасибо: воспользуюсь развязанными руками, чтобы... да свяжите же его: видите — он сошел с ума.

БЭРБЕДЖ. Да, я снизошел к вам, люди, с того, что превыше всех ваших умов, — и вы не приняли...

На Бэрбеджа бросаются, пробуя связать. Тогда он, в судороге борьбы, кричит, понимаете ли, кричит им всем... вот тут, я сейчас...

И, бормоча какие-то неясные слова, рассказчик быстро сунул руки в карман: что-то зашуршало под черным бортом его сюртука. И тотчас же он оборвал слова, расширенными зрачками оглядывая слушателей. Беспокойно вытянулись шеи. Задвигались стулья. Председатель, вскочив с места, властным жестом прекратил шум.

— Рар, — зачеканил он. — Вы пронесли сюда буквы? Тая их от нас? Дайте рукопись. Немедленно.

Казалось, Рар колеблется. Затем, среди общего молчания, кисть его руки вынырнула из-под сюртучного борта: в ее пальцах, чуть вздрагивая, белела вчетверо сложенная тетрадь. Председатель, схватив рукопись, с минуту скользил глазами по знакам: он держал ее почти брезгливо, за края, точно боялся грязнить себя прикосновением к чернильным строкам. Затем Зез повернулся к камину: он почти догорел, и только несколько углей, медленно лиловея, продолжали пламенеть вверх решетки.

— Согласно пункту пять устава предается рукопись смерти: без пролития чернил. Возражения?

Никто не пошевелился.

Коротким швырком председатель бросил тетрадь на угли. Точно живая, мучительно выгибаясь белыми листами, она тихо и тонко засычала; просинела спираль дымка; вдруг — снизу рвануло пламенем, и — тремя минутами позже председатель Зез, распепелив дробными ударами каминных щипцов то, что так недавно еще было пьесой, отставил щипцы, повернулся к рассказчику и процедил:

— Дальше.

Лицо Рара не сразу вернулось в привычное выражение; видно было, что ему трудно владеть собой, — и все же он заговорил снова:

— Вы поступили со мной, как мои персонажи с Бэрбеджем. Что ж — поделом: и ему, и мне. Продолжаю: то есть поскольку слов, которые я хотел прочесть, уже нельзя прочесть (он бросил быстрый взгляд на каминную решетку: последние угли отыскивались и оттлевали), опускаю конец сцены. Всем ясно, что испуганная происшедшим она пьесы, Фелия, переходит вместе с ролью — к Гильдену. Четвертая и последняя позиция заставляет нас вернуться к Штерну.

Оставшись в Царстве Ролей, он ждет возвращения Бэрбеджа. Нетерпение — от мига к мигу — возрастает. Там, на земле, может быть, уже идет спектакль, в котором гениальная роль играет за него себя самое. Над стрельчатыми сводами проносится шумная стая аплодисментов:



— Мне?

В волнении Штерн пробует обратиться к окружающим его углубившимся в свои книги Гамлетам. Его мучают вопросы, наклонившись к соседу, спрашивает:

— Вы должны понять меня. Ведь вы знаете, что такое слава.

В ответ:

— Слова — слова — слова...

И спрошенный, закрыв книгу, удаляется. Штерн к другому:

— Я чужой всем. Но вы научите меня быть всеми.

И другой Гамлет, сурово взглянув, закрывает книгу:

— Слова — слова.

К третьему:

— Там, на земле, я оставил девушку, которая меня любит. Она говорила мне...

— Слова.

И с каждым вопросом, как бы в ответ, Гамлеты поднимаются и, закрыв свои книги, один вслед за другим, — удаляются.

— А если Бэрбедж... Вдруг он не захочет вернуться. Как тогда найти путь: туда, назад? И вы, зачем вы покидаете меня? Все забыли: может, и она как все. Но ведь она клялась...

И снова:

— Слова — слова.

— Нет, не слова: слова сожжены; по ним — я видел — били каменными щипцами — слышите?!

Рар провел рукою по лбу:

— Простите — спуталось; зубья за зубья. Это иной раз бывает. Разрешите с купюрами.

Итак, черед Гамлетов покинула Штерна; вслед им ползут и пестрые пятна афиш; даже буквы на них, выпрыгивая из строк, устремляются прочь. Фантастическая перспектива Царства Ролей с каждым мигом меняет свой вид. Но у Штерна осталась в руках книга, забытая Бэрбеджем. Теперь уже медлить незачем: настало время взять смысл силой, вскрыть тайну. Но книга на крепких металлических застежках. Штерн пробует разогнуть ей переплет. Книга сопротивляется, плотно сжимая листы. В припадке гнева Штерн, кровавая пальцы, все-таки выламывает тайник со словами. На разжатых страницах:

— Actus morbi. История болезни. Большой номер. Так. Шизофрения. Развитие нормальное. Припадок. Температура. Повторный. Бредовая идея: какой-то Бэрбедж. Желудок нормальный. Процесс принимает затяжную форму. Неизлеч...

Штерн подымает глаза: сводчатый длинный больничный коридор. Вдоль ряда перенумерованных дверей справа и слева кресла для дежурных по палате и посетителей. В глубине коридора погруженный в книгу, закутанный в белый балахон санитар. Он не замечает, что дверь в глубине перспективы раскрывается и поспешно входят двое: мужчина и женщина. Мужчина обернулся к спутнице:

— Как бы он ни был плох, но надо было мне дать хотя бы разгримироваться и сбросить костюм.

Оглянувшийся на голоса санитар изумлен: на посетителях под сброшенным ими верхним платьем театральные костюмы Гамлета и Офелии.

— Ну вот видишь: я так и знал, что на нас вытаращатся. К чему была эта горячка?

— Милый, но вдруг бы мы не успели. Ведь если он меня не простит...

— Причуды.

Санитар совершенно растерян. Но Штерн, с просветленным лицом, подымается навстречу пришедшим:

— Бэрбедж, наконец-то. И ты, единственная! О, как я ждал тебя и тебя. И я смел подозревать: Бэрбедж, я думал, ты украл у меня и ее, и роль, я хотел отнять у тебя твои слова: они отмстились за себя, назвав меня безумцем. Но ведь это только слова, слова, роли, — если нужно играть безумца, хорошо, пусть, — я буду играть. Только зачем вдруг переменили декорацию: это из какой-то другой пьесы. Но ничего: мы пойдем из ролей в роли, чередую пьес, все дальше и дальше, в глубь безграничного Царства Ролей. А почему на тебе нет венка, Офелия? Ведь для сцены сумасшествия тебе нужен майоран и рута. Где они?

— Я сняла, Штерн.

— Да? А может быть, ты утонула и не знаешь, что тебя уж нет, и твой венок плавает сейчас по зыбям меж тростника и лилий, и никто не слышит, как...

— На этом я, пожалуй, оборву. Без излишних росчерков, — Рар поднялся.

— Но позвольте, — надвинулись на отговорившего круглые очки Дяжа, — что же, он умирает или нет? И после мне неясно...

— Мало ли что вам неясно. Я зажал флейте все ее прорези. Все. О дальнейшем флейтист не спросит: он должен знать сам. И вообще, после каждого основного остается некое о с т а л ь н о е. В этом пункте я не расхожусь с Гамлетом: «Остальное — молчание». Занавес.

Рар подошел к двери, повернул ключ дважды влево и, поклонившись с порога, исчез. Замыслители расходились молча. Хозяин, задержав мою руку в своей, извинился в том, что досадная непредвиденность испортила вечер, и напомнил о следующей субботе.

Выйдя на улицу, я увидел далеко впереди спину Рара: тотчас же он исчез в одном из переулков. Я быстро шел — от перекрестка к перекрестку, стараясь распутать свои ощущения. Мне казалось, вечер этот черным клином вогнан мне в жизнь. Надо выklinить. Но как?

### III

В следующую субботу, к сумеркам, я снова был в Клубе убийц букв. Когда я вошел, все уже были в сборе. Я отыскал глазами Рара: он сидел на том же месте, что и прошлый раз; лицо его казалось чуть заостренным; глаза глубже ушли в орбиты.

На этот раз ключ и слово принадлежали Тюдю. Получив их, Тюд внимательно осмотрел стальную бородку ключа, точно ища в ее расщепе темы, затем, переведя внимание на слова, стал осторожно вынимать их одно за другим, столь же тщательно их осматривая и взвешивая. Вначале медленные, слова пошли все скорей и скорей, почти в обгон друг другу; на острых, шевелящихся скулах рассказчика проступили пятна румянца. Все лица повернулись к рассказчику.

— *Ослиный праздник*. Это заглавие. Представляется мне в виде новеллы, что ли. Тема моя отыскивается этак веков за пять до нашего времени. Место? Ну, хотя бы деревенька где-нибудь на юге Франции: сорок — пятьдесят дворов; в центре старый костел, вокруг виноградники и тучные поля. Напомню: именно в ту эпоху и в тех именно местах возник и закрепился обычай справлять ослиные праздники, так называемые *Festa asinorum*: это последнее латинское определение принадлежит церкви, с разрешения и благословения которой праздник осла странствовал из города в город и из сел в села. Возник он так: в вербную субботу, сценируя — для вящей назидательности — события предсмертных дней Христа, вводили под пение антифонов осла, обыкновенного, взятого у кого-нибудь из крестьян осла, который должен был напомнить о том прославленном евангелиями животном, которое, будучи проверено во всех своих признаках рядом цитат из закона и пророков, было избрано для своей прови-

денциальной роли. Вначале, можно предполагать, деревенский ослик, включенный — странным образом — в мессу, не проявлял ничего кроме растерянности и желания вернуться назад, в стойло. Но очень скоро праздник осла превратился в своего рода мессу наоборот, оброс тысячами кощунств, исполнился буйства и разгула: окруженный толпой гогочущих поселян, среди гиканья и градом сыплющихся палочных ударов, ошалелый от страха, осел кричал и брыкался. Церковные служки, ухватившись за уши и хвост евангельского осла, втаскивали его на престол. Позади редела толпа, распевая циничные песни и кричащая ругательства на протяжные церковные мотивы. Кафельницы, набитые всякой гнилью, истово качаясь из стороны в сторону, наполняли храм дымом и смрадом. Из священных чаш хлестали сидр и вино, дрались, и богохульствовали, и гоготали, когда возвеличенный осел со страху гадил на плиты алтаря. После все это обрывалось. Праздник прокатывался дальше, а отбогохульствовавшие поселяне снова, набожно крестясь, отстаивали долгие мессы, жертвовали последние медяки на благолепие храма, ставили свечи иконным ликам, покорно несли эпитимии и жизнь. До нового азинария.

Полотно загрунтовано. Дальше.

Франсуаза и Пьер любили друг друга. Просто и крепко.

Пьер был дюжим парнем, работавшим на окрестных виноградниках. Франсуаза же была больше похожа на вписан-

ных в золотые нимбы по стенам храма женщин, чем на девушек, живших в избах по соседству с ней. Но вокруг ее нежно очерченной головы не было, разумеется, золотого нимба, так как она была единственной помощницей своей матери и придаток этот мог лишь мешать в работе. Франсуазу любили все, и даже престарелый о. Паулин, встречая ее, всякий раз улыбался и говорил: «Вот душа, возжженная перед Господом». И только один раз не сказал о. Паулин своего «вот душа»: это было, когда Франсуаза и Пьер пришли сказать ему, что хотят пожениться.

Первое оглашение было после воскресной мессы: Франсуаза и Пьер, стоя вместе в притворе, с бьющимися сердцами ждали; старый священник медленно взошел по ступенькам амвона, раскрыл требник, долго искал очки, и только тогда прозвучали стоящим друг подле друга их имена, сказанные — сквозь ладан и солнце — друг вслед другу.

Второе оглашение пало на вечернюю службу в среду. Пьера не было: ему нельзя было отлучиться от работы. Но Франсуаза пришла. Полусумрак храма был пуст — лишь две-три нищенки у входа — и снова дряхлый о. Паулин, скрипя крутыми ступенями амвона, поднялся навстречу сводам, вынул требник, отыскивал в карманах сутаны очки и сочитал имена: Пьер — Франсуаза.

Третье оглашение было назначено на субботу. Но в этот день — неожиданно и буйно — прихлынул праздник осла.

Идя к церкви, Франсуаза еще издали услышала бесчисленные крики и дикий вой голосов, несшийся ей навстречу. У ступеней паперти она остановилась, колеблясь, как пламя, зажженное на ветру. В раскрытые двери кричал и неистовствовал звериными и человеческими голосами ослиный праздник. Франсуаза повернула было назад, но в это время подоспел Пьер: добрый малый не хотел больше ждать — его рукам, привыкшим к кирке и мотыге, хотелось Франсуазы. Он отыскал о. Паулина, заслонившегося сомкнутыми ставнями от неистовствующего храма, и просил его, сконфуженно, но настойчиво, не откладывая ни на единый час последнего оглашения. Старый священник, молча выслушав, перевел взгляд на стоящую в стороне Франсуазу, улыбнулся одними глазами и так же, не проронив ни слова, быстро пошел к раскрытым дверям храма: жених и невеста — позади. У порога Франсуаза рванула руку из руки Пьера, но тот не отпустил ее: рев сгрудившихся людей, хохот сотен глоток и почти человеческий страдальческий вопль осла оглушили Франсуазу. Расширенные зрачки ее сквозь дымы зловонных курильниц видели сначала лишь взметенные кверху руки, раскрытые рты и вспученные, набрякшие кровью глаза толпы. Затем, толчками ступеней взносимое кверху, покойное и мудрое лицо священнослужителя. При виде его на миг все смолкло: о. Паулин, стоя над морем голов, раскрыл требник и, не торопясь, надевал очки. Молчание длилось.



— Оглашение третье. Во имя Отца и... — глухое гуденье, как во вскипающем котле, прикрытом крышкой, боролось со слабым, но четким голосом священника, — сочетается браком раба Божия Франсуаза...

— И я.

— И я. И я.

— И я. — И я. — И я, — заревела толпа множеством глоток. Котел сбросил крышку. И содержимое его, клопоча и пучась пузырями глаз, кричало, визжало и гудело:

— И я. — И я.

И даже осел, повернув к невесте вспененную морду, вдруг раскрыл пасть и заревел:

— И-и-и я-а-а!

Франсуазу замертво вынесли на паперть. Испуганный и обескураженный Пьер хлопотал около нее, стараясь вернуть ей сознание.

А затем все пошло своим чередом: любящие повенчались. Тут бы, казалось, и всей истории конец. На самом деле — это только ее начало.

Несколько месяцев кряду молодожены жили душа в душу, тело к телу. Днем их разлучала работа, ночи возвращали их друг другу. Даже сны, которые они рассказывали поутру, были сходны.

Но вот однажды после полуночи, перед вторыми петухами, Франсуазу — она спала чутче — разбудил внезапный

шум. Опершись ладонями в подушку, она стала вслушиваться: шум, вначале глухой и далекий, постепенно рос и приближался; сквозь ночь, будто ветром, несло неясный гул голосов, прерываемый резким звериным вскриком; еще минута — и можно было различить отдельные перебой кричащие голоса, другая — и стала слышима проступь слов: «и я — и я»... Франсуаза, вдруг заглодев, тихо скользнула с кровати, подошла к двери и, босая, в одной рубашке, прикинула ухом к дверной доске: да — это был он — ослиный праздник — Франсуаза знала. Сотни и тысячи женихов, пришедших как тати в ночи, перебой, моля и требуя, повторяли свое: и я — и я. Мириады буйных ослиных свадеб кружили вокруг дома; сотни рук нетерпеливо стучались в стены; сквозь щели в дверях било одуряющим куревом, и кто-то, подобравшись к самому порогу, страдальчески тихо звал: Франсуаза и я...

Франсуаза не понимала, как может так крепко спать Пьер. Смертельный ужас охватил ее: вдруг проснется и узнает: все. В чем было это мучающее и греховное все, она еще не отдавала себе отчета — тяжелая щеколда поддалась, дверь открылась, и она вышла, почти нагая, навстречу празднеству осла. И тотчас же все вокруг нее смолкло, но не в ней. Она шла босыми ногами по траве, не зная, куда и к кому. Неподалеку застучали копыта, звякнуло стремя, кто-то подал ей тихий голос: может быть, это был странствующий рыцарь, сбившийся в безлуние с пути, может быть, проезжий купец,

выбравший ночь потемнее для провоза контрабанды — ночной жених безымянен, — в темную ночь он берет то, что темнее всех ночей: выкрыв душу, как тать, придя, как тать, и изникает. Короче, опять прозвенело стремя, застучали копыта, а утром, провожая мужа на работу, Франсуаза так нежно поглядела ему в глаза и так долго не разжимала рук, охвативших его шею, что Пьер, выйдя за порог, нескоро перестал ухмыляться и, раскачивая мотыгой на плече, насвистывал веселое коленце.

И опять жизнь пошла как будто и по-старому. День — ночь — день. Пока опять не накатило это. Франсуаза клялась не поддаться наваждению. Подолгу стояла она, коленями в холодные плиты, перед черными ликами икон; много молитв ее откружило по четкам. Но когда снова, разорвав сон, заплясал вокруг нее, все теснее и теснее смыкая круг, неистовый праздник осла, она, снова теряя волю, встала и шла — не зная, куда и к кому. На черном ночном перекрестке ей повстречался нищий, поднявшийся с земли навстречу белому видению, замаячившему ему сквозь тьму: руки его были шершавы, а от гнилых лохмотьев пахло омерзительно едко; не веря и не понимая, он все же жадно взял — и потом: зазвякали медяки в мешке, застучал костыль и, таясь, как тать, — скользя вдоль стены — ночной жених, испуганный и недоуменный, канул в тьму. А Франсуаза, вернувшись в дом, долго слушала ровное дыхание мужа и, наклоняясь над ним, стиснув зубы, беззвуч-

но плакала: от омерзения и счастья. Прошли месяцы и, может быть, годы; жена и муж еще крепче любили друг друга. И снова, так же внезапно, как всегда, произошло это. Пьер был в ту ночь в отлучке, в десятке лье от деревушки. Позванная головами, Франсуаза переступила порог; в темноте меж смутных контуров деревьев, у самой земли, большим желтым глазом, полз огонь; и Франсуаза, не отрывая глаз от глаза, пошла навстречу судьбе. Минута — желтый глаз превратился в обыкновенный из стекла и железа фонарь; над ручкой его сухие из-под края сутаны пальцы, а чуть выше в мутном блике огня дряблое в тонких складках лицо о. Паулина: с полуночи его позвали к умирающему, — обещав душе небо, он возвращался назад, в плебанию. Встретив среди ночи Франсуазу, нагую и одну, о. Паулин не удивился. Подняв фонарь, он осветил ей лицо, внимательно вглядываясь в дрожь губ и в задернутые тусклой пленкой глаза. Потом дунул на огонь, и в слепой темноте Франсуаза услышала:

— Вернись в дом. Оденься пристойно и жди.

Старый священник шел не спеша, дробным шаркающим шагом, то и дело останавливаясь и переводя трудное дыхание. Войдя в дом женщины, он увидел ее неподвижно сидящей на скамье у стены: руки женщины были ладонью в ладонь, и только изредка плечи ее под тканью одежды вздрагивали, будто от холода. О. Паулин дал ей отплакаться и тогда лишь сказал:

— Покорись, душа, возжегшему тебя. Писанием и Пророками предречено: только на осле, несмысленной и смердящей скотине, можно достигнуть стогов Иерусалима. Говорю тебе: только так и через это входят в Царствие Царств.

Молодая женщина с изумлением подняла полные слез глаза.

— Да, настало время и тебе, дитя, узнать то, что дано знать не всем: тайну осла. Цветы цветут так чисто и благоуханно оттого, что корни их унавожены, в грязи и смраде. От малой молитвы к великому молению — только через богохульство. Самому чистому и самому высокому, хоть на миг, должно загрязниться и пасть: потому что иначе как узнать, что чистое чисто и высокое высоко. Если Бог, пусть раз в вечность, принял плоть и закон человеческий, то и человеку ли можно ли гнушаться закона и плоти осла? Только надругавшись и оскорбив любимейшее из любимого, нужнейшее из нужного сердцу, можно стать достойным его, потому что здесь, на земле, нет путей бесскорбия.

Старик поднялся и стал зажигать свой фонарь:

— Наша церковь раскрыла храмы празднеству осла: она хочет, чтобы над нею, невестою Христовой, посмеялись и надругались: потому что ей ведома великая тайна. Но в празднество, в радость, с веселием и смехом входят все, — д а л ь ш е идут лишь избранные. Истинно говорю тебе: нет путей бесскорбия.

Наладив огонь, старик повернулся к порогу. Припав губами к сухим костяшкам его руки, женщина спросила:

— Значит — молчать?

— Да, дитя. Потому что — как раскрыть тайну осла... ослам?

Улыбнувшись, как тогда, в день третьего оглашения, о. Паулин вышел, плотно прикрыв за собою дверь.

Тюд замолчал и, постукивая сталью ключа о ручку кресла, сидел с лицом, повернутым к порогу.

— Допустим, что так, — оборвал паузу председатель Зез, — кладка замысла в каких-нибудь десятках кирпичей. Мы привыкли обходиться без цемента. Поэтому, поскольку времени у нас еще достаточно, не согласились ли бы вы сложить элементы новеллы в каком-нибудь ином порядке. Ну, скажем, первый кирпич — эпоха пусть лежит, где лежала; в центр действия давайте не женщину, а священника; затем придайте центральному действователю значимости за счет значимостей элемента «ослиный праздник»: его можно оторвать, так сказать, от корешков, взяв одни вершки, — и затем...

— И затем, — подхватил толстый Фэв, насмешливо щурясь на рассказчика, — кончить все не в жизнь, а в смерть.

— Просил бы подновить и заглавие, — подхихикнул из угла Хиц.

Желваки под пятнами румянца, расплывшимися по всему лицу Тюда, задергались и напряглись; он наклонился вперед, точно готовясь к прыжку; вся фигура его — короткая

и сухая, подвижная и четкая — напоминала в чем-то краткость, динамичность и четкость новелл, среди которых он, очевидно, жил. Внезапно встав, Тюд зашагал вдоль черных полок и столь же внезапно, сделав крутой поворот на каблучках, повернулся к кругу из шести:

— Идет. Начинаю. Заглавие: *Мешок голиарда*. Уже оно одно позволяет мне остаться в той же эпохе. Голиарды, или «веселые клирики», как их тогда называли, были — думаю, всем вам это известно — странствующими попами, заблудившимися, так сказать, между церковью и балаганом. Причины появления этой странной помеси шута с капелланом до сих пор не исследованы и не объяснены: вероятнее всего, то были священники из захудалых приходов; поскольку ряса не кормила их или кормила вполовину, приходилось прирабатывать чем ни попало: и главным образом не требующим включения в цех ремеслом балаганного лицедея. Герой моего рассказа, о. Франсуаз (разрешите и с именами поступить так, как и со всем остальным, то есть переместить их), был одним из таких. В высоких сапогах из дубленой кожи, с крепким посохом в руке, он мерил пыльные извивы проселочных дорог, от жилья к жилью, меняя псалмы на песни, галльские прибаутки на ученую латынь, звон анжелюса на звяканье бубенцов дурацкой шапки. В дорожном мешке его, стянутом веревочным узлом за его спиной, лежали рядком, как муж с женой, аккуратно сложенные и прижатые друг к другу гаер-

ский плащ из пестрых лоскутьев, обшитый побрякушками, и черная, протершаяся у швов сутана. Сбоку на ремне болталась фляга с вином, вокруг правой кисти в три обмота чернели бусины четок. О. Франсуаз был человек веселого нрава; в дождь и зной он шел среди колосющихся ли полей, по занесенным ли снегом дорогам, насвистывая простые песенки и изредка наклоняясь к фляге, чтобы поцеловать ее — как он любил это называть — в стеклянные губы; никто не видел, чтобы о. Франсуаз целовался с кем-нибудь другим.

Мой странствующий голиард был человеком весьма небеспользным: нужно отслужить требу — развяжет мешок, застегнется в узкую темную сутану, разматает четки, порывшись на дне мешка, вынет крест и, строго сведя брови, свяжет или разрешит; нужно сладить веселую праздничную забаву — сыграть интермедии или выучить роль дьявола, слишком путаную и трудную для любителей из какого-нибудь цеха, — и пестрый — из того же мешка, в бубенцах и блестях, — шутовской плащ привычно обматывается вокруг широких плеч о. Франсуаза: тут уж трудно было сыскать ловкача, который умел бы лучше насмешить до слез и придумать столько прибауток, как умел это делать голиард Франсуаз.

Никто не знал о нем, стар он или молод: бритое лицо его было всегда под бронзой загара, а голая кожа на макушке могла быть и лысиной, и тонзурой. Иной раз девуш-



ки, насмеявшись до слез во время интермедии или наплакавшись до улыбки во время мессы, как-то по-особенному пристально глядели на Франсуаза, но голиард был странником: отслужив и отыграв, он складывал рясу и плащ с бубенцами, стягивал узлы мешку и шел дальше; руки его сжимали лишь дорожный посох, губы касались лишь стеклянных губ. Правда, шагая полем, он любил пересвистываться с пролетающими птицами, но птицы ведь тоже странники и, для того чтобы говорить с людьми, им хватило б одного слова: «мимо». Тут же, в полях, среди ветра и птиц, голиард любил иногда побеседовать со своим дорожным мешком: он развязывал ему замунштученный веревкой рот и, вытащив на солнце пестрое и черное, болтал, например, такое: — *Suum cuique, amici mei\**: помните это, черныш и пеструха. И, в сущности, будь на земле пестрые мессы и черный смех, — вам пришлось бы поменяться местами, друзья. Ну, а пока — ты нюхай ладан, а ты наряжайся в винные пятна.

И, выколотив из черного и пестрого пыль, голиард прятал их снова в мешок и, поднявшись, шел по извивам дорог, пересвистываясь с перепелами.

Однажды к вечеру, пыльный и усталый, о. Франсуаз дошагал до огней дереvушки. Это было небольшое селение в сорок — пятьдесят дворов, посредине церковь; вокруг зеленые квадраты виноградников. Уже у околицы встретился

\* Каждому свое, друзья мои (лат.)

человек, разменявшийся с путником расспросами: кто — откуда — зачем — куда. И не успел о. Франсуаз присесть под вывеской «Туз кроет все», как его позвали к умирающему. Наскоро хватив стакан и другой, голиард сунул руки в рукава рясы и, застегивая на пути крючки, поспешил к душе, ждущей отходных молитв.

Дав душе отпущение, он вернулся назад, к недопитой фляге. За это время весть о пришельце успела побывать во всех сорока дворах, и несколько пожилых крестьян, ожидавших его в «Туззе, кроющем все», попросили пришельца завтра — день предстоял ярмарочный — позабавить и здешних и пришлых чем-нибудь повеселей и покруче. Звякнули стаканами о стаканы — и голиард сказал: хорошо.

Уже поздно ночью, разыскивая в деревне ночлег, голиард наткнулся на человека, идущего с фонарем в руках: желтый глаз скользнул по его лицу; сквозь слепящий свет голиард увидел сначала крепкую широкопалую руку, охватившую ручку фонаря, а затем и широкое, сверкнувшее зубами и улыбкой лицо молодого парня.

— Не встречался вам о. Франсуаз? — спросил тот. — Я его ищу.

— Что ж, давай искать вместе. Зеркало при тебе?

— А зачем зеркало?

— Ну как же: без зеркала мне о. Франсуаза никак не увидеть. Как тебя зовут?

— Пьер.

— А твою невесту?

— Паулина. Почему вы знаете, что у меня невеста?

— Хорошо. Завтра перед анжелюсом. Если вам нужно прилепиться друг к другу и стать плотью единой, лучшего клея, чем у меня в мешке, не найти. Спокойной ночи.

И, дунув опешившему парню в фонарь, голиард оставил его, объятого тьмой и изумлением.

С утра о. Франсуаз истово принялся за работу: сначала кропил освященной водой больных младенцев и бормотал очистительные молитвы у ложа родильницы, затем, быстро переодевшись в пестрядь шута, аккуратно уложил свои дорожную и священническую одежды в мешок и, оставив его на попечении трактирного слуги, ширококоротого и долговязого парня, пошел на рыночную площадь потешать съехавшихся из соседних деревень крестьян. Песня вслед песне, прибаутка к прибаутке: время шло, а поселяне никак не могли насмеяться досыта и не отпускали забавника. Вдруг на колокольне зазвенел анжелюс; крестьяне сняли шапки, а о. Франсуаз, подобрав звякающий бубенцами плащ, бросился почти бегом назад, к трактиру, спеша переодеться и не упустить свадьбы.

В дверях «Туза» его встретил растерянный слуга: в руках у него голиард увидел свой мешок, но странно отощавший, со слипшимися боками.

— Сударь, — проямлил долговязый, развесив свой глупый рот, — мне тоже хотелось послушать вас; а тем временем мешок-то и выпотрошили. Кто бы мог думать.

Голиард сунул руку в мешок.

— Пуст, пуст! — закричал он в отчаянии. — Пуст, как твоя голова, разиня. Как же мне служить сейчас свадьбу, когда у меня не осталось ничего, кроме моей латыни.

На простецком лице трактирного слуги трудно было найти ответ. Сунув мешок под мышку, о. Франсуаз, звеня бубенцами, как был, бросился к церкви. По дороге он еще раз обыскал пустоту в своем мешке: у дна его пальцы наткнулись на крест, оставленный вором: быстро надев его поверх дурацкого балахона, о. Франсуаз размотал четки на своей руке и, вбежав в церковь, начал:

— *In nomine...*

— *Cum spiritu Tuo\**, — подхватил было церковный служка и вдруг, выпучив глаза, в испуге устоялся на подымающемся по ступеням алтаря шута. Произошло общее смятение: дружки попятились к дверям, старуха крестьянка уронила горящую свечу, невеста, закрыв лицо, заплакала от обиды и страха; а дюжий жених вместе с двумя-тремя парнями выволокли нечестивца из храма и, избив, бросили его невдалеке от паперти.

Ночная прохлада привела голиарда в чувство. Приподнявшись с земли, о. Франсуаз сначала ощупал свои ссади-

\* — Во имя...

— С духом Твоим (*лат.*)

ны и синяки, затем еще раз мешок, брошенный рядом с ним; в нем не было ничего, кроме пустоты, но и ее он тщательно завязал в два узла, привычным движением закинул за плечо и, отыскав в траве свой посох, покинул спящую деревню. Он шел сквозь ночь, звеня медными бубенчиками. К утру он встретил в поле людей, которые, увидав его шутовской наряд, испуганно свернули с дороги, дивясь пестрому призраку, которому место не на черных бороздах полей, а на скрипучем балаганном помосте. Дойдя до ближайшей деревни, голиард решил обогнуть стороной: идя задами дворов и огородов, он старался ступать возможно тише, чтобы не привлечь звяканьем бубенцов чьих-либо глаз. Но облезлый пес, выскочивший ему навстречу, завидев движущуюся пестрядь, отчаянно залаял; на лай вышли люди, и вскоре за шутком, идущим среди полей, потянулась вереница мальчишек, свистящих и гикающих вслед.

Крестьянин, занятый починкой изгороди, не ответил на приветствие балаганного призрака, а женщины, пересекшие путь с кувшинами воды на плечах, не улыбнулись веселой гримасе, опустив глаза, прошли мимо: сегодня был рабочий, трудный день, — занятым и трезвым людям некогда и ни к чему был смех; они отшутили свои шутки, попрятали праздничные одежды на дно своих сундуков, оделись в будничное рабочее платье и начинали долгую, в шесть одинаких серолицых дней, трудовую череду. Непонятый пришелец был

праздником, заблудившимся среди буден, нелепой ошибкой, путающей им их нехитрый календарь: глаза отдергивались от голиарда, он видел либо презрительные улыбки, либо равнодушные спины. И он понял, как одинок и бесприютен смех, серафически чистый, шитый из слепяще-пестрых лоскутов, тонкими нитями в острых иглах. Он мог бы подняться до самого солнца, но не взлетал и выше насестей: душа орла, а крылья одомашненной клохчущей курицы; все улыбки сосчитаны и заперты в праздник, как в клетку. Ну нет. Прочь! Голиард, торопя шаги, уже шел по той тропе — что по земле от земли; но земля, темная и вязкая, липла к подошвам, цеплялась травами и сучьями за края одежды, а ветер, потный и пропахший навозом, звонил — изо всей мочи — в бубенцы и подвески гаснущего в сумерках плаща. Дорогу перегородила река. Голиард снял с плеча мешок, распутал узел и поговорил с ним в последний раз:

— Блаженный Иероним пишет, что и тело наше всего лишь одежда. Если так, отдадим его в стирку.

Мешок развесил холщовую пасть и был похож на разину-слугу из «Туза, кроющего все». Свесившись с обрывистого берега, веселый клирик попробовал нащупать концом своего посоха дно. Не удалось. Неподалеку, вдавившись в землю, лежал омшелый тяжелый камень. Оторвав камень от земли, Франсуаз сунул его внутрь мешка. Вслед за камнем и голову и крепко замотал вокруг шеи веревки. Срыв берега

был в одном шаге. Берусь утверждать, что этот шаг был для о. Франсуаза последним.

Тюд кончил. Он стоял, прижавшись спиной к дверной доске: казалось, что черные створы ее, как планки немецкой механической игрушки, щелкнув пружиной, вдруг разомкнулись и, проглотив короткую, игрушечно-миниатюрную фигурку Тюда, автоматически сомкнулись над ним и его новеллами.

Но председатель не дал молчанию затянуться:

— Все снесло течением. Это бывает.

— Тогда бы я не причалил, согласно заданию: конец разрешен в смерть, — парировал Тюд.

— Фэв и не возражает: конец решен. Но в середине вы спутали кубики: думается мне, не по неумению. Не так ли? Вашу улыбку разрешите считать ответом. Ввиду этого нам предстоит получить от вас штрафной рассказ. Почетче и покороче. Перерыва, я думаю, не нужно. Мы ждем.

Тюд досадливо передернул плечами. Видно было, что он устал: отделившись от порога, он вернулся в свое кресло у камина и с минуту рылся зрачками в россыпях искр и пляске сизых огоньков.

— Ну что ж. Поскольку о людях импровизировать трудно, потому что они живы — даже выдуманные — и действуют иной раз дальше авторской схемы, а то и вопреки ей, — при-

дется прибегнуть к константным героям: короче — я расскажу вам о двух книгах и одном человеке; всего-навсего одном: с ним-то я управлюсь.

Заглавие мы придумаем к концу вместе, а что касается титулблаттов моих книг-персонажей, то вот они: «*Ноткер Заика*» и «*Четвертое евангелие*». Третий, человеческий, персонаж принадлежит не к людям-фабулам, а к людям-темам: люди-фабулы очень хлопотны для сочинителя, — в их жизнях много встреч, действий и случайностей; попадая в рассказ, они растягивают его в повесть, а то и в роман; люди-темы существуют имманентно, бессюжетные жизни их в стороне от укатанных дорог, они включены в ту или иную идею, малословны и бездеятельны: одним из таких и был мой герой, все бытие которого сплющилось меж двух книг, о которых сейчас расскажу.

Человек этот (имя его безразлично) даже при живых родителях производил впечатление сироты, слыл чудаком. С ранних лет он предался клавиатуре рояля и целые дни проводил над выискиванием новых звукосочетаний и ритмических ходов. Однако слушать его если кому и удавалось, то лишь сквозь стену и запертую дверь. Некий музыкальный издатель был однажды чрезвычайно удивлен, когда на прием к нему явился худощавый юноша и, не подымая на него глаз, вынул из папки нотную тетрадь, озаглавленную: «Комментарий к тишине». Издатель, сунув обкусанные ногти внутрь те-



тради, полистал, вздохнул, оглядел еще раз заглавную строку и возвратил рукопись.

Вскоре после этого юноша запер свою клавиатуру на ключ и попробовал променять нотные значки на буквы; но он наткнулся и тут на препятствие еще менее преодолимое: ведь он был — повторяю еще раз — человеком-темой, а литература наша вся на фабульных построениях; он, понимаете ли, не умел раздробляться и ветвить идеи, он был, как и надлежит человеку-теме, живым стремлением не из единого в многое, а из многого в единое. Иногда в коробках с перьями нет-нет да и попадетсЯ нерасщепленное перо: оно такое же, как и все, и заострено не хуже других, — но писать оно не может.

Однако мой юноша, кстати, к тому времени уже превратившийся в двадцатипятилетнего молодого человека, с упорством нерасщепленной цельной натуры решил насильно овладеть этим самым м н о ж е с т в о м; то есть, конечно, он называл все это по-иному, но верный инстинкт указал ему на путешествие, этот перерабатывающий многих людей метод опестрения и множествления нашего относительно однородного, так сказать, сплошного опыта. К тому времени он получил наследство, — и поезда повезли его от станций к станциям по разноязыкому и лоскутному миру. Записные тетради кандидата в писатели разбухали от пометок и схем, а вещи, настоящей, до конца в буквы вогнанной вещи, не

отыскивалось. Внутри всех сюжетов, за которыми охотился его карандаш, он чувствовал себя так, как чувствует себя каждый из нас в гостиничном номере, где все чужое и равнодушное: и для тебя, и для других.

И наконец, — это случилось после многих месяцев скитания, — они встретились: человек и тема. Встреча произошла в монастырской библиотеке Сен-Галлена, расположенного меж швейцарских взгорий. Был, кажется, дождливый день, скука привела моего героя к полкам редко посещаемой библиотеки, и здесь, среди взбудораженной книжной пыли, был отыскан Ноткер Заика; хотя Ноткер и не был ничьим вымыслом, но успел отсутствовать ровно тысячу лет тому назад: кроме имени, сразу же заинтересовавшего нашего собирателя фабул, от него не осталось почти ничего; лишь нескольких полуапокрифических данных, выдержавших испытание тысячелетием: это-то и давало возможность сделать его заново, превратить отлевшее в расцветшее. И наш незадачливый — до сих пор — писатель деятельно принялся за пересоздание Ноткера. Монастырские книги и рукописи рассказали ему о древней, сейчас полузабытой школе сен-галленских музыкантов. Задолго до нидерландских контрапунктистов иноки уединенного, зажатого меж гор Сен-Галлена проделывали какие-то таинственные опыты полифонии; одним из них был Ноткер Заика: предание рассказывает о нем, как однажды, гуляя по горному срыву, он услышал визг пилы, стук мо-

лота и голоса людей; повернув на звук, музыкант дошел до поворота тропы и увидел артель рабочих, крепивших балки для будущего моста, который должен был быть переброшен через пропасть; не подходя ближе, не замеченный рабочими, он наблюдал и слушал, так утверждает предание, как люди, повиснув над бездной, стучали топорами и весело пели, а затем, — вернувшись в келию, — сел за сочинение хорала «In media vita — mors»\*. Герой наш стал рыться в пожелтевших нотных тетрадах библиотеки, стараясь найти квадратные невмы, рассказывающие о смерти, вклиненной в жизнь; но хорала нигде не было: все же, с разрешения настоятеля, он унес с собой в номер гостиницы целую кипу полуистлевших нотных листов и, запершись, целую ночь, под опущенным модератором, вдавливал в клавиши древние песнопения сен-галленцев. Когда все листы были проиграны, он стал напрягать фантазию, стараясь представить себе звучание того неотысканного хорала. И ночью он ему приснился — величавый и горестный, медленно шествующий миксолидийским ладом. А наутро, когда, вернувшись к клавиатуре, музыкант попробовал повторить приснившийся хорал, обнаружилось неожиданное для него сходство Ноткерова «In media» с его собственным «Комментарием к тишине». Продолжая ворошить рукописные кипы Сен-Галлена, наш исследователь узнал, что старый сочинитель музыки, со странным прозвищем Заика, или Balbulus, всю жизнь трудолюбиво подбирал слова и сло-

ги, подтекстовывая музыку; любопытно было то, что, благоговей пред звуко сочетаниями, он относился, по-видимому, с полным пренебрежением к так называемой членораздельной человеческой речи: в одной из доподлинных записей Ноткера Заики стояло: «Иногда я втихомолку размышлял, как закрепить мои сочетания из звуков, чтобы они, хотя бы ц е н о ю с л о в, избегли забвения». Очевидно, слова были для него лишь пестрыми флажками, мнемоническими символами, закреплявшими в памяти музыкальные ходы; иногда ему надоедало подбирать слова и слоги, — тогда, задержавшись на одном каком-нибудь *le alliluja*, он проводил его сквозь десятки интервалов, бессмысля слог ради иных заумных смыслов: эти упражнения Ноткера в области так называемого атексталиса особенно заинтересовали нашего исследователя; погоня за невмами Великого Заики завела его сначала в библиотеку Британского музея, потом в книгохранилище св. Амвросия в Милане. Тут и произошла вторая встреча, встреча двух книг, которым мало было иметь свою судьбу, как это разрешает им пословица, которым самим захотелось стать судьбой. В неустанных поисках материалов для своей книги о сенгалленце герой мой завернул как-то в лавку одного из миланских букинистов: ничего любопытного, хлам, но, желая компенсировать время, отнятое у хозяина лавки, битый час суетившегося вокруг него, он указал на первый попавшийся корешок: вот эта. И купленная наугад книжка тот-

час же очутилась в одном портфеле с его работой, разрозненные черновые листки которой медленно срастались в книгу. Там, в глухом мешке, они пролежали вместе, как муж с женой, листами в листы, «Ноткер Заика» и «Четвероевангелие» (купленный вслепую текст оказался ветхим, одетым в старинные латинские шрифты рассказом четырех благовествователей). Как-то на досуге, оглядев рассеянно покупку, мой исследователь атексталиса хотел уже отложить ее в сторону, но в это время внимание его остановила чернильная заметка, сделанная почерком семнадцатого столетия на полях книги: S-um.

— Бессмысленный слог, — пробормотал из своего угла Фэв.

— Человек, перелистывавший Евангелие, вначале думал приблизительно так же. Но его заинтересовало тире, отрывавшее начальное S от um. Продолжая скользить глазами по полям вульгаты, он заметил еще одну чернильную черту, отделявшую от контекста два стиха: «Се отрок Мой, которого Я избрал»... и так далее и «Не воспрекословит, не возопит и никто не услышит на улицах голоса его». Как бы смутно что-то предугадывая, читавший стал внимательнее, страница за страницей обыскивая глазами поля: двумя главами далее была еле различимая отметина ногтем: «...Господи, сыне Давидове, дочь моя жестоко беснуется». Но Он не отвечал ей ни слова». Затем шли как будто пустые поля. Но сочинитель «Комментария к тишине» был слишком заинтере-

сован, чтобы отказаться от дальнейших поисков: разглядывая книжные листы на свет, он обнаружил еще несколько полусгладившихся, врезанных чьим-то острым ногтем отметин, — и всякий раз против них стояло: «И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствует против Тебя. И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Или: «Наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания»; иногда черты были лишь различимы в лупу, иногда же резко отчеркивали стих; они то были короче обыкновенного тире и выхватывали лишь три-четыре слова, — например: «Но Он уходил в пустынные места...» или: «И Иисус молчал», — то длиннились вдоль цепи стихов, выделяя целые эпизоды и рассказы, — и всякий раз это был рассказ о вопросах, не дождавшихся ответа, о безмолвствующем Иисусе. То, о чем старые невмы Сен-Галлена говорили точно заикаясь и вообще г о в о р и л и, здесь было отмечено и врезано — острием мимо слов до конца. Теперь было ясно: на полуслипшихся желтых полях ветхой книги рядом с отсказавшими себя четырьмя, благовествовало не нуждающееся в словах, раскрывающееся и с пустых книжных полей пятое Евангелие: *От молчания*. Теперь было понятно и чернильное S — um: оно было лишь сплюснутым Silentium. Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментиро-

вать то, что... ну, одним словом, книга убила книгу — с одного удара, — и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы. Допустим, что так же, как и...

Тюд резко повернулся в сторону Рара. Но тот не принял взгляда: затенив ладонью глаза, он сидел, полный неподвижности, казалось, не слушая и не слыша.

— Что же касается до заглавия, — поднялся Тюд, — то я думаю, что сюда подошло бы, пожалуй, слово...

— «Автобиография», — отчеканил Рар, возвращая удар. Тюд по-петушьи вскинул голову, раскрыл было уже рот, но его голос потонул в резком — из хихиканий, одышливых всхрипов, клекота и подвизгов — смехе. Не смеялись лишь трое: Рар, Тюд и я.

Замыслители один за другим расходились. Одним из первых вышел Рар. Я хотел было ему вслед, но знакомое пожатие, охватив локоть, остановило меня:

— Два-три вопроса, — и, отведя меня в сторону, хозяин суббот стал подробно выпрашивать о моих впечатлениях: я отвечал необдуманно и резко, стараясь скорей освободиться, чтобы успеть догнать Рара. Наконец пальцы и вопросы разжались — и я бросился вдогонку за уходившим. Под огненными свесами фонарей я увидел движущуюся в сотне шагов впереди спину. Нагоняя ее, я впопыхах не заметил палки, тыкавшей впереди идущего о тротуар:

— Простите, что я вас беспокою...

Человек, которого я принимал за Рара, повернул свое лицо и молча уставился в меня нежданно сверкнувшими кругами стекол.

Растерявшись, я забормотал невесть что и шарахнулся вспять. Вопросу, мучившему меня в течение всей этой недели, приходилось дожидаться ближайшей субботы.

#### IV

В следующую субботу очередь по вскрытию замыслов принадлежала Дяжу. Я вошел в комнату пустых полок как раз в момент, когда рассказ должен был начаться. Стараясь спрятаться от круглых очков, вскинувшихся мне навстречу, я отодвинул свое кресло к камину, дергающему за черные тени неподвижно застывших людей, — и тотчас же стал беззвучен и неподвижен, как и все.

Дяж, боднув воздух рыжей щетиной и подперши подбородок набалдашником палки, изредка отстукивая ее концом точки и тире, начал рассказ.

— Эксы: так называли или, вернее, будут когда-нибудь называть те машины, о которых попробую сегодня рассказать. Собственно, в науке они были известны под более сложными и длинными наименованиями: дифференциальные идеомоторы, этические механоустановки, экстериоризаторы и еще



не помню как; но масса, сплющив и укоротив имена, называла их просто: эксы. Однако все по порядку.

Можно считать утерянной дату дня, когда идея об эксах впервые впрыгнула в голову человека. Кажется, это было чуть ли еще не в середине двадцатого столетия или и того раньше. У скрещения двух улиц большого, достаточно шумного и сутолочного города, в одно из солнечных и ветровых утр под магазинной витриной стояло, крича вперемежку, несколько продавщиц бюстгальтеров. Ветер, вырывая их товар из рук, дергал за тесемки и сферически вздувал кружевной батист. Люди, толкаясь и торопясь, шли мимо, не обращая внимания ни на проделки ветра, ни на назойливые приставания продавщиц. Только один человек, переходивший как раз в это время через грохочущую улицу, вдруг задержал шаг и пристально уставился в реющие в воздухе формы. Продавщицы, заметив взгляд, закричали и закивали ему с тротуара: у меня — не у нее — у меня — не берите у них — мои дешевле! Автомобиль, почти налетев на созерцательного пешехода, круто стал, — и шофер яростно кричал сквозь стекло, грозя расплющить в лепешку. Но человек, вдруг оторвавшись глазами от батиста, подошвами от асфальта, продолжал путь, не превращаясь ни в лепешку, ни в покупателя. И если б некий суматошный юноша, который принял нашего прохожего, очевидно, за кого-то другого, подскочивший и отскочивший, умел бы сквозь глаза видеть и то, что за ни-

ми, — он бы понял раз на всю жизнь: все всегда всех принимают за друг и х.

Но ни юноша, ни шофер, ни продавщицы, наткнувшись глазами на проходящего чудака, конечно, не видели и не подозревали, что именно в этот миг и именно в эту голову впрыгнула идея об эксах. Ассоциации в голову таинственного прохожего, не оставившего векам ничего, кроме разрозненных черновых безымянных листков, шли так: «ветер — отрыв и наполнение внешних форм — эфирный ветер — отрыв, объективация, наполнение внутренних форм мысли — вибрации, виброграммы внутри черепа; если под удар эфирного ветра — то все «я» наружу, в мир, — и к черту тесемки». Затем лёт ассоциаций попал в скрепы; заработала логика и заворочился десятилетиями копимый опыт: «необходимо социализировать психики; если ударом воздуха можно сорвать шляпу с головы и мчать ее впереди меня, то отчего не сорвать, не выдуть из-под черепа управляемым потоком эфира все эти прячущиеся по головам психические содержания; отчего, черт побери, не вывернуть все наши in в ex».

Человек, застигнутый идеей об эксах, был идеалист, мечтатель; его несколько пестрая и разбросанная эрудиция не могла реализовать идеи, впрячь мечту в хомут. Легенда говорит, что Аноним этот, оставивший людям свои гениальные наброски, умер полуголодным и безвестным и что

все его формулы и чертежи, во многом наивные и практически бессильные, долго странствовали из рук в руки, пока не попали наконец к инженеру Тутусу. Для Тутуса мышление отождествлялось с моделированием, упиралось в вещи, как ветер в паруса; еще в юности, заинтересовавшись старым принципом идеомоторности, он тотчас же конкретизировал его в модель идеомотора, то есть машины, подменяющей физиологическое стяжение мускула механическим извне — из машины — привнесенным воздействием на мускул. Старинные опыты с тетанусом у лягушки, еще до знакомства Тутуса с черновиками Анонима, были им разработаны и довершены путем смелых и четких опытов. Включая, например, слабую мускульную сетку, охватывающую глаз, в цепь своего идеомотора, Тутус заставлял глаз двигаться в ту или другую сторону, останавливая его — при помощи той же машины — на фиксировании любого предмета, вызывал истечение слез, поднятие и опускание века. Однако даже эти довольно примитивные опыты над созданием — как выражался Тутус — «искусственного зрителя» были мало показательны и плохо закрепляли феномен: дело в том, что физиологическая, идущая из нервных центров иннервация продолжала действовать, отклоняя, как бы интерферируя искусственную иннервацию, получаемую из машины. Знакомство с замыслами Анонима сразу же расширило кругозор и размах опытов Тутуса: он понял, что необходимо за-

хватить машиной именно те движения и мускульные сжатия человека, которые имеют ясную социальную значимость. Записки Анонима говорили о том, что действительность, слагающаяся из действий, «имея слишком много слагаемых, слишком мала как сумма». Лишь отняв иннервацию у разрозненных, враздробь действующих нервных систем и отдав ее единому центральному иннерватору, учил Аноним, можно планомерно организовать действительность, раз навсегда покончив с кустарничающими «я». Заменяя толчки волею толчками одной, так называемой этической машины, достроенной согласно последним достижениям морали и техники, можно добиться того, чтобы все отдали все, то есть полного ех.

Тутус и ранее, совершенствуя свой идеомотор, о предсказанности которого он ничего не знал, успел включить в круг его действия основные, связанные с центробежной системой мозга мышцы. Но один несколько неприятный казус надолго остановил и спутал ему работу: казус заключался в следующем. Тутусу довелось познакомиться с неким видным общественным деятелем, человеком большой воли и властности, но страдающим странно осложнившейся болезнью: вначале это была простая гемиплегия, расплывшаяся затем по всему телу и атрофировавшая почти всю управляемую волей мускульную систему. Болезнь обезмускуливала этого человека постепенно; элементарнейшее движение руки, каждый

шаг, артикуляция слова стоили — что ни день — все больших и больших усилий, и по мере того как воля закалялась и, концентрируясь в борьбе за выявление, непрерывно интенсифицировалась, круг действий — что ни день — стягивался: тело обезмускуливалось и расслаблялось, пока дух этого человека не оказался как бы накрепко завязанным внутри мешка из кожи и жира, безвольно обвисшего и почти бездвижного. Ища выхода, несчастный обратился к помощи Тутуса. Тот приступил к пробуждению деятельности. Каждый день клавиатура иннерватора, стягивая и разряжая мускулы больного, заставляла тело шагать от стены к порогу и обратно, двигать руками и артикулировать выстуканные ею слова. Но действенность, приданная пациенту, была чрезвычайно ограничена: волоча за собой извивы проводов, тело политика двигалось, точно на корде, толчкообразно и мертво, вслед стукам машинных клавиш. Правда, пациент мог еще и без помощи машины писать медленные и трудные каракули, определявшие программу очередных сеансов. Однажды, после трех недель попыток прорыва в жизнь, наглухо завязанный мешок из кожи и жира, повозив обвислыми пальцами с вдетым меж них графитом по бумаге, накаракулил: с а - м о у б е й т е. Тутус, обдумав программу дня, решил превратить ее в своего рода *experimentum crucis*\*: даже в опытах с этим, казалось бы, начисто обезмускуленным объектом работу механического иннерватора все же портили не подда-

\* Испытание (доказательство) крестом, пыткой (*лат.*)

ющиеся учету каракули воли, впутывавшиеся в точную партию машины. Трудно было предугадать все возможности волевых сопротивлений, и в опыте с самоубийством следовало ждать момента наиболее резкого, критического конфликта между волями машины и человека. Экспериментатор действовал так: удалив из револьверного патрона порох, он ввинтил в пустую гильзу пулю и, войдя в поле зрения своего живого объекта, показал ему патрон, тут же, на глазах, сунул его в гнездо стального барабана, поднял спусковую скобу и вложил орудие смерти в бездвижные торчки пальцев. Затем начала работать машина: пальцы самоубиваемого, дернувшись, схватили револьверную ручку; указательный дал неточный рефлекс, — Тутус подошел и поправил, вплотную вдвинув заупрямившийся палец во вгиб курка. Еще нажим клавиши, — и рука, подпрыгнув, согнулась в суставе и — добавочным движением — дуло к виску. Тутус, снова подойдя к объекту, внимательно осмотрел его: лицевые мускулы в порядке, без противодействий, правда, глаза дернули ресницами и точки зрачков поползли черными пятнами вширь. «Очень хорошо», — пробормотал Тутус и повернулся, чтоб нажать последний клавиш, но — странно — клавиш не поддавался. Тогда экспериментатор нажал сильнее: и тотчас же у виска объекта сухо щелкнуло. Тутус сначала осмотрел машину и несколько раз подымал и опускал вновь свободно задвигавшийся тугой клавиш. Затем повернул вы-

ключатели, и вдруг человеческий мешок с непонятным своевольством стал сползать с кресла вниз, взмахнул, как подстреленная влет птица, конечностями, и оземь. Тутус бросился к объекту: тот был мертв.

Черновики Анонима, вернувшие — как я уже сказал — нашего экспериментатора к экспериментам, прежде всего заставили отказаться от старомодной системы проводов, зажимов и скреп, за которые моделирующий ум его, боявшийся прорывов в материю, так долго держался, стремясь закрепить непосредственность связи между передатчиком и приемником поступка. Тутуса впервые при перелистывании выцветших строчек безвестного мечтателя коснулось дуновение того «эфирного ветра», о котором грезил предвосхититель. Я слишком плохо разбираюсь в энергетике, чтобы идти за Тутусом в конструкционных деталях его новых беспроводных идеомоторов. Но и сам изобретатель скоро запутался в, казалось бы, вдоль и поперек известной ему области энергетической техники: дело в том, что физиологическая иннервация сопротивлялась толчкам, вынутым из проводов и рассеянным в эфире еще стойче, — и почти отчаявшийся Тутус после множества повторных опытов наконец понял, что лишь изолировав — раз и навсегда — мускульную сеть от воздействий нервной системы экспериментируемых, как бы оторвав одну от другой, можно дать полное включение поступков, так называемого п о в е д е н и я, в идеомотор. В это-то

время до него дошли вести об опытах итальянских бактериологов Нететти. Нететти-старший, еще задолго до работ Тутуса, открыл так называемых паразитов головного мозга. И до него наукой было полуустановлено существование миелофагов — форменных элементов, которые, усваивая мякоть периферических нервов, способствовали развитию так называемого неврита. Но можно считать, что Нететти, пользовавшийся всеми средствами микроскопии, и в особенности методами хемотаксиса, впервые натолкнулся на существование чрезвычайно сложной, часто ускользавшей от луча сильнейшего ультрамикроскопа, фауны мозга. Мало того, подражая терпеливым садоводам, как любил он говорить, Нететти искусственно получил всяческие виды и подвиды мозговых бактерий, собранных им в виде обыкновенных желатинных разводков внутри запаянных колбочек его коллекции. Он не мог в своей стеклянной бактериоразводке делать то, что делал некогда Мендель с пыльцой, во-первых, потому, что сами бактерии были неизмеримо меньше пылинки пыльцы, во-вторых, скрещивание тут было бессильно по бесполости микроорганизмов; но у него было другое преимущество: бактерии, поселявшиеся, например, на так называемых перехватах Ранвье, наиболее утонченных частях нейрофибрилл, в течение суток давали приблизительно столько же поколений, сколько мировая история числила за человечеством на протяжении всей нашей эры; таким об-



разом, обладая более, как выражался Нететти, компактным временем, экспериментатор мог, постепенно меняя термические и химические воздействия, добиться в мире бактерий тех результатов, какие при опытах, скажем, с прирученными животными потребовали бы тысячелетий. Короче, ему удалось вывести особый вид паразитирующих на мозге микроорганизмов, названных им в и б р о ф а г а м и. Виброфаги, введенные особой инъекционной иглой под мозговые оболочки, тотчас же, стремительно множась, нападали, как гусеницы на ветви плодовых деревьев, на разветвления выводящих нервов, скучиваясь главным образом у места их выхода из-под мозговой коры; виброфаги не были, в точном смысле этого слова, ни паразитами, ни сапрофитами, — пробираясь внутрь неврилеммы, крохотные хищники эти пожирали не материю, а энергию, то есть питались вибрациями, энергетическим разрядом нервных клеток: заполняя все выходы нервной энергии, застив мозгу все его окна в мир, бактерии эти как бы перехватывали мозговые сигналы и разряды, перерабатывая вибрации нервных волн в движения своих крохотных телец. Открытие это давало возможность Нететти-старшему приступить наконец к опыту, к которому он готовился всю жизнь. Надо вам знать, что человек этот, имевший бычью шею и голос скопца, всю жизнь лелеял мысль дать опытное обоснование давно, казалось бы, схороненной и забытой философической легенде о «врожденных

идеях». «Стоит двинуть на новорожденный мозг в обгон первым ощущениям армию моих виброфагов, — думал Нететти, — и они, не повреждая материальной субстанции мозга и его ответвлений, не пустят, п е р е х в а т я т м и р, втекающий по нервным приводам в мозг; при этом необходимо лишь иммунизировать, поскольку возможно, двигательные нервы, особенно аппарат артикуляций, — и тогда душа расскажет нам свои *ideae innatae*»\*.

Этот жестокий чудак (большинство чудачков жестоки), открывавший незримости, был слеп на очевидное — уверовав в ветхие Декартовы призраки, он стал производить свои рискованные опыты над младенцами прививочного пункта, при котором находилась его лаборатория. Результатом был нелепый и «жуткий», как писалось в тогдашних газетах, процесс. Старого ученого обвиняли и обвинили в смерти десятков детей: начав в лаборатории, он кончил в тюрьме. Работы бактериолога, надолго опороченные и как бы смытые кровью жертв, были оставлены и забыты.

И Нететти-младший, захотевший реабилитировать имя, наследованное от отца, поневоле стал экспериментировать как бы о т п р о т и в н о г о: отец старался закупорить в х о д ы в мозг, сын стремился живыми пробками бактерий закрыть все выходы из мозга. Нететти-младший, над которым т я г о т е л п о с т у п о к, опозоривший его отца, точно хотел покончить раз навсегда со всеми поступками. Ка-

\* Врожденные идеи (*лат.*)

залось бы, не было человека более чуждого идеям Анонима, учившего об обогащении действительности действиями, и вместе с тем это и был тот человек, какой был нужен для реализации идей Анонима.

Молодой Нететти вскоре добился получения новой разновидности виброфагов: разновидность эта паразитировала только на двигательной системе нервной сети, селясь как бы между волей и мускулом. Но упрямому исследователю этого было мало: изучая химические процессы внутри двигательных нервных волокон, Нететти установил трудноуловимое различие между хемотаксисами отдельных нервных стволов: обнаружился, неожиданно для самого исследователя, совершенно изумительный факт: волокна, заведующие произвольными движениями человека, давали несколько иные химические реакции, чем волокна симпатической системы и вообще иннерваторов, выключенных из сферы волевого усилия. Старик Нететти, любивший старые философские схемы, наверное, стал бы опытно обосновывать давно всеми отброшенное учение о свободе воли, — но сын его, чуждый метафизическим реминисценциям, шел дальше, не оглядываясь ни на какие схемы: пользуясь все тем же методом хемотаксиса, он как бы переманил виброфагов на систему так называемой произвольной иннервации и, когда свойства этого нового подвида были закреплены, назвал эту своеобразную микрокультуру именем акциофагов, или, как определял он

их впоследствии, «пожирателями фактов». Теперь, не рискуя сгнить в тюрьме, можно было инъецировать культуры «пожирателей фактов» внутрь фибрилл нервной системы. Но память о судьбе отца и, может быть, самое соприкосновение с проблемой ликвидации поступков делали Нететти-младшего чрезвычайно осторожным в области поступков: пройдя обычный путь, ведущий от кроликов и морских свинок к homo sapiens'у, перед sapiens'ом он заколебался.

В одно из предвечерних раздумий бактериологу доложили о приезде издалика, требующем свидания. «Просите». Перешагнув порог кабинета, посетитель сразу же — три длинных шага — надвинулся на короткотелого итальянца, зажал его пухлую ладонь в своих тонких и цепких фалангах и, наклоня сверкающие пломбы над вздернувшимся кверху удивленным лицом Нететти, произнес:

— Тутус. Инженер. У вас — мельничные крылья, у меня — ветер — мелево пополам. Согласны?

— Какое мелево? — вскинулся Нететти, пробуя выдернуться из охвативших руку фаланг.

— Человеческое. Само собой. Я сяду, — и гость вдвинулся длинным костлявым телом в кресло. — Давайте мне ваших бактерий, а я вам — мой эфирный ветер, вдувающий в мускулы сжатия и расжатия, — и мы построим всю человечью действительность заново: сверху донизу — понимаете? Мы рыли туннель с разных концов — и вот встретились: киркой

в кирку. Я давно слежу за вашими работами, хотя вы скупы на публикации. Я тоже. Но предугадываю: если соединить ваше все с моим все — они опрокинут все. Вот тут схемы (Тутус придвинул принесенный с собою портфель): но ех за in. Ну, покажите-ка мне ваших бацилл.

— Их не так легко увидеть, — попробовал отшутиться застигнутый врасплох Нететти.

— Смысл их видеть еще трудней. Но я вижу, понимаете ли, насквозь и всецело.

— Тут есть риск, — замялся было бактериолог.

— Беру на себя, — ударил Тутус портфелем о стол, — к делу. Вот список мускулов, которые надо эмансипировать от нервной системы. Иннервацию растительных процессов, кое-что из аппарата психических автоматизмов, пожалуй, можно бы им оставить: людям. Остальное под удар эфирного ветра: я закружу все лопасти и мельничные крылья в ту сторону, в какую хочу. О, мои эксы дадут чистый помол!

— Но нужны капиталы...

— От них не будет отбою. Увидите.

Состоялся своего рода конкордат.

И через малое время после его заключения правительства наиболее крупных держав получили — в порядке срочности и тайны — краткий мемориал Нететти — Тутуса, который, упираясь в точнейшие цифры схемы, предлагал реализацию эксов и исчислял необыкновенные выгоды, — как

финансовые, так и моральные, — которые должны были явиться следствием сооружения этих установок. До некоторых адресатов проект не дошел, застряв в министерских канцеляриях, в некоторых был отвергнут, но иные правительства — главным образом те, в которых валюта шаталась, государственный долг рос и где соломинки рассматривались всерьез и казались спасительными, — проект был передан в комиссии, спешно рассмотрен и дебатирован. Тутус сразу получил вызов из двух столичных центров, так что одному из правительств пришлось даже ждать. На ряде тайных заседаний, по выслушании докладов, было принято решение применить идею механической иннервации в деле борьбы с душевными болезнями. Дело в том, что в эпоху, о которой рассказ, количество душевнобольных непомерно возросло. Все усилия науки не могли справиться с этим бедствием, слишком тесно связанным с ростом психических нагрузок и кризисами быта. Опасность усугублялась тем, что процент заболеваемости шел гигантскими прыжками вверх в области наиболее антисоциальных психозов: изоляция буйных, одержимых kleptomанией, эротическими формами, манией убийств и так далее, приобретающими обычно неизлечимый характер, требовала огромных средств и ложилась тяжелым бременем на государственные бюджеты. «Государство должно, — аргументировал проект, — для ухода за оторванными болезнью миллионами рабочих рук отрывать еще сотни ты-

сяч работников, расходуя при этом с каждым годом растущую сумму на постройку новых изоляторов, содержание персонала и так далее. Но вместо того чтобы изолировать здоровых от больных, не лучше ли изолировать болезнь от здоровья в организме душевнобольного: ведь при психическом заболевании поражается лишь нервная система, система же мускульная остается незатронутой. Если ввести в организм выключенного из социальной работы душевнобольного путем инъекции бактерий, открытых профессором Нететти, то мускульная система, похищаемая вместе с мозгом у общества, возвращается его законному собственнику; стоит лишь соорудить экс — и мускулы всех душевнобольных, переключенные со своих явно негодных и даже опасных для общества нервных центров на единый центральный иннерватор типа «Тутус А-2», будут работать совершенно безвозмездно — на пользу общества и государства, которому постройка относительно дешевого экс не только поможет снять с бюджета финансовый балласт, но и даст сразу огромное количество новой рабочей силы».

И вскоре — длинными стеклянными соломинами — пополз из земли экс. От прозрачных трубчатых складышей его потянулись туго натянутые из стеклистого металла, казалось, растворявшиеся в воздухе тросы и нити, — так что когда в день открытия и пуска первого экс праздничная толпа хлынула к металлическим загородкам, окружавшим гигант-

ский экстериоризатор, она ничего не увидела, кроме огороженной мглистой пустоты (день был туманен). Тотчас пошли рассказы об украденных инженерами деньгах, о мнимых предприятиях и дутом бюджете. На трибуну взошел премьер-министр, снял с плечи цилиндр и, тыча рукой в пустоту, заговорил о какой-то светлой эре, надсадно и длинно: выколачивая из себя слова, как пыль из старого и затоптанного ковра, премьер щурился близорукими глазами в огороженную пустоту — и вдруг как-то поперек слов подумал: «А что, если его и в самом деле нет?» Впоследствии экс отомстил премьеру, превратив его — в ходе событий — в экс-премьера.

Толпа, отслушав речь, разочарованная и насмешливая, начала уже расходиться, когда в воздухе неожиданно возник звук: это было тихое и тонкое, будто стеклянное, дребезжание, подымавшееся вверх и вверх, как голос непрерывно натягиваемой струны: экс начал свою работу.

На следующий день, уже с самого утра, торопящиеся к началу служб заметили появление на улицах города каких-то не совсем понятных прохожих: прохожие эти, одетые, как и все, шли как-то толчкообразно и вместе с тем метрономически, — точно отстукивая по два шага на секунду, их локти были неподвижно вжаты в тело, голова точно наглухо вколочена меж плеч, и из-под лбов неподвижные же, словно винченные, круглые зрачки. Торопящиеся по своим делам не сразу догадались, что это первая партия сумасшедших,



выпущенная из изоляторов, — людей с отсепарированными по методу Нететти мускулами, включенными в поле действия экса номер один.

Организмы этой первой серии были предварительно обработаны виброфагами; отделенная, совершенно безболезненно, от мозга и настроенная соответствующим образом мускульная сеть каждого из этих новых людей представляла собой естественную антенну, которая, воспринимая эфирную волю гигантского иннерватора, проделывала машинную, единую на всех них, действительность.

К вечеру слух о подвижных эфирным ветром людях обжегал весь город; люди, сгрудившись у перекрестков, в радостной ажиотации приветствовали криками возвращающихся с работы эксовых людей, но те, ни единым движением не реагируя на происходящее, шли тем же толчкообразным — по два удара на секунду — шагом, с локтями, притиснутыми к телу. Женщины прятали от них своих детей: ведь это же сумасшедшие — а вдруг? Но их успокаивали: чистая работа.

У одного из перекрестков произошла неожиданная сцена: какая-то старуха в одном из проходящих новых людей узнала своего сына, которого еще два года тому свезли, скрутив рукавами смирительной рубашки, в изолятор. С радостным криком мать бросилась к нему, называя его по имени. Но включенный в экс прошагал мимо, мерно стуча подошвами об асфальт, ни единый мускул не дрогнул на его лице, ни еди-

ный звук не разжал его крепко стиснутых губ: эфирный ветер веял, куда хотел. Забившуюся в истерику старуху унесли.

Первая серия экс-людей, как назвал их кто-то в насмешку, умела проделывать лишь чрезвычайно несложные движения, слагавшиеся в процесс ходьбы, подымание и опускание какого-нибудь рычага — и только. Но уже через две-три недели, путем постепенного введения так называемого дифференциального снаряда, человеческое содержимое изолятора для умалишенных стало получать более сложную обработку: жизнь, организованная в них по системе Нететти — Тутуса, расширилась и сложнилась: так, появились чистильщики сапог, с особой эксовой методичностью движущие щетками по поставленному на колодку сапогу: вверх — вниз, вверх — вниз; в одной из фешенебельных гостиниц предметом любопытства, собиравшим толпы к ее подъезду, стал приводимый в движение эксом швейцар, который, стоя с утра до ночи с рукой на ручке выходной двери, то открывал, то закрывал короткими и сильными толчками. Но строителями первого иннерватора не были учтены все случайности. По крайней мере, однажды произошло следующее: знаменитый публицист Тумминс, выйдя из своего номера в гостинице, спустился по лестнице: он шел медленно и, цепляясь глазами за вещи и лица, настойчиво искал нужную ему для очередной книжки журнала тему: случайно зрочки его зацепились за зрочки швейцара, автоматическим движением раскрывшего

перед ним выходную дверь: зрочки эти заставили Тумминса попятиться, — он ударился спиной о стену и, не отводя глаз от феномена, раздумчиво прошептал: «Тема».

И вскоре появилась, подписанная именем популярнейшего писателя, статья, озаглавленная: «В защиту in». В статье с внушающей талантливостью описывалась встреча двух пар зрочков: отсюда и оттуда. Тумминс приглашал всех граждан и строителей эксов в первую очередь почаще заглядывать в глаза механизированных людей, и тогда, писал он, все они поймут, что нельзя покушаться на то, на что покушаются эксы. Нельзя вгонять в человека насильственную, чужую ему жизнь-фабрикат. Человек существо свободное. Даже сумасшедшие имеют право на свое сумасшествие. Опасно передавать функции воли машине: мы не знаем еще, чего эта машинная воля захочет. Пламенная статья заканчивалась лозунгом: in против ex.

В ответ на выступление Тумминса в ближайшем номере официоза появилась передовица, которую молва приписывала Тутусу. В передовице указывалось на несвоевременность истерических выкриков по поводу каких-то зрочков, когда дело идет о спасении всего социального организма; тирады о «свободной воле» передовица объявляла запоздавшими на несколько веков — и даже чуть смешными в эпоху научно обоснованного и проверенного детерминизма; на-сущно важно, поскольку речь идет об опасных для общества

волях душевнобольных, дать им не свободу воли (которую пришлось бы тоже искусственно изготавливать — за неимением таковой в природе), а свободу от воли, направленной антисоциально. По этому пути правительство намерено идти неуклонно и неустанно, делая новые и новые человеческие включения в экс.

Но Тумминс не унимался: на аргументы он отвечал аргументами и, не довольствуясь журнальной полемикой, стал организовывать «Общество доброго старого мозга», как он назвал однажды группу единомышленников, которые, собираясь на митинги протеста, вдевали в петлицы металлическое изображение двух полушарий мозга с лозунгом поперек: *in contra ex*. И когда правительство начало строить рядом с эксом номер один новый мощный экстериоризатор номер два, сторонники «доброго старого мозга» двинулись было толпой к месту стройки, грозя разрушить машины. К месту происшествия были двинуты войска, и в поддержку им, как бы в доказательство способности эксa к самозащите, по улицам зашагали, методически отстукивая свои два шага в секунду, отряды иннервируемых машиной вооруженных «экс-людей».

Ждали новых репрессий и в первую голову арестов среди членов тумминсовской организации, но таких не последовало. На тайном заседании министров, по докладу Тутуса, постепенно забиравшего все большую и большую власть, было принято решение, выполнение которого возлагалось

на экс. Внезапно Тумминс куда-то исчез, — ненадолго, дня на три, — после чего ошеломляюще скоро переменял свое *contra* на *pro*. Говорили, что Тумминс подкуплен, что он действует под угрозой смерти и так далее: все это было неверно — Тумминс был просто включен в экс. Усовершенствованный дифференциатор, овладев артикуляцией знаменитого оратора, завладев движениями его пера, повернул все его слова, так сказать, оглоблями назад. В душе Тумминс все так же ненавидел и проклинал экссы, но мускулы его, оторванные от психики, проделывали четкую и пламенную агитацию, проводя кампанию по постройке новых этических машин. Сначала почитатели великого идеолога, не веря в измену своего вождя, говорили о подлоге и подмене рукописей, но автографы Тумминса, фотографически воспроизведенные и даже выставленные за стеклом витрины городской ратуши, заставили замолчать самых отъявленных скептиков. Обезглавленная партия постепенно распалась, тем более что перспективы, связанные с постройкой новых машин, многим и многим казались заманчивыми. Так, правительство обещало переложить воинскую повинность с здорового населения на включенных в экссы душевнобольных, заявляя, что с точки зрения социальной этики и гигиены рациональнее жертвовать негодными, чем годными. Для многих здоровых, таким образом, название «этических», приписываемое машинам, казавшееся вначале неестественным и смешным,

теперь получало некое оправдание и приобретало вовсе не смешной смысл.

Городок эксов рос и рос. Казалось бы, время было задать вопрос: зачем их столько; не слишком ли много, если имеют в виду одних сумасшедших. Но увлечение стройкой захватило всех. Казалось, эфирный ветер, перейдя за указанную ему черту, сдул прочь все критицизмы и скептицизмы в мире. Боюсь, как бы он не сдул мне и моих слов...

Дяж, вдруг перестав отстукивать палкой об пол свои тире и точки, как-то застопорился и беспокожно оглядел нас кругами стекол:

— Да, я чуть-чуть не проскочил стрелки: тут тема — как я ее вижу — расходится двумя вариантами. Можно, совершенствуя эксы, превратить их эфирное дуновение в вихрь, против которого окажутся бессильными все естественные физиологические иннервации, и тогда... но тут мне пришлось бы распротиться с побочной темой «пожирателей фактов». Это не годится: раз введен образ, ему должно существовать до конца. Структура сюжета, как и структура экса: включение возможно — выключение нет. Поэтому попробую сквозь тему на косом парусе. Итак...

Работы бактериологической лаборатории Нететти не прекращались. Доверив своим помощникам получение возможно более стойкой разновидности виброфагов, сам ученый занялся проблемой, возможен ли — по отношению к пожирателям

телям фактов — иммунитет. Вскоре оба задания были более или менее выполнены: с одной стороны, была получена разновидность чрезвычайной сопротивляемости, способная переносить засушивание, колебание температур, сохраняющая жизнеспособность, правда, на не слишком продолжительное время, и вне мозга, в любой среде, — с другой стороны, самим Нететти было открыто новое химическое соединение, названное им инитом, которое, будучи введено в кровь, проникало в мозг и, оставаясь совершенно для него безвредным, убивало виброфагов; самый организм, после введения в него инита, оказывался навсегда иммунизированным по отношению к виброфагам. Были проделаны испытания инита, после введения вещества в кровь нескольких включенных в экссы буйнопомешанных болезнь снова хлынула к ним из мозга в мускулы: экспериментируемые, бившиеся с пеной у рта на полу лаборатории, тотчас же были уничтожены, а результаты испытаний были признаны удачными. По настоянию Тутуса профессор Нететти занялся изготовлением инита. На очередном тайном собрании Верховного Правительственного Совета Тутус, поблескивая пломбами, докладывал:

— Я считал бы себя сумасшедшим, если б согласился ограничиться применением эфирного ветра к одним лишь сумасшедшим. Невидимый лес экссов растет с каждым днем. Я давно уже отказался от метода искусственной настройки мускульных систем. В сущности, любая мускульная сеть, если

ее изолировать от мозга, может быть включена в иннервацию соответствующей частоты. Каждый из построенных эксов рассчитан на волны той или иной частоты и, будучи пущен в дело, включит в себя целую, ну, скажем, серию людей, как бы самовключающихся в данную частоту. Разумеется, при условии изолированности их мускульных приемников от иннервации изнутри, то есть опять того же, черт бы его побрал, «доброе старого мозга», с которым у нас было и, боюсь, будет еще много неприятных хлопот. Резюмирую: наша страна — как это всем известно — поставляет на мировой рынок всяческие консервы, экстракты, сушеные фрукты и прессованные питательные вещества. Новая разновидность виброфага достаточно жизнеспособна, чтобы, пройдя сквозь прессование, сушку и проч., и проч., добраться до организмов наших всесветных потребителей, а там по токам крови в мозг и... Инит мы сохраним, разумеется, только для себя. О преимуществах, которые даст нам все это, о той новой мировой ситуации, которая должна быть отыскана между инитом и эксом, вам, государственным мужам, объяснять излишне.

И вскоре после этого бесчисленные разводки виброфагов, впрессованных в бульонные кубики, засушенных и замороженных внутри всякой снеди, запаянных в миллионы консервных банок, застранствовали навстречу миллионам ртов доверчиво проглотивших себя самих, — если мне позволено будет так выразиться. Первые же граммы инита, изготавливаемого чрез-



вычайно медленно самим Нететти, без допуска каких бы то ни было помощников, не вышли за узкий круг правителей и их приближенных: дело в том, что эти люди, отдавшие эксам всех умалишенных, обезопасить от возможного включения в машину решили в первую голову наиболее здравомыслящих, то есть самих себя. Разумеется, в дальнейшем, по мере получения новых граммов и скрупул, постановлено было распределять их от центра к периферии среди всех полномочных граждан государства, на деньги которых, собственно, и строились все эксы, но... Но внезапно умер Нететти: его нашли со вспухшей шеей и вспученными белыми глазами среди химических стекляшек его тайной лаборатории. Никаких записей и формул изготовления инита обнаружено не было. Стекланный пузырек с несколькими граммами инита, который ученый носил при себе, сберегая от посторонних глаз (об этом знали лишь Тутус и члены Тайного Совета), отыскан не был. Даже Тутус был взволнован и растерян. На экстренном собрании Совета он, привыкший лишь отвечать или не отвечать, впервые спросил:

— Что делать?

Тогда поднялся самый молодой из всей коллегии по имени Зес.

— Почему не Зез? — вскинулся председатель и обвел нас всех недоуменной улыбкой.

Замыслители переглянулись.

Но Дяж продолжал отстукивать свои точки.

— Так вот. Встал, говорю я, некий Зес, ничем особенным себя до сих пор не проявивший. Это был человек умный, но жестокий, — тот, скажем, традиционный злодей, без которого не обходится ни одно фантастическое, принужденное заменять характеры схемами, повествование. Д-да. И ответ был дан: пустить в дело экссы. Все. И немедленно.

В коллегии произошло движение. Тутус возражал:

— Но ведь план иммунизации не проведен. Следовательно, в экссы могут включиться и...

— Тем лучше. Чем меньше управляющих, тем больше управляемость. И после: учтен ли собранием факт исчезновения инита? Наши замыслы, вместе с тайной инита, могут попасть — если уже не попали — в чужие руки. Пока мы будем медлить, слухи о наших замыслах переползут через границу, но и ранее того наши сограждане, если в них есть хоть капля здравого смысла, успеют разделаться и с экссами, и с нами: или вы думаете, что они простят нам наш иммунитет?

— Да, — заколебался Тутус, — но пуск экссов все же преждевременен. — Ведь бактерии не успели еще добраться до всех мозгов и на всей планете. И затем, я не уверен, что наши предельно мощные экссы, даже будучи пущены все сразу, включат в сферу своего действия — скажу закругляя — более двух третей человечества. Возможны индивидуальные отклонения мускулатур — всех не разберешь по сериям.

— Очень хорошо, — подхватил Зес, — две трети мускулатуры всего мира — это более чем достаточно, чтобы выключить невключенных и из жизни: начисто. Предлагаю конкретное решение: бациллинированные консервы пустить и на внутренний рынок. По самым дешевым ценам. Второе: какой бы ни было ценой, в ближайшие же дни достроить последний сверхмощный экс. Третье: немедленно после его окончания перейти, так сказать, от науки к политике.

Но события надвигались даже быстрее, чем их рассчитывал Зес, соглашавшийся с Тутусом в том, что бациллы скорее мыслей проберутся в мозг. Уже наутро после экстренного заседания рабочие не вышли на стройку экстериоризатора; на улицах было заметно какое-то недоброе оживление: по рукам ходили свежееотпечатанные подпольные листовки; за городом загудел митинг; войсковая часть, посланная для окружения сборища, не выполняла приказа. Зес понял, что на счету даже минуты, он не стал тратить их на созыв Совета, а бросился, вместе с десятком приверженцев, в невидимый городок, где стояли прозрачные мачты иннерваторов: никто не остановил их — весь персонал, обслуживающий машины, находился сейчас на митинге.

Толпа, созванная прокламациями, сгрудилась — голова к голове — в огромной ложбине, начинавшейся тотчас же за городской чертой. Ораторы кричали с деревьев по-птичьи

пронзительно: одни о заговоре, будто бы уже полураскрытом, другие — о народных деньгах, невесть на что растраченных, третьи — об измене народу, четвертые — о мщении и расправе. Из шевелящегося муравейника выдергивались кверху кулаки и палки, прокатывались грохоты гимнов и рев проклятий. Из-за шума никто не слышал тихих, стеклисто-тонких звуков, внезапно всверлившихся в воздух. Внезапно уже начало происходить что-то странное: часть толпы, вдруг отделившись, выклинилась из митинга и двинулась назад в улицы. Ораторы, сидя на своих деревьях, подумали было вначале, что это их слова толкают к действию, но они ошибались — это было дело пущенных в ход первых эсов. Толпа примолкла. Теперь были ясно слышны сплетающиеся звоны иннерваторов; вот зазвучал еще один, острый и вибрирующий, и новая процессия, накапливающая людей, как магнит железные опилки, потянулась, безлюдя митинг, под углом в девяносто градусов к первой. Даже некий молодой агитатор, сидевший на дубовом суку, теперь уже ясно видел, что так не идут на месть и разгром: все, включавшиеся в шествие, шагали, как-то странно втиснув локти в тело и автоматически четко отстукивая шаг. Пока юный агитатор, почти плача от обиды и гнева, пытался кричать вслед уводимым, невидимое что-то, вдруг охватив его мускулы, разжало кисти рук и притянуло локти к телу; теряя равновесие, юноша грохнулся с сука оземь, но не успел уже закричать: невидимое что-то притис-

нуло челюсть к челюсти, пресекло крик и, задвигав вдруг тяжами расшибленных ног, заставило их, сгибая и разгибая им колени, присоединить агитатора к процессии: в душе у юноши бушевала ненависть и бессильное бешенство: «Только бы добраться до дому, взять оружие — и тогда посмотрим», — бунтовал мозг, но мускулы задвигали тело в сторону, противоположную дому: «Куда я иду?» — металась изолированная мысль, а тем временем шаги, точно отвечая на вопрос, медленно — по два удара на секунду — подводили собственника мыслей к железной ограде невидимого городка. «Тем лучше, — обрадовался агитатор, — вас-то я и искал», — и он почти со сладострастием представил себе, как будет бить чем ни попало по прозрачным нитям, как подкопает стеклянную мачту и порвет провода от подземных роторов: шаги, как бы поддакивая, подвели его к сплетениям самого большого, еще не вполне законченного сверхсильного экстериоризатора; юноша напряг все силы, — казалось, таинственное что-то помогало ему, — он схватился за стеклянную полувинченную трубу, и тут руки, как будто нечаянно соскальзывая с скользкой поверхности, стали медленно, но методически довинчивать мачту: только теперь несчастный понял, что вместе с другими, автоматически распределившимися по площади городка людьми он работает над достройкой эксов.

Эфирный ветер, начав дуть от невидимого городка, быстро попопрокидывал конституции государств, окружавших

страну, приютившую идею Нететти — Тутуса. В несколько порывов эфира было сделано несколько революций: Зес называл их «революциями из машины». Делалось это чрезвычайно просто: дергая людей за мускулы, как за веревочки у движущихся кукол, экс, действующий по определенному радиусу, накапливал их в столичных центрах, окружал куклами государственные учреждения и дворцы, заставляя толпы артикулировать — всех, как один человек, — какой-нибудь несложный в два-три слова лозунг. Людям, избегнувшим включения в иннерватор, оставалось бежать — подальше от эфирных щупалец машины. Но вскоре был закончен и пущен в ход сверхсильный экс, достававший до мускулов и через океаны. Сбившиеся в беспорядочные толпы беглецы пробовали организовывать сопротивление: на их стороне были некоторые преимущества — гибкость и многосложность движений, которых не было у толчкообразно движущихся, шагающих по прямым линиям, не способных к ориентировке новых людей. Тогда началось методическое, по квадратам, истребление невключенных. Идеально ровные шеренги «новых» шли, как косари по зрелой пашне, — от межи до межи, — скашивая все живое прочь с пути. В смертельной тоске люди прятались в чащу лесов, зарывались в землю; иные же, имитируя автоматические движения новых, примыкали к шеренгам их, лишь бы не быть убитыми. Работа по очистке человеческого сора — как выразился однажды наш Зес —

корректировалась на местах специальными наблюдателями из числа тех двух-трех сотен иммунизированных, на которых работали эксы. Когда эфирная метла кончила мести — все территории были соединены в одно мировое государство, которому было дано имя, сочетающее название машины и реактива: Экси́ния.

После этого диктатор Зес объявил о переходе на мирное строительство. Прежде всего необходимо было озаботиться о создании человеческого аппарата, который мог бы достаточно точно, с квалифицированной автоматичностью, обслуживать аппараты системы Тутуса. Дело в том, что в период переворота и борьбы у машин приходилось работать все той же горсточке иммунизированных: управление эксами требовало сложной системы движений и учета столь же сложной сигнализации. Последнее создание Тутуса — экс для управления всеми эксами был наконец воздвигнут и освободил олигархов в значительной степени от нервной и трудной работы по подаче иннервации. Второй реформой была ликвидация в Экси́нии народного образования: представлялось совершенно излишним обучать тому или этому людей, если и это и то могли проделать иннерваторы: графа расходного бюджета по просвещению массы была заменена графой расходов на усовершенствование единой центральной нервной системы, сконцентрированной в невидимом городке. Затем «ex» каждого человека, его мускульная потенция была взята на учет,

и, сидя у клавиатуры центрального экса, Зес с точностью знал ту сумму мускульной силы, запас труда, который можно было в любой момент бросить на выполнение того или иного задания, распределить и перераспределить как угодно. Вскоре города Эксинии украсились грандиозными, циклопической мощи сооружениями, правда, застройка велась по единому плану, ориентирующему по линиям эфирных волн: прямые, как дорожки кегельбанов, улицы — от жилых корпусов к фабрикам и обратно — легли все и всюду по параллелям к меридианам и линиям долгот. Сами работники, из которых иннерваторы брали все наличие их сил, стали жить в просторных и светлых дворцах, получая изобильную пищу, но радовало ли их это — неизвестно. Психика их, отрезанная от внешнего мира, изолированная в их, разлученных с мускулами, мозгах, не давала ни малейшего знака о своем бытии.

Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о ее продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения еще одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира, бросал мужчин на женщин, случал и разлучал с таким расчетом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати — один из иммунизированных, личный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, — ну, чтобы не искать долго имени, — назовем его Шагг...



— У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имен, — дернулся в кресле Шог, — и я советовал бы вам...

— К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, — возвысил голос председатель, — продолжайте рассказ.

— Так вот, этот Шагг, еще задолго до всяких эксификаций тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества оного Шагга, ставила его ни во что, — Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал ее и внутри любви — он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дергавший — в тот, помните, первый день — за тесемки легких полукружий, умел наполнить их, в сущности, только воздухом — ну, и эксы могли приготовить все, что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог... виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, — он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.

Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счетчиках, точно дозируемой и распределяемой действительно-

сти; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и эксонов, которыми правили. Казалось, что Рах Ехипае\* ничем не может быть нарушен, но тем не менее...

Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включенных. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, — очевидно, неточно иннервированные, — эксоны стали переходить их поперек; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация эксов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, — рождаемость давала довольно низкий балл. Все бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружили какие-то технически не учтенные отклонения и неправильности в работе иннерватора, приводившего в действие «аппарат» Эксиинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину, есть один способ: остановить ее».

После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить экс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум пере-

боев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные — казалось наиболее гуманным принести в жертву именно их.

В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишенным ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и — кто где был — неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо списанных со счета экзонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставались людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо сгнивать; проверка машины не была закончена, поэтому — в интересах социальной гигиены — всю эту дергающую ресницами человечину... пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.

А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранный на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты.

— Иннерватор в абсолютном порядке — был и есть, — с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. — Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина эксцессов не в эксках, то... ее надо искать в эксках, в изолированности и безнадзорности их психик. Недав-

но я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение ее справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты, закрытой на ключ, не переступить: ни изнутри — ни извне. Меня, разумеется, совершенно не интересуют все эти душеобразные приделки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия вроде «внутреннего мира» и так далее...

— Но это не интересует и вас, Дяж, — ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: — Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантазмагории — проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действительность; вы входите в факты извне, а не изнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы — смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда...

— Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса он —

несколько неожиданно для патрона — вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что... но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»... — в век эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напрочь и начисто, — найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведенного невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включенный в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилён бросить человечеству свою всеспасающую мысль: в мире, где действие и мышление, замысел и овеществление разобщены, — он, видите ли, выключенник.

В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда ее не просят) — даме, которую машина отдает именно тому, кому отдано и ее сердце, но «он», извольте ли видеть, — не знает этого и никогда не сможет узнать.

В произведении этом было много зачеркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нем подробнее не берусь.

Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, попадающей и в бытие и в машину о д н о в р е м е н н о: то есть рассказывалась история ребенка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в котором застает его уже включенным в экс; для существа этого не существует мира за пределами эксa: экс для него трансцендентален, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится ребенку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, — короче, ход машины, обуславливающий все объективно происходящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений в с а м и х в с е б е, то есть к крайнему спиритуализму. И все же, шаг за шагом, Шагг выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными со-

впадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, привносимым извне, из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эсона к мечте об ином умопостигаемом мире, в котором исключения эти превращены в правило и... но не буду кончать, потому что и Шагг не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.

Явившись к своему патрону, Шагг застал его в обществе, — хотя слово «общество» тут вряд ли подойдет, — застал его стоящим перед двумя эксонами, вдвинутыми в сиденья кресел.

— Вы хотели вшагнуть в потустороннее, если я вас правильно понял на последнем собрании. Закройте дверь. Так. А теперь я вам распахну души вот этих двух. Садитесь и наблюдайте.

— Но я не понимаю... — пробормотал Шагг.

— Сейчас поймете. Два часа сорок минут тому назад я ввел им в кровь почти по грамму инита. Тут вот в пузырьке хватит еще на два-три таких же опыта. Инит действует к концу третьего часа. Внимание.

— Но, значит, Нететти... его смерть, — и Шагг почувствовал, что глаза его заблудились меж манекенов, Зеса и крохотного пузырька, поставленного на столе.

— Бросьте о пустяках. Смотрите: один начинает шевелиться. Несколько минут тому я приказал их выключить из экса. Значит, вы понимаете...

И действительно, один из манекенов вдруг странно дернулся, выгнул грудь и сжал кулаки. Глаза его оставались закрытыми. Затем меж губ его проступила, пузырясь, пена, он вдруг раскрыл немигающие глаза и мутно уставился в стоящих перед ним людей. Казалось, мозг его, в течение долгих лет разлученный с мускулами, ошупью отыскивал к ним дорогу — и вдруг произошел контакт: рванувшись с места, эксон с звериным ревом бросился на стоявшего в двух шагах от него Зеса. Мгновение — и они покатались по полу, ударяясь о ножки стола и опрокидывая мебель. Шагг бросился к свившимся в клубок телам и, замахнувшись головкой ключа, зажатого еще в его руке, изо всей силы ударил эксона в висок. Зес, высвободившийся из тисков, поднялся, с трудом лоя воздух разбитыми губами. Первыми его словами было:

— Добейте. И свяжите другого. Немедля.

Когда Шагг стягивал узел на схваченных веревкой руках живого эксона, тот зашевелился, как шевелится человек, просыпающийся после долгого глубокого сна.

— Скрутите ему ноги, — торопил Зес, сплевывая кровь на пол, — с меня достаточно и одной схватки.

Человек, связанный по рукам и ногам, раскрыл наконец глаза. Судороги, стягивавшие его тело, не были похожи на движения буйного помешанного; он не кричал, а только тихо и жалобно, почти по-собачьи, скулил и всхлипывал; из



синих пустых глаз его текли слезы. Зес, постепенно приходя в себя, пододвинулся вместе с креслом и с чуть печальной улыбкой оглядывал связанного человека.

— Я знавал их обоих, Шагг, в их прежней доэксковой жизни. Вот этого, еще живого, я почти любил, и почти как вас. Это был прекрасный юноша, философ и немного поэт. Признаюсь: для опыта освобождения я выбирал с пристрастием — я хотел людям, когда-то близким мне, вернуть их прежнюю неомашиненную жизнь, отдать им назад свободу. И вот: сами видите. Но будет с этим. Сделаем выводы: если эти двое, бывшие до включения в иннерватор людьми с абсолютно здоровой психикой и крепкой мыслью, не выдержали отлучения от действительности, то у нас есть основание думать, что и другие психики эксификации не вынесли. Короче, мы окружены безумием, миллионами умалишенных, эпилептиков, маньяков, идиотов и слабоумных. Машины держат их в повиновении, но стоит их освободить, и все они бросятся на нас и растопчут — и нас, и нашу культуру. Тогда — Эксинии конец. Заодно уж скажу вам, мой романический Шагг: приступая к этим опытам, я мнил приблизить иную эпоху, эпоху инита. Я думал, уж не ошибся ли я, выключив Нететти и иных: одних из жизни, других из свободы. Но теперь я вижу... одним словом — это кста-ти, что пузырек с последними граммами инита во время нашей схватки разбился.

Выйдя на улицу, Шагг автоматически повернул вдоль улицы и шел, сам не думая куда. Это был час, когда серии возвращались с работы; попав в шеренги медленно и методически — два удара в секунду — шагающих людей, наш поэт и не заметил, как вскоре подчинился четкому и точному ритму шеренг, — ему даже нравилась та легкая бездушная пустота, какую приносило в него соприкосновение с мертвыми толчками машин; после происшедшего в кабинете Зеса ему хотелось возможно дольше не думать, выиграть время у мысли, и он нарочно, как бы включаясь в какую-то игру, притиснул локти к телу, как и те, что вокруг, и, уставившись глазами в круглый затылок впереди идущего эксона, подумал: «Надо, как он, все, как он, — так легче». Затылок, мерно качаясь, повернул от перекрестка влево. И Шагг. Затылок по прямому разбегу проспекта двигался к стальному горбу моста. И Шагг. Шли по гулкому взгорбию меж каменных параллелей перил. Вдруг затылок — как шар, заказанный от двух бортов, ткнулся о перила справа, потом — под углом отражения — по прямой на перила слева. И Шагг. Затылок, круглясь и алея, свис с борта и нырнул в лузу — вниз: всплеск. И Шагг: всплеск.

Когда Зесу, принимавшему доклад дежурного по иннерваторам, сообщили о смерти секретаря, он лишь на секунду судорожно свел брови и тотчас же поднял глаза на прервавшего рапорт инита:

— Дальше.

«Дальше» было очень тревожное: случаи неподчинения иннервациям множились с часу на час и начинали принимать массовый характер. Эксонов-аппаратчиков, обслуживавших центральный экс, требовавший чрезвычайно точных и сложных мускульных разрядов, пришлось снять с работы и уничтожить: они становились слишком опасными. У клавиатур всех аппаратов, как в период борьбы за Эксинию, снова стали иниты. Пододвинулись трудные и черные дни: отвыкшие от работ, изнеженные олигархи должны были снова почти бессменно встукивать в клавиши грандиозного инструмента искусственное бытие. Но гармонии, прежней точно исчисленной гармонии не получалось: клавиши как бы заскакивали, толчки иннерваторов рассеивались в эфире, не доходя до мускулов, вдруг отказав в повиновении, партитура факто-сочетаний не вошла в смычки. Прозрачные мачты невидимого городка еще продолжали звучать роем тонкопоющих стеклянных ос, но мудрая гармония их была разорвана на груды бьющих друг о друга эфирных волн, и пресловутый Рах Ехипіае оказывался нарушенным и искаженным.

Каждый день на колючих проволоках, густыми рядами которых невидимый городок, собравший сейчас в себя всех инитов, был обмотан, — находили трупы эксонов, стремившихся прорвать стальное кольцо. Большинство наблюдателей — из числа инитов, — работавших на местах, погибли

насильственной смертью; остальные бежали в центр. Послать кого-нибудь им на смену не представлялось возможным, — городок оказался изолированным и окруженным: проволокой, безумием, безвестностью.

Трупы самовыключившихся подвергались вскрытию; тщательно исследовались их мозг и система двигающих нервов. Вскоре в мозгу их было обнаружено присутствие неведомого науке вещества: оно вырабатывалось внутри нервных тканей в чрезвычайно ничтожном количестве: очевидно, это была какая-то защитная внутренняя секреция, постепенно накапливавшаяся в организмах самовыключавшихся и как-то связанная с процессом выпадания из экса. Зез пригласил к себе заведующего химической лабораторией, просил точно описать феномен и, выслушав все пункты, вынул ждавшие под пресс-папье тонкие пожелтелые листки и придвинул их к глазам химика. «Почерк Нететти», — забормотал тот смущенно, выпрыгивая глазами из строк.

— Мне говорили — вы химик, а не графолог. К делу. Сходно ли это с формулой новооткрытой секреции?

— Тождественно.

— Спасибо. В таком случае, будем считать, что вами вторично открыто вещество, а мною его имя: инит.

На последнем собрании коллегии, отслушав мнения, Зез резюмировал:

— Итак, in восстало на ех. Исход борьбы инита с виброфагами ясен. Но пока виброфаги не открыли фронта, пока миллионы безумий не прорвались к мускулам, мы еще можем свести игру на ничью. Я предлагаю: остановить эксы. Немедля — сразу и все.

При голосовании — все воздержались. Кроме Зеса: один его голос оказался достаточным, чтобы остановить все голоса невидимого городка. Жужжание эксов, закачавшись в воздухе, стало медленно утишаться, скользя хроматически вверх, и исчезло, будто рой ос, прогнанный дымом. И в тот же миг десятки миллионов людей застлали землю неподвижными или слабо дергающимися телами.

Отряд инитов вышел из своего проволочного заточения. Разделяясь по пути на группы, иниты двигались среди издыхавших тел. На третий день исхода иным из группы пришлось пробираться среди трупного смрада и разложения; другие успели уже дойти до безлюдья, точнее, — до беструпья. Впрочем, в лесах и пещерах, где укрылись иниты, не было вполне безлюдно; там уже жили — полуодичавшими кланами и ордами — спасшиеся по дебрям и чашам, изгнанные из культуры, свеянные первым эфирным ветром человеческие особи. Они ютились, селясь подальше от опушек, врываясь в землю, в вечном страхе включения в волю невидимых иннерваторов; свою городскую одежду они давно уже заменили звериными шкурами и лыком и пугали своих де-

теньшей, возвращенных в лесах, именем злого бога Экса. Малочисленным инитам пришлось частью вымереть, частью слиться с этой человеческой фауной лесов. И колесо истории, описав полный круг, снова заворочало своими тяжелыми спицами. Но если б человек, скрытый под именем Анонима, чуть не попавший в тот, — помните, первый рассказанный мною день, — под обыкновеннейшее колесо обыкновеннейшего автомобиля, все-таки попал бы под него и был расплюсчен, вместе с идеей, — то, как знать, может быть, все завращалось бы в другую сторону. Хотя...

Дяж, стащив стекла за стальные усики — с глаз, наклонился над ними, протирая коричневым фуляром. Зрачки его, вдруг затупившиеся, вщуренные в красные разморгавшиеся веки, казалось, перестали видеть тему.

Молчание разомкнулось не сразу. Затем задвигались кресла. Первым к порогу двинулся Рар. Я боялся, что председатель и на этот раз преградит мне дорогу вопросами, но Зез сидел, глядя в потухший камин, казалось, весь включенный в какую-то трудную мысль. Я вышел вслед за Раром, незамеченный и некликнутый.

В подъезде я нагнал его. Мы вышли вместе на полуночную, почти пустынную улицу.

— Боюсь, что запугаюсь в словах. Вы можете не отвечать, но я не могу не спросить. И именно вас. Вы единственный среди них, о котором я думаю: человек. Можно?

— Я слушаю, — бросил Рар, не поворачивая головы. Мы продолжали идти — локоть к локтю — вдоль безлюдной панели.

— Среди вас, замыслителей, — как вы себя называете, — мне как-то странно и трудно. Я так просто, а вы... ну, одним словом, я не хочу быть эксоном среди инитов. Зачем я вам? Убивайте свои буквы, но у меня их нет: ни замыслов — ни букв. Повторяю — я не хочу быть эксоном!

— У вас верный инстинкт — «эксон», это неплохо. Я не имею права отвечать, но все же отвечаю. Вините во всем меня, инита. — И, полубернув ко мне лицо, Рар оглядел меня — сквозь ласковую полуулыбку.

— Вас?

— Да. Не затей я спора с Зезом об игле и нити, у нашего камина вряд ли бы появилось восьмое кресло.

— Об игле и нити?

— Ну да. За неделю до вашего появления на очередном субботнем собрании я стал доказывать, что мы не замыслители, а попросту чудаки, безвредные лишь вследствие самоизоляции. Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити; колет, но не шьет. Я обвинил и их и себя — в страхе перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь. Они напали на меня, и пуще всех Зез. Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были з а м ы с л а м и — они не проверены солнцем. «И замыслы, и растения

растут в темноте, ботаника и поэтिका в данном случае обходятся без света», — аргументировал было Тюд, поддерживая Зеза. «В таком случае, если вам угодно бить аналогиями, — ответил я, — бессолнечный сад может взрастить лишь эти олированную поросль», — и рассказал им об опытах возвращивания цветов без доступа света: получается — это любопытно — всегда чрезвычайно длинное ветвистое растение, но стоит такой этиолированный экземпляр выставить на свет, рядом с обыкновенными и в смене ночей и дней живущими цветами, и тотчас же обнаруживается ломкость, никлость и вялая окраска возвращенного тьмой. Одним словом, спор наш поставил на очередь вопрос: способны ли наши замыслы выдержать испытание светом, действительны ли они и за пределами нашей черной комнаты? Решено было временно включить пару ушей извне, среднего читателя, воспитанного на буквениях: достаточно ли в и д и м о й окажется пустота наших полок? Но тут забеспокоился Фэв. «Темнота, — сказал он, — превращает людей в воров, — это вполне естественно: а что, если этот втируша, которому мы сами набьем голову — по самое темя — замыслами, сумеет их вынуть из нее и обменять на деньги и славу?» — «Пустяки, — успокоил его Зез, — я знаю одного человека, который подойдет для этого дела. Перед ним можно спокойно раскрыть все темы всех суббот. Он не тронет ни одной». — «Но почему?» — «Да просто потому, что он б е з — р у к: существо, которое у Фихте назва-



но — «чистый читатель»: к чистым замыслам лучше и не подбирать». Вот. Кажется, все. Простите.

Он сжал мне руку и скрылся за поворотом улицы. С минуты я стоял в ошеломлении и растерянности. Рар ушел, но слова его еще кружили меня, и я не знал, как от них отбиться. Когда я несколько пришел в себя, то понял, какую ошибку я сделал, не досказав и не допросив о главном: черная узкая улица тянулась предо мной, как нить, выскользнувшая из иглы.

## ▼

Сначала было я решил не посещать более суббот Клуба убийц букв. Но к концу недели мысль о Раре заставила меня переосмыслить. С первого же вечера этот неповторимый в его своеобразии человек показался мне нужным и значимым: самое имя его, как ни притворялось оно бессмысленным слогом, единственное среди всех их имен напоминало о каком-то смысле, но адресный стол не обменял бы мне его на адрес. Мне необходимо было видеть Рара, хотя бы раз, и сказать до конца: ведь он не их, а наш: зачем ему оставаться среди убийц и искажителей; сначала рукопись, а потом и... мне необходима была встреча с Раром. И так так возможна она была лишь там, меж черного каре пустых книжных полок, — то с наступлением субботы я решил — в последний раз, говорил я себе, — присутствовать на заседании клуба.

Когда я вошел в круг собравшихся, Рар, сидевший уже на своем привычном месте, с удивлением поднял на меня глаза. Я попробовал удержать его взгляд, но он тотчас же отвернулся с видом полной исключенности и равнодушия.

После выполнения обычного ритуала слово было предоставлено Фэву. В маленьких, с трудом протискивавшихся сквозь жир глазках Фэва замерцал какой-то хитрый блик. Он повернулся в кресле, затрепавшем под грузом жира и мышц.

— Моя астма, — начал Фэв, с трудом присасывая воздух, — не любит, когда я пускаюсь в длинные повествования. Поэтому попробую лишь набросать вчерне давно уже мной задуманную *Историю о трех ртах*.

Экспозиция ее такая: в кабаке «Трех королей», пропивая последний талер, увеселялись трое. Для имен их мне достаточно трех букв: Инг, Ниг и Гни. Было уже за полночь: время, когда бутылки пустеют, а души наполняются до краев, — и приятели под музыку стаканов развлекались — всякий на свой лад. Инг был мастер поговорить; стучась стеклом в стекло, он провозглашал тосты и спичи, цитировал святых отцов и рассказывал препестрые историйки. Ниг был охотником до поцелуев и знал в них толк (как никто): и сейчас он едва успевал отвечать на вопросы и тосты, потому что губы его были в работе, — и толстая девка, сидевшая у него на коленях, если б ей платили попоцелуйно, в один вечер сделалась бы богатой невестой. Гни не нуж-

дался ни в словах, ни в поцелуях: вздувшиеся щеки его были перепачканы жиром, а рот присосался к огромной бараньей кости, с которой он терпеливо и трудолюбиво обдирал зубами мясо.

Вдруг девка, меж двух поцелуев Нига, сказала:

— Почему у людей не по три рта?

— Чтобы целоваться сразу с тремя? — захохотал Ниг, снова придвинувшись губами к губам.

— погоди, — остановил его Инг, почуяв новую тему, достойную правильной риторической разработки, — не лезь с поцелуями меж слов.

— Я и говорю, — повернулась Нигова подруга к Ингу, — если б каждому из вас да по три рта, чтоб сразу и говорить, и есть, и целоваться, тогда бы...

— Вздор, — оборвал Инг и учительно поднял палец, — силлогизмов из-под юбки не вынуть. Умолкни. Спросим лучше святое предание и формальную логику: трижды блаженный Августин научает, что человек, в отличие от несмысленного зверя, есть существо и з б и р а ю щ е е. Не на этом ли и зиждется *liberum arbitrium*\*, способность из многого выбрать наилучшее. Аристотель же учит нас различать первоцель, энтелехию, от случайных или подчиненных соцелей; а Фома из Аквини дополняет их, отделяя субстанциальный смысл от акцидентального, исходящее от приводящего. Рот, *os*, как сказал бы он, причастен и пище, и целованью, и слову; но

\* Свободное суждение (лат.)

в чем его главное свойство? Как ты думаешь, любезный друг Гни? Вынь кость изо рта и ответь.

Кость чуть посторонилась, чтобы дать протиснуться словам. — Мне кажется, — проговорил Гни, — что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, — на моей тарелке: ясно, рот — чтобы есть. А остальное все так — припутано.

— Мой добрый друг, — закачал головой Инг, — не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?

— Потому, — отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, — что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас — меня в рай, тебя в ад — и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.

— Мне жаль ангелов, — вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, — если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот этакую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?

Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих: — И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория *д р у г о г о , 10 ετερον*, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по

порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни — так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, — и это так; но — слушайте со вниманием — не скажи Господь слов «да будет» — не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.

— А если так, — не унимался Гни, — то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?

Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, поперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты — храпом.

В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротое существо, — непрерывно шевелившее шестью губами: Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:

— Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..

— Как призрак, — закончил Инг, — если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус — наваждение, тень.

— Черт возьми, — ухмыльнулся Ниг, — эта тень отдала мне колени. Расскажи сон.

И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали впереводку о главном назначении рта:

— Чтобы есть.

— Врешь — чтоб целовать.

— Оба врете. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скреживаются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение

бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак — плыву...

— Да, вы плывете, — Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам — искры прыгнули навстречу удару, — плывете, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, извольте ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, — этак мы скоро...

Жилы Фэва налились кровью:

— Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я... не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, — а вот...

Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:

— Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.

Все глаза были на мне. И я ответил:

— Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.

— Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям туда, куда им давно

уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех королей». Городок еще спал, зажмутив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:

— Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?

Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.

— Это камедул, — присвистнул он, — мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.

— Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх — это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.

Вновь завязкавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей — сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:

— С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.

— У всякого своя забота, — вздохнул Инг.



В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.

Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.

К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым — сквозь пыль и загар — лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно даже — ваш о. Франсуаз, — обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улынувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу — и Фэв продолжал.

— Отчего у человека один рот, а не три? — спросил, поклонившись клирику, Ниг.

Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:

— А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спу-

стите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, — любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.

И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.

— А ведь поп хотел нас одурачить, — зачесал в затылке Гни.

— И чисто сделал дело, — сплюнул с досадой Ниг.

— Дурачить, — ответил Инг, — это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски — как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены? Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.

И трое молча продолжали путь.

Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники уви-

дели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: растегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.

— Клянусь гусем, — рявкнул Гни, — спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.

Ниг только облизал губы. А Инг, покачав головой, сказал: — Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, — ему дано то, что не дано нам, — умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышлениш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кущам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?

— Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, — отвечала кормилица.

Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг,

охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.

— О чем ты там? — спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.

— Ах, — отвечал Инг, вздохнув еще раз, — я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.

— Кормилице? — зевнул Ниг.

— Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот такие крохотные пискуны... Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.

Мы оба были тогда юны — и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери — много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вокруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив про-

зрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся покрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катутла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, — тот присвистнул и показал мне спину.

Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция... ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услышал стук в дверь, — и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.

— Ну-ну, — заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.

— Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог...

— Дурак, — сказал Ниг и отполз на локте на старое место.

— Я говорил ей о прославленных любовниках древности — о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впро-

чем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся неубедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, — и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о... Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Приоткрыв ее, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.

— Дурак, — простонал Ниг и, заткнув уши пальцами, лег ртом в землю, а Гни, дожевав свою травку, спросил:

— И вы не проголодались?

— Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешел к завлекательнейшему «Ars amandi»\* Назона, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за... Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней. Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.

— Идем, — сказала она няньке, и голос ее дрожал от непонятного мне гнева, — идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.

\* «Искусство любви» (лат.)

— Пойдите, — закричал я, теряя всякое понимание, — а как вы докажете, что были у меня?

Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.

— Скорей, — воскликнула она, — и если мне удастся вернуться к ложу не узнанной никем, даю обет: избрать в мужья самого молчаливого из всех, кто меня захочет.

И они скрылись в мгле предутрья, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.

— Ну вот видишь, — зазлорадствовал Ниг, — пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы так печально.

— Она еще не кончилась, — возразил Инг, подымаясь с земли, — конец ее ждет меня вот за этими воротами.

И трое вошли в город.

Ночь пришлось провести без крова. Гостиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты, и ночью их мучили голодные сны.

Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в четки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных

каменной иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударяя себя в грудь: «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa»\*. Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни — чудесным образом — зазвенели золотые монеты.

Начать пить легко — кончить трудно. Скоро вокруг трех пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение, опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавками стало людней, чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похихатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.

Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:

— Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но еще более тре-

\* Моя вина, моя вина, моя тягчайшая вина (лат.)



вожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?

Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба герольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочел приговор:

«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав под надзор всех, кто видит и слышит. Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осужденному, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таковом, после чего нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».

С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядом, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.

— Что ты скажешь на это? — спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осекся.

Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно понурил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взяли за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза — в них блестели слезы.

Началась жизнь, мало похожая на жизнь. В городе было достаточно милостивых и сострадательных девушек, которые со вздохом и сочувствием поглядывали на статного Нига: губы его потрескались — от любовной жажды, щеки ввалились и глаза стали мутны; он ходил, стараясь не смотреть на пунцовые бутоны девичьих уст, бормоча проклятия и жалобы. Но болтуну — Ингу — нельзя было даже пожаловаться: язык ему щекотало множеством невысказанных слов, которые приходилось проглатывать вместе со скудной пищей, которую делил он с Нигом. Они совестились есть в присутствии изголодавшегося Гни. Прежде чем разломать пополам сухарь, Ниг и Инг отходили куда-нибудь за дверь или за угол, чтобы не видел Гни. Тому, что ни день, становилось все хуже: от слабости и истощения он уже не мог ходить, и двое друзей водили его за собой, держа под локти и помогая переставлять ноги. Вскоре несчастный впал в состояние полусна-полуяви и бредил видениями жирных окороков, шипящих колбас, прошпигованных пулярок и всякой снеди, непрерывно

вращавшейся на вертелах — перед его духовными глазами с благоуханием и сыком.

Ингу же нельзя было даже бредить: из страха, как бы не заговорить во сне, он почти не смыкал глаз.

Лучше всех держался Ниг. Не поддаваясь отчаянью, он дважды, выждав удобный момент, заводил беседы с часовым, стоявшим у ворот города. После второй беседы, отозвав в сторону Инга, Ниг сказал так:

— Послушай, болтун, ворота города, может быть, и можно открыть, но золотым ключом. Надо торопиться. С Гни плохо: он превратился из спутника в поклажу, но все равно — надо спасать его, да и себя тоже. Вся жизнь ты только болтал, теперь придется поработать, дружище. Я говорю о жене судьи. Кончай роман, иначе мы все погибли. Молчание — знак согласия. Вечереет. Я высмотрел: окно судьи в это время всегда открыто. Поблизости никого. Идем, и я докажу тебе — при помощи твоего же рта, чудак, что ты ошибался относительно его назначения.

Инг страдальчески промычал, как глухонемой или человек с вырезанным языком, и покорно поплелся спасать, подбадряемый пинками друга.

Последние инструкции ему были даны уже под окном, настезь раскрытым в ночь:

— Итак, помни: действуй поцелуем. Еще: если скажешь хоть слово, я сам донесу, и тебе вмиг оттяпают голову. Буду слу-

шать и сторожить тут, под окном: я не старуха нянька и не за-  
ну, не надейся. Вот спина: полезай. Ну?..

И пятки обреченного, оторвавшись от земли, сначала упер-  
лись в плечи Нигу, затем, подтянувшись к подоконнику, громко  
стукнулись об пол. За окном раздался сначала женский вскрик,  
потом испуганный шепот. Ниг, привстав на цыпочки, с ухом,  
прижатым к стене, жадно слушал. Женский шепот завозму-  
щался, вспрыгивая на вопрошающие высокие ноты; никто  
ему не отвечал. Короткое молчание. Потом громкие укоризны  
с плачем вперемешку. Молчание чуть подлиннее. И вдруг —  
тихий, заглушенный поцелуй. Ниг одернул шляпу и перекре-  
стился. Поцелуи, что ни миг, становились внятнее и чаще. Ниг  
зажал уши ладонями и облизывал ссохшиеся губы.

Сначала сверху упал мешок, мягко звякнув о землю. За-  
тем с подоконника свисли пятки Инга, мучительно обшари-  
вающие воздух. Ниг быстро подставил плечи, и через минуту  
они шли, крадучись вдоль стен, к воротной башне города, где  
их дожидалась заранее туда доставленная живая кладь — Гни.

И Гни, и мешок с золотыми монетами половину своего веса  
оставили в стенах города, так что беглецы не слишком пыхте-  
ли под своей ношей. Еще до утра им удалось добраться до глу-  
хой лесной сторожки, где несколько золотых кружков обеспе-  
чили им относительную безопасность и отдых. Ниг тотчас же  
перемигнулся с краснощекой сторожихой, Гни стали откарм-  
ливать, набивая его пищей, как матрац сеном, а честно потру-

дившегося Инга никак нельзя было уговорить перестать говорить и отдохнуть: раззудевшийся язык не мог улечься во рту; ведь молчание — самая неисчерпаемая тема для рассказней.

Но чуть трое окрепли, окреп и четвертый — спор. Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу: мнения, что гвозди, — чем сильнее по ним бьют, тем глубже их вгоняют. И после того как каждый из трех ртов был на время разлучен: один — с поцелуями, другой — со словами и третий — с пищей, ни одна из трех голов не хотела больше расставаться со своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку. И так как лесное безлюдье отвечало только эхами, — решили идти дальше.

И пусть идут, но нам, друзья замыслители, пора повернуть вспять. Дело в том, что линия пути с этого места делается для меня как бы пунктирной: череду встреч ведь можно удлинять и укорачивать, сюжет странствующего спора допускает свободное развитие: путь — от исхода к концу — разматывается, как веревка лассо, — важно одно — добросить до ускользящего конца и изловить его в петлю. И конец тут, я думаю, должен быть такой. Разумеется, начерно и примерно.

Ведомые спором, трое идут и идут, пока путь им не пресекло море. Они повернули вдоль берега и вскоре очутились в одном из портов, откуда и куда уплывают и втекают корабли. Но море под штилем, ни зыби, паруса обвисли, — и странствовавшемуся спору приходится дожидаться ветра.

Мешок, подаренный Ингу, еще позвякивает десятком монет. Зашли в харчевню. Когда вино развязало языки, Инг, обратившись к матросам, дюжим, просоленным морем парням, собутельничавшим с ними, спросил:

— Как по-вашему, в чем смысл рта? — и предложил им выбрать один из трех ответов.

Парни чесали в затылках и конфузливо переглядывались. — А разве все три этих, как их... смысла в один рот не влезут? — ответил наконец один из матросов, опасливо оглядываясь на пришельцев.

Тогда Инг, снисходительно улыбнувшись, стал растолковывать:

— Смысл смыслу рознь. Причины — учит Дуно Скотус — бывают полные, или исчерпывающие, и неполные... ну, для простоты, скажем, пустые. Вот три бутылки: две пустых и одна полная. Видишь?

— Вижу, — отвечал парень, собрав лоб в складки.

— Ну вот. Поставь их перед зрячим и скажи ему: выбирай. Ясно, зрячий протянет руку к той, что с вином. Так?

— Так, — как эхо повторил парень, и лоб его покрылся испариной.

— Ну а теперь закрой глаза.

Парень захлопнул веки, а Инг быстро и неслышно переставил бутылки:

— Бери одну. Живо.

Парень протянул руку и ухватился за горлышко порожней. Грохнул смех. И Инг, глядя в виновато мигающие глаза моряка, закончил:

— Так и со смыслом. Люди слепы: оттого и смыслы их пусты. И редко кто пьет не из пустой бутылки.

Наступило почтительное молчание, пока старший из среды моряков, сокрушенно вздохнув, не сказал:

— Мы люди простые и не учены: где нам отвечать на этикие вопросы. Но ветры дуют во все концы мира. Кончится штиль, и я повезу груз соленой рыбы: на том берегу мне обменяют ее на изюм и фисташки. Едем со мной: может быть, там, за морем, и вам обменяют ваши вопросы на ответы.

Тем временем заря протерла черные окна светом, и трое, расплатившись, вышли на улицу. Невдалеке от порога харчевни, прижавшись тощей спиной к стене, сидела женщина: ее щеки были раскрашены под цвет зари, но никто не взял ее на эту ночь — и только утренний холод, не заплатив ни гроша, шарил ледяными пальцами, пробираясь все глубже и глубже под пестрые тряпки потаскухи.

— Бедняжка дрожит, — прищурился Ниг, — но пока что не от страсти. Чего она ждет?

— Твоих поцелуев, Ниг, — толкнул его локтем Инг, — язва на ее губах соскучилась по тебе.

— Ну, нет. Лучше ты скажи ей несколько слов в утешение.

Инг сострадательно наклонился к женщине:

— Дочь моя, не сгнив на земле, не процветешь на небесах.

Но Гни не дал ему продолжать. Пнув его ногой, он придвинулся к иззябшему существу и, порывшись в карманах, ни слова не говоря, вытащил ломоть хлеба и сунул ей в рот. Худые руки женщины тотчас же ухватились за край краяхи, проталкивая ее навстречу быстро зажевавшим зубам.

— Скажи, крошка, — улыбнулся Гни, с умилением следя за работой ее челюстей, — ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь нее высыпать слова или заклеивать дурацкими поцелуями, а для того, чтобы человек — при посредстве ее — познал радость пищеприятия.

Хлебный ломоть долго не давал женщине ответить. Наконец трое услышали:

— Не знаю, право: в нашем ремесле — кто не целует, тот не ест. И не меня вам надо спрашивать, а идите вы вдоль берега вот по этой тропе, приведет она вас к пещере. Пещера не пуста: живет в ней мудрец-отшельник: он все знает — оттого все и бросил.

— Отшельников мы еще не пробовали. Пойдем, что ли, — и странствующий спор продолжал свой путь по извивам тропы.

А к закату дня опередивший спутников Гни сунул голову в тьму пещеры и спросил:

— Что пристало рту лучше: поцелуй, слово или еда?



На что из тьмы послышалось:

— Откуда роса — с земли или с неба?

— Говорят, с неба.

Подошли Инг и Ниг.

— С неба, — подтвердили они.

Недоумевая, Гни снова сунулся головой в тьму, и тотчас же что-то тяжелое ударило его в лоб, сшибло с ног и, выкатившись наружу, легло у входа в пещеру: это был обыкновенный чугунный горшок. Друзья осмотрели его и снаружи и изнутри, но ответа в горшке не нашли.

— Спрашивайте теперь вы, — сказал Гни, держась за расшибленный лоб, — с меня довольно.

Отошли в сторону от входа в пещеру и решили заночевать, с тем чтобы утром продолжать путь. Горшок как упал на траву, донцем кверху, так и остался лежать.

Первым проснулся Гни — разбудила шишка, вздувшаяся на лбу. В рассветном блеске он увидел сидевшего рядом с ним незнакомца. Незнакомец, приветливо улыбнувшись, спросил:

— К отшельнику?

— Д-да. И вы тоже?

Незнакомец не отвечал и, пряча улыбку в седую клочкастую бороду, разглядывал распстренные зарей росины, сверкавшие с зеленых остриев травы.

— Если и вы к отшельнику, то лучше не ходите.

— Почему?

— Потому что вместо ответа получите вот это. Точнее: этим, — и Гни с досадой пнул чугунный горшок; горшок откатился в сторону, и на травинах, спрятавшихся под его донцем, Гни с изумлением увидел дрожащие в переливах огней крупные живые росины.

— Черт возьми, — воскликнул Гни, — как они пробрались с неба под крышку горшка?!

— Чтоб объяснить то, — заговорил незнакомец, — что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо — ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове — незачем странствовать по свету: ответ тут же, под теменем, рядом с вопросом. Загадка всегда делается из разгадки, и ответы — так было и будет — всегда старше вопросов. Не буди спутников, пусть отоспятся: вам предстоит долгий и трудный возврат.

И, прихватив с собою горшок, старик скрылся в тьме пещеры.

В тот же день трое направились в обратный путь.

Добрая традиция сюжетосложения требует, чтобы т у д а рассказывалось на долгих, а н а з а д — на перекладных. Итак, предположим, что мои трое, стоптав дюжину подметок, подходят к исходу: их встречает родной городок; церковный служка, пробиравшийся, подоткнув рясу, меж луж, чинно раскланивается с Ингом; девушка со вспучившимся животом, завидев Нига, роняет ведра в грязь, завсегдатаи «Трех королей», высунувшись

в окно, кричат и машут Гни, — но трое, не выпуская из рук посохов, — мимо и дальше; впереди Ниг: он ведет их к Игноте.

Пришли. Во дворе пусто: лишь колесная колея, насвежо вдавленная в грязь, да ветки хвои, от ворот к порогу. Стучат: никого. Ниг толкает, дверь — отскочила; входят в сени. «Здесь», — но и дверь в каморку Игноты настежь; на лежанке мятая солома; в воздухе ладан, и никого. Ниг снял шляпу. Двое других за ним. И, выйдя молча, путники — вслед за зелеными иглами хвои — к ограде кладбища. И меж крестов никого. Только издалека чавкающая о землю лопата. На звук. Провожавших, если и были, уже — нет. Замешкался только могильщик: земля была тугая и противилась лопате.

— Здесь Игнота? — спросил Ниг.

— Здесь. Только если вам от нее что-нибудь нужно, приходите попозднее, когда кончится вечность.

— Нам ничего от нее не нужно, кроме ответа на один вопрос.

— Наше дело — закапывать трупы, а не откапывать вопросы. А трупы, как вам известно, неразговорчивы: о чем ни спроси, и рта не раскроют. Хотя вру, — ухмыльнулся могильщик и хитро подмигнул, — ракрывать-то они его раскрывают, будто слово какое хотят последнее, только сказать его им не дают — сначала тесьмой зубы к зубам, потом забьют рот землей, и какое это слово, слово мертвых, так никто никогда и не слышал. А любопытно бы.

— Неуч, — процедил Инг.

— Почему нет креста? — осведомился Гни.

— Таким не ставят, — пробурчал могильщик и снова взялся за заступ.

Тогда трое, скрестив посохи, увязали их в крест; когда он раскинул свои прямые деревянные руки над Игнотой, Инг сказал:

— Да, страна вопросов все ширится и множит свои богатства, страна вопросов — цветет все пестрее, все ярче и изобильнее, но страна ответов пустынна, нища и уныла, как вот это кладбище. Поэтому...

— Выпьем. Аминь, — подсказал Гни. Все трое закончили историю там, где ее и начали: в «Трех королях». Уф, все.

Фэв сидел, неровно и хрипло дыша. Глаза нырнули назад, в жир. Председатель не сразу нарушил молчание:

— Что ж, и для вашей истории найдется место в нашей несуществующей библиотеке, — он окунул пальцы в черную пустоту полок, как бы выбирая место, куда поставить ненаписанную книгу, — тема ваша — это, по-моему, какой-то веселый катафалк; быстро кружа спицами среди весело мигающих факелов, он пляшет на ухабах, раскачивая пестрыми кистями и погребальной мишурой, и все-таки это катафалк, и путь его к кладбищу. Можете считать меня брызгой, но вы все, уважаемые замыслители, норовите свалить сюжетные концы в одну и ту же могильную яму. Так не годится. Искусство литературного эндшпиля требует более тонких и многообразных разра-

боток. Упасть в яму — легко, выбраться из нее, — если она притом глубока, — труднее. Ведь не затем же мы отшвырнули перья, чтобы взять в руки лопаты могильщиков.

— Может быть, вы и правы, — качнул головой Фэв, — мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на черную, чем с черной на белую. Тематические разрешения у нас неблагополучны, потому что... неблагополучны. Но если уж на то пошло, я берусь показать, что умею плыть и против ветра. Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно; а затем прошу наблюдать, как она будет оттуда выкарабкиваться — наверх — в жизнь.

— Ну-ну, послушаем, — улыбнулся Зез, пододвигаясь с креслом к рассказчику, — дерзайте.

Фэв поднял лицо вверх, как бы усиливаясь что-то вспомнить, фиолетовые блики прыгнули с потолка на вспучившиеся пузыри его щек.

— Замысел этот закопошился во мне много лет тому. Я тогда был и подвижнее, и любопытнее, ощущал еще тягу пространства и часто путешествовал. Произошло это так: в один из моих приездов в Венецию, идя по предполуденным раскаленным калле и виколетто, я свернул — по нужде — к одному из тех мраморных приспособлений, которые торчат там чуть не из каждой стены и пахнут аммиаком. Вокруг стока, облепив стену пестрыми квадратиками, лезли в глаза адреса

венерологов. А чуть в стороне, отгородившись узкой черной рамкой, как-то отдергиваясь всеми своими чинными черными по белому буквами от аммиачной компании, квадратилось четкое, под черным крестиком, авизо:

«Вы не забыли помолиться о тех 100 000, которым предстоит умереть с е г о д н я ?»

Конечно, это был — так, пустяк, сухая статистическая справка, ловко изловленная черным квадратиком, вежливо напоминавшим — всего лишь н а п о м и н а в ш и м.

Я не стал молиться о ста тысячах душ, выводимых в смерть, но когда я вышел из тени стены на яркое солнце, тысячи и тысячи агоний заслонили мне день: тысячи погибающих сегодня обступили меня, тысячи солнц ссыпались в тьму: я видел множество восковеющих, проостренных лиц, выкаты белых глаз; сладковатая тлень, вгниваясь сквозь ноздри в мозг, не давала ни думать, ни жить. Помню, это пронизало меня почти физически. Я присел к одному из ресторанных столиков — мне придвинули прибор, и в ту же секунду я увидел тысячи их — на столах, с западающими ртами, медленно холодеющих, беспомощных и пугающих, выключенных из с е г о д н я в н и к о г д а. Я не стал есть медленно остывающего минестроне, и мысль моя делала лихорадочные усилия, лишь бы вышагнуть из проклятого черного квадрата. Тогда-то и пришла мне на помощь м о я т е м а. Она вхлынула в меня как-то сразу. Схваченный ею, помню, я механически поднялся и, быстро расплатившись с...

Тут рассказчик — вслед за ним и другие — повернул голову на звук резко отодвигаемого кресла. Неожиданно для себя я увидел Рара, вышагнувшего из круга замыслителей; в руке у него был ключ, который за секунду до того лежал на выступе камина.

— Ухожу, — коротко бросил он.

Ключ металлически щелкнул, дверь рванулась с порога, и шаги Рара оборвались за глухо хлопнувшей где-то внизу створой.

Все с недоумением переглянулись.

— Что с ним? — приподнялся Шог, как если б хотел догнать ушедшего.

— К порядку, — раздался сухой голос Зеза, — сядьте. Или, если уж встали, прикройте дверь. Мимо. Фэв продолжает.

— Нет, Фэв кончил, — отрезал тот, гневно пузыря щеки.

— Потому что ушел этот? — запнулся Зез.

— Нет. Потому что с э т и м ушла — вы только представьте себе — и т а : тема.

— Вам хочется, очевидно, перечудачить Рара. Пусть. Будем считать заседание закрытым. Но давайте условимся о программе следующей субботы. Очередь Шога. Предлагаю ему прыгать с трамплина, поставленного Фэвом. Пусть он — вы слышите, Шог, — увидит себя у стены, перед бумажной наклейкой в черной кайме, пусть перемыслит — вслед Фэву — мириад агоний в одном «сегодня», и затем желаю ему допрыгнуть: с черного на белое.

Шог откинул упрямую прядь со лба:

— Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину — как вы это называете — я возьму сквозь отсказанную, первую тему сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя срока. Авось допрыгну.

## VI

С каждым днем, придвигавшим меня к следующей субботе, я все крепче запутывался в собственных своих догадках и домыслах. Как было понять «ухожу» Рара? Была ли это простая демонстрация, направленная против Фэва, или протест, бьющий гораздо сильнее и дальше: может быть, это было твердое решение, а может быть, и минутный каприз: от чего он отстранялся — от ста тысяч или от шести? Вспоминалось бледное, в себя глядящее лицо, неровный, удаляющийся шаг. Может быть, ему нужна моя помощь? И я уже не думал — идти или не идти. К тому же притяжение суббот, втягивающая сила пустых полок, черный соблазн бескнижия, очевидно, начинали действовать и на меня.

Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу убийц букв. Над затоптанным снегом мглилось уже первое предвесеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно стуча слезами с панелей. Когда дверь впустила меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Рара. Пришли все: кроме него.



Как всегда — раз и еще раз щелкнул ключ, как бы отделяя комнату черных полок от мира, — и я почувствовал короткий и теплый толчок в мозг.

Шог, которому предстояло говорить, тоже несколько раз кряду, с выражением беспокойства, оглядывал место, не дождавшееся человека. Председатель подал знак — тогда, повернувшись лицом к темной яме камина (близящаяся весна потушила его), он сделал усилие сосредоточиться и начал: — Марка Лициния Септа нашли у порога полутемного таблинума: он лежал мертвый меж развернутых свитков.

Рабы покойного Септа, Манлий и старый хромой Эзидий, перенесли тело на каменную скамью таблинума, наскоро одели в лучшую тогу с тонкой красной каймой, омыли лицо и рот, облипшие кровавой пеной, разжали стиснутые смертным спазмом зубы и, вложив в них медный обол, занялись похоронными хлопотами.

Две старых плакальщицы, нюхом учуяв покойника, уже стучали бронзовым молотком у дверей заднего дворика; там у шепеляво брызжущего фонтана Эзидий спорил с пискливыми старушечьими голосами, стараясь выторговать хоть десяток-другой сестерций: покойный Марк Септ был беден — приходилось экономить.

Манлий побежал заказывать похоронную лектику, купить благовоний, условиться с факельщиками и оповестить двух-трех друзей покойного. Марк Септ жил бедно и одиноко сре-

ди папирусов и воощенных дощечек, чуждаясь близости с людьми. Манлий думал управиться до захода солнца.

Но труп нельзя оставлять без призора: этим могут воспользоваться злые ларвы и бродячие тени.

— Фаба, эй, Фаба, где ты?.. Опять на улице, шалунья. Поди сюда. Вот скамеечка: сядь у ног господина. Не бойся, что он белый и не шевелится, — господин умер. Ну, тебе еще не понять: сиди здесь смирно, пока Эзидий не кончит со старухами. А там подспею и я.

У маленькой шестилетней Фабы было свое важное дело, и не прикажи ей так строго отец, она ни за что не осталась бы в полутемной комнате: за домом, у перекрестка, расположился, со своим лотком, продавец засахаренных фиников, изюма и фиг: смотреть и то приятно. А здесь...

Фаба села на скамеечку, поджав ноги, и стала прислушиваться: в таблинуме было тихо; синяя большая муха прогудела и затихла; но и сквозь стены доносился голос продавца: «Финики, финики — по оболу вязка. Купите сладких фиников — по оболу — только по оболу...»

— О если б, — забилося маленькое сердце, и Фаба облизнула пунцовые губки.

Марк Лициний Септ лежал, зажав обол меж каменеющих губ, и т о ж е слушал: пройдя отоненным смертью слышаньем сквозь голоса плакальщиц, выкрики продавца; дальше — сквозь шумы и клики улицы; дальше — сквозь разговоры

земного круга — он ясно различал и дальний плеск Харонова весла, и печальное шептание теней, зовущих и его туда, к черным водам Ахерона. Мертвому Септу звучали — и шаг звезд, идущих по дальним орбитам, и шорохи букв, копошащихся в свитках папируса, не убранного с пола, были внятны и думы Аида, и мысли маленькой Фабы, дочери раба, сидящей вот тут, у его изголовья. В остеклевающих зрачках — сквозь муть — просинели сиявшие из дрожи ресниц глаза дитяти: жизнь. И тотчас же зрачки стало медленно втягивать мглой.

Весло Харона плеснуло ближе.

— Сладкие финики, сушеные финики — по оболу, только по оболу.

— О, владычица Юно, если бы мне... — прошептала Фаба.

И страшным последним усилием каменеющих мускулов Лициний Септ разжал зубы (от усилия пелена вокруг глаз сгустилась — застав Фабию, стены и весь круг земли), и медный новенький обол, скользнув из губ, покатился по полу и с легким звоном лег у ног изумленной Фабы. Она поджала ножки к самой доске скамьи и часто дышала. Все было тихо. Неподвижный господин ласково улыбался ей прозрачно-белым лицом. Фаба протянула руку к оболу.

Финики были очень вкусны. А Марка Лициния Септа похоронили т а к, без оболы: недоглядели.

Сроки Септу исполнились. Вознесенный над землею, скользил он среди жалобно шепчущих теней к обиталищу мертвых.

Позади пронзительные визги и ритмические выкрики сторговавшихся-таки плакальщиц, впереди плескание черных волн Ахерона.

Вот и срыв берега. Звук весел — чу. Ближе. Еще. Ладья отерлась бортом о берег. Шаткие тени слетались на шум: с ними и Септ. Старец Харон уперся ступнею в берег. В блесках кровавых зарниц выступало и никло его лицо: выдвинутая вперед нижняя челюсть, обросшая спутанной седой бородой, хищный блеск глаз. Трясущейся костистою рукою Харон быстро, привычным движением ощупывал рты мертвецов — и оболы, один за другим, звенящею струей, падали в кожаную суму, прикрепленную к набедрию старца. Пальцы его коснулись и губ Септа. — Обол, — спросил перевозчик, — где твой обол за переправу?

Септ молчал. Тогда Харон оттолкнулся веслом; ладья, наполненная теньями, отчалила. Септ остался один у опустевшего берега Смерти.

На земле: день — ночь — день — ночь — день. А у черных вод Ахерона: ночь — ночь — ночь. Без брезга, без полдня, без сумерек. Тысячи раз причалила, тысячи раз отчалила ладья перевозчика, а Марк Септ все оставался один — меж жизнью и смертью. Всякий раз, заслышав плеск ладьи, приближался он к шуму вод, и всякий раз скряга Харон отстранял его, не принесшего оболы, от борта. Так бродил Септ, не принесший оболы, у черных вод: покинувший жизнь и не принятый в смерть.

Просил он у слетавшихся теней об оболе: но те, стиснув крепче в замерших губах плату Земли Аиду, пролетали мимо. Тьма смыкалась за ними. Понял Септ — мольбы напрасны: и, обернувши лицо к земле, стал он ждать, годы и годы, когда придет к Ахерону та, которой он отдал свой обол мертвых.

Финики были сладки, это так — но жизнь горька и безрадостна. Девочку Фабию, дочь раба, после внезапной смерти господина четырежды перепродавали. Когда Фабия стала красивой синеокой девушкой, зацеловали губы ее и заласкали тело. Так переходила она из рук в лапы, из лап в щупальца. Печаль вошла в синие глаза рабыни и не уходила из неперепроданной души ее. Время катилось от года к году, как стертый обол, оброненный наземь. Последний хозяин тела, старый проконсул Кай Ригидий Приск, был щедр к своей наложнице: Фабия спала на мраморном ложе среди курений и веющих опахал, но странный неотступный сон трижды посетил ее: снились плески черной реки; чье-то знакомое, милое-милое, лицо с окаменевшим, мучительно разжатым ртом; чей-то печальный, из далей зовущий шепот: обол — отдай мне обол — мой обол мертвых.

Целые горсти их раздавала Фабия нищим и в храмы: но видение не изникало.

Проконсул Ригидий умер. Фабии предстояло перейти к его наследнику, по инвентарному списку. Когда слуги наследника пришли к ее порогу, никто не откликнулся за пурпуровой

завесой. Вошли внутрь: Фабия лежала на мраморном ложе, неподвижно раскинув руки: как для объятий. Вещь, занумерованную в инвентарном списке номером пятым, пришлось, с соблюдением соответствующих формальностей, вычеркнуть: кладбище самоубийц приняло новый труп.

Марк Септ узнал близящуюся тень: она скользила в веренице мертвых, с запрокинутой назад головой, с прозрачно-белыми руками, раскрытыми будто для объятий; меж бледных губ мерцало полукружие оболы. Подплыла ладья. Септ преградил путь Фабии.

— Ты узнала?

— Да.

— Здесь меж смерти и жизни — годы и годы — жду. Отдай обол, отдай мне обол мертвых!

Тогда...

И рассказ вдруг остановился, как если бы и ему преградили путь.

— И тогда, — повторил Шог, медленно обводя глазами круг своих слушателей, — как бы с этим «тогда» поступили ну хотя бы вы, Хиц?

Спрошенный удивлялся не более секунды; быстро выставившись навстречу вопросу острями подбородка и локтей, он стал притискивать слово к слову:

— К вашему «тогда» незачем приискивать «когда». Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в кото-

ром легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь как знаете. Я к Ахеронам не ходок.

— Ну, а вы, Дяж? — продолжал Шог, и нельзя было разобрать, шутит ли он или спрашивает всерьез.

Круглые стекла мотнулись из стороны в сторону:

— Любезный Шагг, то есть, виноват, Шог, с вашими тенями я бы распорядился так: один обол на двоих. Все же больше, чем ничего. Получив его, Харон пускает в ладью и Фабью, и Септа. Но, доплыв до середины Ахерона, меж двух берегов, смерти и жизни, божественный скряга говорит им: «Вы уплатили мне за полупуть». И герои ваши, над которыми уже занесено грозное весло адского перевозчика, принуждены высадиться посреди реки: прямо к знаменитым, воспетым Эврипидом и Аристофаном, божественно квакающим ахеронским лягушкам. Туда и дорога.

Шог, поблагодарив кивком головы, повернулся к следующему:

— Фэв?

— Тому, в чьих легких расселась одна из этих ахеронских жаб, — дно реки, обтекающей смерть, не всегда внушает смех. Скажу одно: от вашего рассказа у меня медный привкус на губах. Спрашивайте следующего.

Но следующий, Тюд, не стал дожидаться своего имени. Придвинувшись к Шогу — колени к коленям, — он быстро заговорил:

— Мне кажется, я угадываю ваш, вернее, наш конец, Шог: «и тогда...» — постойте — и тогда Фабия приблизила к Септу обол, сверкавший меж ее губ. Септ потянулся к нему изжаждавшимся ртом. Сначала слились губы, потом — души. А оброненный обол, скользнув вниз, канул в черные воды межмирья. Ладья отчалила без них. Двое остались меж смерти и жизни, потому что любовь это и есть... понимаете? Вот мне интересно, что скажет Зез.

— Я скажу, — глухо отозвался тот, — что вместо придумывания концов лучше передумать заново начало: я бы строил его совсем по-иному...

— Почему?

— Не знаю. Может быть, потому, что я человек... человек, крепко зажавший свой обол меж зубов. Мой рассказ в следующую субботу сделает мои слова ясными: для всех и до конца.

## VII

Возвратившись домой, я долго не ложился, вспоминая все перипетии вечера. В череду образов от времени до времени двигалось пустое, молчаливое кресло Рара. Как бы поступил он с оболем мертвых? Затем я стал думать о причинах, заставивших его уклониться от собрания. И странно: беспокойство, мучившее меня всю прошлую неделю, как-то утишилось и улеглось. Возможность случайности устранилась. Было ясно, что Рар порвал с кружком. Тем лучше. План мой



был таков: посетить еще одно собрание замыслителей, окончательно убедиться в решении Рара и осторожно выведать его настоящее имя, а если можно, и адрес.

Всю эту неделю мне слегка нездоровилось. Я не выходил из дому. За окнами комнаты агонизировала зима: снег чернел и ник: из гнилых луж гляделись грязные комья земли; на голых деревьях, будто дожидаясь тления, сутулило крылья воронье, о жесть подоконника размеренно, по-псаломщи-чьи, бормотали капли.

Шесть раз переменял мой отрывной календарь цифры, прежде чем я увидел слово: суббота.

Перед вечером, в обычный час, я отправился на собрание. Я шел медленно, шаг за шагом, обдумывая, к кому и в какой форме обратиться с моими расспросами о Раре. Приближаясь к дому, где происходили наши собрания, я увидел человека, быстро сбегавшего со ступенек подъезда. Под развевающейся пелериной и надвинутыми полами шляпы угадывалась фигура Тюда, — я хотел уже окликнуть его, но не знал как. Тем временем он нырнул за угол дома. Недоумевая, я взошел на крыльцо и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и навстречу мне, осторожно озираясь, выглянуло лицо самого Зеза. Я хотел войти, но он загородил дорогу:

— Собрания не будет. Вы знаете о Раре?

— Нет.

— Как же. Дуло меж зубов и... Завтра под лопату.

Я стоял ошеломленный, не в силах ни спросить, ни ответить. Лицо Зеза придвинулось ближе:

— Ничего. Придется прервать собрания: на неделю-другую — не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая пустоту, найти. Вы, кажется, взволнованы? Бросьте. Что бы ни случилось, надо уметь одно: крепко зажать меж зубов свой обол. И только.

Дверь захлопнулась.

Я хотел позвонить еще раз. Потом раздумал. И, возвратившись к себе, долго не мог преодолеть оцепенение, охватившее меня. Пододвинувшись с креслом к столу, я сидел, глядя в черную ночь за окном, — тупо и бессмысленно. На стене размеренно цокал маятник.

Я их не ждал: они пришли сами — одна вслед другой — пять суббот. Я гнал их из памяти прочь: но они не уходили. Тогда я притянул руку к чернильнице и отщелкнул крышку. Субботы закивали головами, так-так, — губы их зашевелились; и начался диктант. Я еле поспевал за пером: слова, вдруг хлынувшие из пяти ртов, тискались вперебой под расщеп. Изголодавшиеся и торопливые, они жадно глотали чернила и вперегонки мчали меня со строк на строки. Пустота черных полок вдруг заворошилась: я едва успевал управляться с нахлынувшими образами.

Вот уже четвертая ночь на исходе. На исходе и слова. Мое писательство, начавшееся — так неожиданно для меня, — еле

родившись, и умрет. Без воскресения. Ведь я писательски безрук, это правда — словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие мщения. Теперь, когда их воля выполнена, я могу быть отброшен.

Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, — и всякий, кто покусится на них, скорее будет убит ими, чем убьет их.

Ну, вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов — навсегда. Экстазы четырех ночей взяли из меня все: до предела. И все же пусть ненадолго, на скудные миги, но удалось же мне разорвать орбиту и вышагнуть за я!

Вот — отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.







# **РУССКАЯ АНТИУТОПИЯ**

**ЕФИМ ЗОЗУЛЯ  
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН  
МИХАИЛ КОЗЫРЕВ  
СИГИЗМУНД КРЖИЖАНОВСКИЙ**

*Ответственный редактор* МАКСИМ АМЕЛИН

*Макет и верстка:* Стас Валишин

Издательство «Б.С.Г.-Пресс»

109028, Москва, Покровский бульвар, д. 14/6

Тел./факс: (495) 626-24-70; e-mail: bsgpress@mail.ru

Книги издательства «Б.С.Г.-Пресс» можно приобрести:

## В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.  
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.  
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.  
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.  
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,  
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Сеть магазинов «Республика». Тел.: (495) 251-65-27.

## В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- Санкт-Петербургский Дом книги, м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,  
Невский проспект, д. 28. Тел.: (812) 448-23-55.
- Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
- Книжный магазин «Все свободны», наб. Мойки, 28. Тел.: +7 (911) 977-40-47.

## ОПТОМ

- КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва, М. Трехсвятительский пер., д. 3а, стр. 1.  
Тел. (495) 626-24-72; +7 (915) 110-36-50.
- «А. Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. О., д. 5/7. Тел. (812) 325-66-61.

Наши книги в электронном формате можно найти по адресу:

[www.bibliorossica.com/publishers.html](http://www.bibliorossica.com/publishers.html)

Подписано в печать 24.10.13. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Чартер.  
Печать офсетная. Объем 41 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ №





СОСТАВИТЕЛЬ ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР

■ Жанр антиутопии возник и развился на русской почве в первое послереволюционное десятилетие. Попытка материализации социальной утопии, предпринятая в Советской России, побудила писателей к созданию целого ряда сочинений, показывающих ее опасность и непредсказуемость. ■ В книгу вошли произведения: 1910—1920-х годов, являющиеся самыми ранними образцами этого жанра: рассказы «Гибель главного города» (1918) и «Рассказ об Аке и человечестве» (1919) Ефима Зозули (1891—1941), роман «Мы» (1921) Евгения Замятина (1884—1937), повести «Ленинград» (1925) Михаила Козырева (1892—1941) и «Клуб убийц букв» (1927) Сигизмунда Кржижановского (1887—1950); ■ Фамильные инициалы авторов первых антиутопий странным образом складываются в двоящуюся аббревиатуру — ЗК, одну из самых знаковых аббревиатур большевистских времен. Однако этих писателей связывают не только их имена, но и трагические судьбы: все четверо в той или иной мере стали заложниками — «зеками» — антиутопии осужденной. ■ Из текстов, представленных в антологии, широкую известность получил только роман «Мы», а остальные произведения либо были забыты, либо не публиковались при жизни авторов. Книга восстанавливает историческую последовательность появления русских антиутопий, а концептуальное предисловие Вадима Перельмутера знакомит читателей с контекстом эпохи.